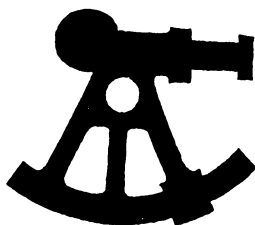


Г. КУБЛИЦКИЙ



ВСЕ МЫ-ОТКРЫВАТЕЛИ...



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МЫСЛЬ»**

ПУТЕШЕСТВИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА



ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*** ГЕОРГИЙ КУБАИЦКИЙ ***

ВСЕ МЫ - ОТКРЫВАТЕЛИ...



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»

МОСКВА · 1968

91(09)

K 88

2-8-1

189-68

ВСЕ МЫ — ОТКРЫВАТЕЛИ...

В этой книге — документальные рассказы о тех, кто идет дорогой поисков и открытий.

Это во многом несхожие люди. Их маршруты пролегают по разным странам. Героев рассказов не объединяет и общность цели. Часть из них посвятила себя служению географической науке. Других захватывали, волновали поиски прародинны древнего народа, вопросы происхождения культурных растений, проблемы жизни вне Земли.

Среди тех, о ком идет речь в книге, есть всемирно известные путешественники, есть также люди, чьи имена не попали и, видимо, не попадут в летописи открытий, люди, обычно скрытые, растворившиеся за обезличенным выражением «и другие». Но все они сходны в основном, в главном. Их сближает преданность своему делу, настойчивость, целеустремленность. Из их типичных черт складывается обобщенный портрет исследователя, открывателя.

Все мы — открыватели неведомых стран...

Так говорил Фритьоф Нансен.

Он любил повторять: все мы явились на свет для того, чтобы до конца выполнить свою часть работы. Нельзя останавливаться на полпути! Отдавая делу сердце и душу, Нансен советовал исследователю: не успокаивайся до тех пор, пока не почувствуешь, что сделать лучше уже не можешь!

Открывателям «неведомых стран» в том широком смысле, который вкладывал в свои определения великий норвежец, и посвящена эта книга.

Мир подлинного исследователя никогда не замыкается границами избранной им области знания. Он живет жизнью своего народа, он не остается в стороне от общественно-политических проблем своего времени. У него активный интерес к людям, с которыми он встречается и работает. Наш соотечественник Е. П. Ковалевский путешествовал в прошлом веке по Черногории и Африке как горный инженер. Но помимо геологических карт, описаний гор и рек он оставил нам и великолепные зарисовки народного характера черногорцев. Одним из первых в России своего времени он осудил расизм европейских колонизаторов в Африке. Мы видим в нем также дальновидного дипломата, смело действующего в интересах более тесного сближения славян вопреки двойственной политике русского царизма.

Широта взглядов, гуманизм, духовное богатство свойственны многим выдающимся исследователям. Каким обедненным, односторонним показался бы нам облик того же Нансена, если бы его блистательная биография исследователя не дополнялась подвигами гуманиста, так много сделавшего, в частности, для молодой Советской республики!

С героями части рассказов автору посчастливилось встречаться. По следам некоторых он прошел много лет спустя. Следы эти стали едва заметными, и, лишь подстегивая воображение, можно представить себе, что там, где теперь бесшумно катится по асфальту машина за машиной, вилась когда-то едва найденная тропка. Автор старался также найти малоизвестные, полузабытые свидетельства очевидцев, чтобы в меру сил добавить какие-то новые черточки к известным портретам.

Возможно, что в книге много личного, субъективного. Но это не отчеты о путешествиях и не биографии путешественников. В иных случаях это скорее размышления о их судьбах, о их характерах, о том, в чем было их величие и в чем — их просчеты.

Да, все мы — открыватели «неведомых стран»! И те, кто до нас в поисках этих своих «стран» не останавливался на полпути, отдавали работе сердце и душу, останутся вдохновляющим примером для идущих той же нелегкой дорогой!



СТРАНСТВОВАТЕЛЬ

Он путешествовал много и неутомимо.

В двадцать один год Егор Петрович Ковалевский уже скитался по тропам горного Алтая. Ему было около шестидесяти, когда он в поисках душевного успокоения отправился в свою последнюю поездку — на Рейн.

«Странствователь по суше и морям» — так озаглавил Ковалевский одну из своих книг. Она была издана почти век назад и с тех пор не переиздавалась, как, впрочем, и другие книги путешественника. А ведь когда-то их нетерпеливо ожидали все, кому в путевых описаниях странствования непременно открывалось что-то новое в жизни других народов...

Сознаюсь со стыдом: выписав в Ленинской библиотеке перед первой поездкой в Югославию книги, посвященные истории страны, я долго откладывал в сторону «Четыре месяца в Черногории». Потом стал довольно небрежно листать очерки, написанные Егором Петровичем Ковалевским в 1841 году: наверное, все устарело, вряд ли в них

найдется много полезного для человека, собирающегося знакомиться с социалистической Югославией.

Посмотрел последние страницы: «...еще пыль, взбитая копытами коня моего, не улеглась на развалинах Рима, или, более правдоподобно, еще шум и гул европейского города, живущего двойной, напряженной жизнью, отдавался в ушах моих, а мой страннический шатер уже стоял одиноко в безграничной степи Азии». Удивился гибкости, образности, романтической приподнятости фразы, вернулся к первым страницам. И как же мне пригодилось потом, уже в Черногории, то, что я узнал о стране из книги Ковалевского! Камни Цетинье ожили для меня, я слышал шаги гиганта Негоша под сводами старого дома, селение возле горной дороги живо напоминало о битве, разыгравшейся здесь.

Когда некоторое время спустя я стал готовиться к поездке в долину Нила, то у того же Егора Петровича Ковалевского нашел живописный Асуан и нильскую ночь, беспощадную к человеку Нубийскую пустыню и удивительно созвучные нашим дням мысли о ее будущем.

Во вступлении к своему «Путешествию во Внутреннюю Африку» Ковалевский замечал, что, когда читатель примется за эту его книгу, автор будет далеко от Петербурга. Книга была издана в 1849 году. Судя по отметкам цензурного комитета, первые ее экземпляры привезли из типографии Праца в книжные магазины Невского проспекта в июне или июле. Как раз в эту пору Ковалевский записал в путевом дневнике:

«Прощай, Россия! Часто покидал я тебя; казалось, мог бы свыкнуться с этой разлукой, а все-таки каждый раз, что оставляю позади себя пограничные ворота, золотой крест церкви или просто пестрый шлагбаум, бывает как-то неловко в груди».

Запись была сделана в пограничной Кяхте перед отправлением большой экспедиции в Китай, где, впрочем, Ковалевскому приходилось бывать и ранее.

Сегодня — у южных окраин Европы, завтра — на пороге Экваториальной Африки, послезавтра — в глубине Азиатского материка! Сибирь, Урал, Черногория, Далмация, Средняя Азия, Афганистан, Балканы, Карпаты, Кашмир, Египет, Судан, Эфиопия, Монголия, Китай... И это первая половина прошлого века, когда лошадь и верблюд главенствовали на экспедиционных маршрутах! Только при-

рожденному путешественнику, в котором смелость, пылкость и выносливость дополняют друг друга, могли стать посильными эти энергичные броски по земному шару, тогда еще слабо приспособленному для быстрого и легкого преодоления пространства. Таким путешественником и был Егор Петрович Ковалевский.

Лишь немногие современники по достоинству ценили его. Теперь можно прочесть не только обстоятельную научную монографию, посвященную Ковалевскому-путешественнику, но и увлекательные романы, воссоздающие образ человека яркого, многогранного, впитавшего передовые идеи своего времени. Раскройте том «Литературной энциклопедии» — там Ковалевский характеризуется прежде всего как поэт, писатель, общественный деятель, как первый председатель Литературного фонда. Ковалевский был близок со Львом Толстым: они познакомились в осажденном Севастополе. Он часто встречался с Тургеневым, Некрасовым, Чернышевским, с поэтами-петрашевцами. Несколько лет он был также помощником председателя Географического общества и пожизненным его почетным членом.

Егор Петрович Ковалевский совершил десять значительных путешествий. Напомнить лишь некоторые обстоятельства двух из них, в Черногорию и в Африку, — моя скромная задача.

* * *

Обычно ласковый Адриан — так славяне издавна называли Адриатическое море — в штормовую холодную весну 1838 года доставил много хлопот морякам. Небольшой парусный барк, на который Ковалевский сел в Триесте, попал в полосу встречных ветров и сутками отстаивался под укрытием островков. Больше двух недель его трепало в бурном море, и вдруг...

Перемена была поистине волшебной. Суденышко, обогнув скалистый мыс, скользнуло в тихие воды лазурного залива. Стены хребтов защищали его. То была Бока Которская — жемчужина Адриатики, и Ковалевский нашел, что это действительно один из превосходнейших заливов в мире.

Барк миновал несколько селений, приютившихся у подножия скал. Потом залив совсем сузился. Казалось, каменные стены вот-вот сомкнутся, преградив путь суде-

нышку. Но нет, средиземноморский фьорд неожиданно кончился, и открылась бухта, напоминающая горное озеро. В глубине ее виднелся город с двумя башнями собора; крепостная стена поднималась прямо от моря, зигзагами карабкалась по уступам и терялась в высоте, там, где клубились облака.

Это и был Котор, старинный портовый город, давший название заливу, за обладание которым скрещивали мечи еще греки и римляне. Да и последние десятилетия рейд Котора не раз окутывал пороховой дым. Корабли русской эскадры адмирала Сенявина приходили сюда, чтобы помочь спустившимся к морю черногорцам сражаться против войск наполеоновского генерала Лористона. Но позднее горный народ был снова отеснен от берегов Боки Которской. С палубы барка Ковалевский видел над дворцом Буча и над мачтами кораблей флаги империи Габсбургов.

Австрийский офицер в сопровождении чиновника направился к судну, зачалившему за одно из массивных колец которской набережной. Он заранее был извещен Венной о том, что горный капитан Ковалевский направляется в Черногорию для поисков золота и что об этом просил русское правительство сам Петр Негош, правитель страны.

Между австрийцами и черногорцами сохранился непрочный мир, больше напоминавший перемирие. Стража которской крепости неохотно впустила в город нескольких черногорцев, присланных для встречи русского гостя. В их сопровождении он через главные ворота и покинул Котор. Ему предстоял подъем на хребет, за которым простирались древние черногорские земли.

Ковалевский не был новичком в горах. Он знал не только Алтай. С горсткой разведчиков золота ему приходилось пересекать таежные хребты Восточной Сибири, карабкаться на гольцы, подниматься к снежным вершинам. И все же он признавался потом, что совершенно изнемог, поднимаясь из Котора в горы. Безжизненной, серой стеной, лишь кое-где как бы забрызганной каплями зелени, хребет вздымался над заливом, и узкая тропа вилась между нагромождениями глыб. Солнце палило нещадно, Ковалевский то и дело отирал пот, а «переники», молодцы из свиты Негоша, казалось, не замечали подъема, легко перепрыгивая с камня на камень,

Потом дорога вышла на плоскогорье. Подул прохладный ветер. В последний раз оглянулся Ковалевский на залив, скорее угадывая, чем различая среди густой синевы крохотные парусники.

Под вечер он был у цели. Ему приходилось, конечно, слышать, что Цетинье мало похож на столичный город. И все же он был поражен тем, что увидел. В горной котловине белел монастырь с небольшой церковью. Вокруг стояло несколько домишек. Вот и весь Цетинье!

Ковалевского уже ожидали. Небольшой отряд воинов расположился возле надетых на пики отрубленных голов турецких беев и пашей. Ссохшиеся под горным солнцем и ветрами, они напоминали о битвах и победах.

Переники, сопровождавшие горного капитана, вскинули ружья для салюта. Встречавшие тоже принялись палить в честь гостя. «Толпы черногорцев окружили меня, приветствовали и целовали: я был в родной семье!» — рассказывал об этой встрече Ковалевский.

Его провели к Негошу.

Ковалевский увидел очень высокого, почти на две головы выше всех остальных, стройного человека, черные кудри которого падали на плечи. Он был одет просто, как все черногорцы, но на шее у него висел большой крест: по обычаю страны, ее правитель непременно принимал сан священника.

Однако ни в манерах Негоша, ни в убранстве его комнат не было ничего, что напоминало бы об этом. Правда, комнаты — их было всего три — именовались кельями. Но стены украшало дорогое трофейное оружие, турецкие кривые ятаганы с роскошно отделанными рукоятками. Рабочий стол Негоша был завален книгами. Здесь же лежали два пистолета и удивившие Ковалевского черногорские гусли, скорее похожие на домру, но только с одной струной, звук из которой извлекался с помощью смычка.

Негош отвел гостя одну из своих келий. Правитель Черногории хорошо говорил по-русски. Ковалевский услышал от него, что страна бедна, окружена врагами, что черногорцам нужно золото, нужен и свинец для пуль. Но когда горный капитан сказал, что намеревается прежде всего отправиться на восток и разведать местность с многообещающим названием Златица, Негош заметил, что сейчас это небезопасно: турецкие отряды то и дело переходят границу, нападая на горные селения.

Поскольку выбор маршрутов определялся не только соображениями геологического порядка, но и тем, можно ли в каком-либо месте искать золото без риска потерять голову, Ковалевский отправился сначала на относительно спокойный юг страны. Сопровождаемый все теми же хорошо вооруженными молодцами из свиты Негоша, он копал разведочные шурфы по берегам рек, впадающих в Скадарское озеро. В песках, промываемых Ковалевским, лишь однажды блеснули редкие золотые крупинки, но зато он исследовал интересную сталактитовую пещеру, проследил и нанес на карту извилины двух значительных рек, открыл месторождение железа. А главное, ему стал понятнее, ближе маленький гордый народ, рассеянный по неприступным орлиным гнездам.

Не найдя золота на юге, Ковалевский все же отправился к Златице. В летний зной он пробирался через пустынное высокогорное плато, где известняк, изъеденный, источенный водами, образовал еле проходимый карстовый ландшафт. Люди жили здесь в бедности и вечной тревоге, чаще держа в руках ружье, чем мотыгу. Даже монастыри, которые в католических странах Средиземноморья были оазисами довольства и благополучия, здесь, в глубинной Черногории, ютились в жалких пещерах.

Златица — возле нее разведчики все же были обстреляны турками — не оправдала своего названия.

Не нашел Ковалевский золота и во время третьего своего маршрута, самого дальнего и самого тяжелого, завершившегося восхождением на снегоголовый Ком, труднодоступную вершину, венчающую хребет.

И все же горный капитан вернулся в Цетинье без чувства неудовлетворенности и разочарования. Он открыл для себя особенности национального характера черногорцев. В его записках предстают люди могучего духа, преданные делу национальной свободы. Он встречал их во всех уголках черногорской земли: «Все богатство черногорца в себе и на себе: в груди своей хранит он залог независимости, сокровище, за которое не пожалеет он царства небесного; на себе — все свое богатство, состоящее из оружия...»

Горный капитан много раз убеждался, что первейшая национальная добродетель черногорца — храбрость. Горе тому, в ком заподозрили боязливую душу! Позор пойдет

по пятам его, даже если смалодушествовал он в чем-то мелком, пустяковом.

Однажды Ковалевский хотел было не прыгнуть, а осторожно сползти с утеса. Но едва он наклонился, опираясь на камень руками, как услышал полный ужаса крик проводника:

— Что вы делаете? Подумают, что вы трусили!

В другой раз, переползая по двум тонким, качающимся жердям kloкочущий поток, он услышал совет не глядеть ни вниз, ни вверх, ни вперед, ни назад.

— Так как же, зажмуриться, что ли?

— О, сохрани боже! — испугался проводник. — Вас назовут трусом. Надо глядеть весело, но ничего не видеть, ничего не слышать, ни о чем ни думать.

И проводник показал, как надо это делать. Казалось, для него не существовало ни опасной стремнины, ни шаткой жерди. Легкими скачками он преодолел мост.

Ковалевскому рассказали о двух черногорцах, попавших в плен к французам. Их хотели увезти в Париж, но один разбил череп о стену темницы, а другой, чтобы избежать позора, уморил себя голодом, отказавшись от пищи.

Горный капитан видел вдов, которые в черной одежде, с обнаженной головой шли от села к селу, призывая отомстить за героев, павших от рук врагов. Ковалевский слышал о поединке двух черногорцев. Они враз спустили курки, но ружье одного дало осечку, и он упал под меткой пулей другого. Тогда тот протянул раненому свое ружье, встал в двух шагах и сказал: «Стреляй, я не хочу, чтобы такой юнак ушел на тот свет неотомщенным, а за тебя, сироту, отомстить некому».

Ковалевский узнал и о том, что в извечной борьбе против сильнейших врагов две пятых черногорцев оставались мертвыми на полях боев, одна пятая погибала от ран и лишь немногие умирали от старости и болезней.

Осенью 1838 года горный капитан спустился знакомой тропой к морю, к Котору. Негош провожал его. Переники несли ящики с коллекциями.

В Которе, на главной Оружейной площади, военный австрийский оркестр играл венские вальсы. Подошел австрийский пароход. Ковалевский простился с Негошем.

«Долго, долго глядел я на горы ненаглядные, где в уединении, в трудах тяжелых было для меня столько радо-

сти,— на горы, которые скрывали от меня, может быть, навсегда, столько близкого, столько родного моему сердцу».

* * *

Первое описание своего путешествия в Черногорию Ковалевский опубликовал вскоре после возвращения с берегов Адриатики. Но чувствуется, что в этом описании многое не досказано. Особенно заметна скупость во всем, что касается яркой личности Негоша.

Да, Ковалевский упоминает, как в глухую полночь не раз хаживал он с правителем Черногории по долине, где настороженно дремал Цетинье. Но ведь говорили же они о чем-то во время этих поздних прогулок! О чем же?

И лишь после смерти Негоша, после новых путешествий по Черногории, Ковалевский вернулся в воспоминаниях к делам прежних дней:

«Это было давно, очень давно, в далекой и всегда мне милой Черногории, куда внезапно бросила меня судьба из более далекой, но менее милой Сибири, от занятий, мне близких, к делу совершенно чужому, которого не принимала душа».

Дело совершенно чужое?

Таким делом оказались дипломатические поручения, которые прибавились в основной цели путешествия, к близким для горного инженера занятиям — поискам золота на черногорской земле.

Эти поручения были сразу неприятны Ковалевскому, и в Петербурге он неохотно принял их. А когда горный капитан, пройдя страну вдоль и поперек, увидел, как трудно живет народ, когда ближе узнал Негоша и цели его политики, он при крутом повороте событий на свой страх и риск поступил вопреки духу данных ему инструкций. И понятно, что Ковалевский предпочел до поры до времени умолчать об этом...

Зажатая в труднодоступных горах Турцией, а позднее и Австрией, Черногория давно искала и обычно находила поддержку России. Еще при Петре I черногорцы вместе с русскими сражались против турок. Петр распорядился посылать в Черногорию деньги и книги. Черногорцы видели в России главную свою заступницу. Позднее совместная борьба против французов, оккупировавших побережье, укрепила взаимные связи.

Но после разгрома Наполеона, после Венского конгресса и создания «Священного союза» Романовы нашли общий язык с Габсбургами. И когда венский двор жаловался на Негоша, на черногорцев, русская дипломатия старалась принимать меры. Перед отъездом горного капитана в Черногорию как раз пришла очередная жалоба из Вены, и, вспоминает Ковалевский три десятилетия спустя, «легко судить, какого рода инструкции я получил».

«Владыка встретил меня подозрительно,— добавляет он,— но отношения наши вскоре выяснились, и мудрено ли? Ему был двадцать один год, мне с небольшим двадцать три. В эти годы и чувствуешь, и действуешь так открыто, так честно, что всякое сомнение отпадает само собой».

На этот раз — редкий для него случай! — память изменила Ковалевскому. Когда он приехал в Черногорию, ему было двадцать девять лет, а Негошу — двадцать пять.

К тому времени Негош дважды побывал в России, и как не походил первый его приезд на второй! В первый он был встречен с большими почестями, и самодержец всероссийский почтил своим присутствием церемонию посвящения молодого черногорца в сан владыки. А когда владыка собрался в Россию вторично — это было в 1837 году,— русский посол в Вене по приказу из Петербурга задержал его на полдороге. Несомненно, это были происки венского двора и австрийского канцлера Меттерниха. Опечаленный и обиженный, Негош жаловался встреченному им в Вене сербскому просветителю Вуку Караджичу: «Я свободный человек, и никто не может запретить мне ехать, куда я хочу».

Вскоре русский посол сообщил Негошу, что он может следовать дальше в Россию. Но в Пскове владыка был снова задержан: русское правительство занималось проверкой возведенных на Негоша наветов. Кончилось тем, что все обвинения отпали и для нужд Черногории были отпущены крупные суммы. Но Негош вернулся в Цетинье со свежей раной: гордые черногорцы редко прощают обиды. И что же удивительного в том, что Ковалевского он встретил с подозрением? А горный капитан был покорен Негошем. До их встречи он видел портрет правителя Черногории. Негош был изображен в облачении архиерея. Но как же мало священнического смирения оказалось в этом гиганте, в его поступках, в выражении его лица! Это

было лицо мыслителя. Ковалевский встретил в Негоше одного из образованнейших людей своего времени и восторженно писал о нем: «Художник избрал бы его для изображения Геркулеса, а философ — путеводителем в своей жизни».

Слава великого поэта еще не пришла тогда к Негошу, и в созданной им типографии был отпечатан лишь сборник его ранних стихотворений «Цетинский пустынный». Кабинет владыки украшали два портрета — Байрона и Петра Великого. Однако в то время поэзия занимала Негоша куда меньше, чем государственные дела и далеко идущие реформы.

Его предшественник завещал черногорцам дружбу с Россией и грозил страшными небесными карами тому, кто нарушит его заповедь: пусть у такого святотатца живо упадет мясо от костей!

И вот пришло недоброе время, когда политика русского самодержавия в угоду венскому двору начала расшатывать устой моста, перекинутого между Петербургом и Цетинье. Мог ли Ковалевский сочувствовать такой политике?

Сама жизнь поставила его перед выбором: либо следовать инструкциям, полученным в Петербурге, либо поступить, как велит сердце.

Дело началось с пограничной стычки между черногорцами и австрийцами. Ковалевский находился в это время в Которе, куда он спустился из Цетинье в перерыве между походами по Черногории. Австрийский начальник округа счел пограничную стычку поводом, для того чтобы «проучить дерзких дикарей». При этом он рассчитывал, что капитан Ковалевский, в котором австрийцы видели дипломатического агента русского правительства, поддержит его по меньшей мере открытым выражением недовольства действиями черногорцев.

Вместо этого Ковалевский поспешил в Цетинье, к Негошу. Они заперлись в келье для совета. Положение оказалось сложное. «Владыке памятно было его недавнее и невольное пребывание под надзором в Пскове по жалобе австрийцев, и он, конечно, не хотел подвергаться гневу русского государя», — вспоминал позднее Ковалевский. Было решено, что Негош останется в Цетинье, а его брат и Ковалевский пойдут к границе с отрядами черногорцев.

Бой на границе окончился разгромом австрийской пехоты, непривычной к войне в горах. Австрийцы вынуждены были просить мира. Венские газеты осыпали Ковалевского бранью. Но официальный Петербург на этот раз не осудил открыто поступка горного капитана: русское общественное мнение было целиком на стороне черногорцев.

Вот обо всем этом Ковалевский и умолчал в первом своем рассказе о путешествии в Черногорию.

После 1838 года Ковалевский еще не раз побывал в горной стране. На исходе 1851 года он приезжал в Цетинье, чтобы отдать последний долг сгоревшему от туберкулеза Негошу.

Поэт сам выбрал место для могилы: вершину Ловчена, высокой горы, откуда видна вся Черногория. Но в год его смерти осенние страшные ливни бушевали в горах. Потом обильные снега завалили перевал.

На следующий год Ковалевский снова приехал в Цетинье по поручению русского правительства. Черногория переживала трудные дни: турки, воспользовавшись смертью Негоша, вторглись в страну. Цетинье напоминал военный лагерь.

Зайдя в маленькую церковь, Ковалевский увидел гроб с телом Негоша. Он стоял на старом месте. Его так и не подняли в часовенку-усыпальницу на Ловчен — на этот раз из боязни, как бы турки тайно не проникли туда: они грозились отрубить голову мертвому Негошу.

Только после заключенного при посредничестве Ковалевского мира между черногорцами и турками прах поэта был на руках поднят к вершине.

* * *

Приехав в Котор, убеждаюсь, что если бы сегодня снимался фильм о русском путешественнике, то киногруппе, решившей заснять высадку Ковалевского на которский причал, пришлось бы позаботиться лишь о подходящих костюмах для исполнителей.

Здесь чтят и берегут старину. В неприкосновенности сохраняется приморская часть города, на которой высится построенный восемьсот лет назад собор святого Трипуна и зубчатые стены цитадели. Вот и городские ворота, через которые Ковалевский ушел в Цетинье, вот подъемный мост, дворцы которских патрициев, дома-крепости с

замысловатыми гербами на фасадах и массивными железными решетками на окнах.

Иду в францисканский монастырь, где хранятся редчайшие старопечатные книги. Хранитель, узнав, что меня интересует все, относящееся к Ковалевскому, тотчас звонит в городскую библиотеку. Через четверть часа я держу в руках том исторических записок, изданных в Черногории. Там статья о «рударски капетане» из России.

Дорога, вырубленная в скальной тверди, ведет из Котора в Цетинье. Я не уверен, что она проложена именно там, где спотыкался конь Ковалевского. Но и сегодняшний путник без труда поймет, каково было пробираться тут в давние годы.

Автобус, едва покинув город, натужно ползет в гору. Из субтропической благодати мы сразу попадаем в царство камня. Быстро темнеет. Лучи фар выхватывают только камень, столбики и небрежно тронутые белой краской глыбы, ограждающие дорогу от бездны, в которой чуть светятся воды залива.

Когда мы поднялись наверх, появилась луна. В селении Негуши шофер тормозит посередине улицы возле каменного дома. Окна, узкие как амбразуры, чернеют на зеленовато-лунном побеленном фасаде. Пассажиры выходят из автобуса и молча обнажают головы. В этом доме родился Негош, память которого чтит вся Югославия.

В Цетинье, неподалеку от знакомой мне по описанию Ковалевского белой колоколенки монастыря, стоит дом-музей Негоша. Все здесь сохраняется таким, каким было при его жизни. Меня поражает рабочее кресло. И без того высокое, оно стоит на подставках: каким же великаном был правитель Черногории!

О том, что здесь жилище поэта, напоминают перо, чернильница, рукописи и первое издание поэмы «Горный венец», обессмертившей имя Негоша.

За стеклом шкафа библиотеки виднеются корешки «Жития Петра Великого», сочинения Пушкина, Ломоносова, Карамзина, Батюшкова. В другом шкафу сплошь русские книги.

Здесь, в библиотеке, и просиживал долгие часы «рударски капетан» Ковалевский.

В том же Цетинье, в музее национально-освободительной борьбы, как бы продолжается его рассказ о черногорской доблести. Короткая надпись напоминает, что в борь-

бе против гитлеровцев двести двадцать три сына маленькой Черногории стали Народными Героями Югославии. Здесь летопись сражений, партизанские пушки-самоделки, списки расстрелянных, снимки кровавых расправ, найденные у гитлеровцев.

На стене сильно увеличенная фотография юноши. Его руки с худыми, тонкими пальцами перекручены стальной цепочкой. Юноша смеется. Снимок, с которого увеличили фотографию, нашли в бумажнике гитлеровца. На оборотной стороне карандашом было нацарапано по-немецки, что черногорский студент Чедо Чупич снят в ту минуту, когда ему читали смертный приговор.

Он был черногорцем, правнуком тех героев, о которых рассказал русскому читателю горный капитан Ковалевский.

Я не пытался повторить все маршруты Егора Петровича, побывавшего в таких уголках Черногории, о которых в те годы Европа имела весьма слабое и не очень верное представление. Некоторые из них сейчас доступны любому туристу. Но и сегодня редко кто без подготовки и опытных проводников рискнет подняться на вершину Кома, откуда, с высоты почти двух с половиной тысяч метров, Ковалевский обозревал Черногорию, внося уточнения в набросок карты.

Одним из первых Ковалевский описал здешний карст. Его поразили горы, которые, как он выразился, не имеют никакой последовательности в своем направлении, разметаны, запутаны, совершенно наги, лишены воды и представляют собой «жалкий сухой скелет природы, покрытый язвами и преданный разрушению».

Как образно это сказано! Я вижу этот сухой скелет из вагона узкоколейки, проложенной в карстовых горах. Все вокруг серо и голо; кажется, что природа, создавая карст, громоздила как можно больше препятствий для человека. И все же места, где, казалось, сам черт ногу сломит, разгорожены каменными оградами, за которыми что-то растет. Вспоминается замечание Ковалевского о труде и терпении, которого требует здешняя земля, и о том, что черногорцу, шесть-семь раз в месяц схватывавшемуся с врагами, некогда думать о земледелии.

...Узкоколейка втягивается в долину Требишницы, на которой еще только начиналось строительство плотин. Рельсы проложены высоко по склону, река струится в

глубине ущелья. От небольшой станции поезд несется под гору. Требишница, которая недавно открылась нам с высоты птичьего полета, струится теперь совсем рядом, то разливаясь тихими зелеными плесами, то шумя на порогах.

Беру карту, чтобы посмотреть, куда она впадает.

А никуда! Нырять в попор — отверстие, промытое водой в известняках карста. Исчезает под землей. Начинается на карте извилистой синей линией, которая внезапно обрывается.

Ковалевский описал причуды черногорских рек. Его особенно заинтересовала Зета и ее попор. Он отметил, что верховья Морачи, сливающейся с Зетой, совсем близко подходят к верховьям Пивы, притока Дрины, относящейся уже не к Адриатическому бассейну, а к Черноморскому. Его удивляло, что никому не пришла в голову мысль о соединении этих рек. Ныне сложный гидротехнический комплекс «Комарница — Зета» использует воды рек разных бассейнов для единого энергетического каскада.

Я, понятно, не хочу сказать, что тут в чем-то помогла идея Ковалевского. Просто приятно лишний раз отметить умелое использование народом природных богатств своей страны. Кстати, некоторые из открытых горным капитаном месторождений железа, свинца, марганца, меди давно уже разрабатываются черногорцами. Что касается золота, то его богатые месторождения не найдены в Черногории до сих пор, и геологические условия республики не позволяют надеяться на подобное открытие в будущем.

...Погожими днями из Цетинье виден Ловчен. В бинокль можно различить схожую со сторожевой башней часовню-мавзоль на вершине горы.

Изображение же Ловчена с могилой Негоша вы увидите в любом городке, в любом горном местечке: оно — на гербе Социалистической Республики Черногории.

* * *

Асуан в наши дни известен всему миру. Славу ему принесла великая африканская стройка. Но еще совсем недавно, до ее начала, это был захолустный провинциальный городок. Таким я застал его летом 1958 года.

Возле отелей извозчики поджидали туристов, чтобы вести их на каменоломни, к неоконченному обелиску, так и оставшемуся лежать в скале, из которой его начали вы-

рубать. На базаре молчаливые нубийцы продавали шкуры добытых в пустыне газелей и фигурки, искусно вырезанные из темного дерева. Между огромными камнями, которыми загромождено русло Нила, скользили парусные суденышки — дахабие, точно такие, какие ходили и сто и двести лет назад.

Я давно мечтал побывать в Нубийской пустыне. В самом деле, ведь от Асуана всего несколько десятков километров до тропика Рака! Просто глупо не воспользоваться случаем. Остается нанять машину и...

— Нельзя, — сказал мне чиновник, скучавший в туристском бюро. — В пустыне нет хорошей дороги. Полиция разрешает поездки не менее чем на трех машинах, причем с цепями на колесах и запасом воды. Если одна застрянет, другие вытянут. А три машины — это обойдется вам...

Он назвал сумму, которую у меня не принял бы ни один бухгалтер, проверяющий расходы пограничным командировкам. Я стал уговаривать: нельзя ли съездить на такси с опытным шофером.

— Господин думает, что это прогулка по Каиру. — Чиновник смотрел на меня, как на неразумного мальчишку. — Это пустыня. Тот, кто шутит с ней, может заплатить жизнью.

И он стал рассказывать, как двое легкомысленных французов на своей машине вот так же отправились было «взглянуть на тропик»... Потом последовал рассказ об упрямом шведе. Рассказы были устрашающие. Я поблагодарил и откланялся.

Мне так и не удалось тогда увидеть места, куда асуанская полиция пускает моторизованных путешественников XX века не иначе как на трех машинах с цепями; места, без каких-либо технических приспособлений сто с лишним лет назад пересеченные русским путешественником...

* * *

Вернувшись в 1838 году из Черногории, Егор Петрович Ковалевский почти тотчас же отправился в Бухару. Среднеазиатские впечатления стали основой первой части книги «Странствователь по суше и морям». Белинский сравнивал ее по легкости и живости изложения с путевыми очерками Александра Дюма. Великий критик прозорливо выделил и главную черту Ковалевского: «Путешест-

венник обращает внимание не столько на физическую природу описываемой им страны, сколько на человека, в ней обитающего...»

Последующие годы жизни Ковалевского необычайно уплотнены и насыщены. Известность путешественника и литератора растет по мере того, как читатель знакомится с его книгами о странствованиях по Кашмиру, Афганистану, Карпатам, Балканам. Энергия Ковалевского поразительна. Теперь его особенно привлекает Африка. Он намечает планы экспедиций, но, увы, не встречает поддержки. Вместо Африки Ковалевского неожиданно отправляют на Урал, повышают в чине, поручают ему управление златоустовскими заводами.

Но недолго длится его оседлая жизнь. Осенью 1847 года курьер из Петербурга привозит предписание: в уважение просьбы паши Мухаммеда-Али, правителя Египта, полковник корпуса горных инженеров Ковалевский направляется в Африку для разведок золотых россыпей и ученых изысканий.

Обычно неповоротливая во всем, что касалось научных экспедиций, бюрократическая машина николаевских времен на этот раз работает с несвойственной ей скоростью. Через три недели, сдав дела, Ковалевский трясется на перекладных по дороге в Одессу, где его поджидают опытные золотопромывальщики — уральцы Бородин и Фомин. Русский пароход высаживает экспедицию, к которой присоединился также молодой ботаник Лев Ценковский, в Константинополе. На константинопольском рейде уже стоит под парами египетское судно, готовое к отплытию в Александрию.

После короткого плавания по каналу Махмудие и нильским водам Ковалевскому предстоит встреча в Каире с папой Мухаммедом-Али.

О правителе Египта в Европе ходят легенды. Жестокый, властолюбивый, малообразованный, но одаренный от природы живым умом, он старался в меру своих сил преобразовать страну, вытянуть ее из отсталости, пробудить от спячки. Он строил фабрики и рыл каналы, велел печатать газеты и обучать крестьян-феллахов военному делу. Образцом для него была развивающаяся капиталистическая Европа; ее опыт он с непреклонной решительностью и нетерпеливостью восточного деспота хотел пересадить на египетскую феодальную почву.

К тому времени, о котором наш рассказ, звезда Мухаммеда-Али уже закатывалась. Великие европейские державы, вовсе не заинтересованные в усилении Египта, нанесли ему несколько очень чувствительных и точно рассчитанных ударов. Однако паша не сдавался. Он верил, что сможет поправить дела, если у него будет золото, много золота, и в русском инженере видел того, кто поможет это золото добыть.

За золотом Мухаммед-Али уже не раз посылал сильные экспедиционные отряды. Им поручалось найти таинственную страну Офир, где добывали сокровища для царя Соломона. Старинная арабская рукопись побудила пашу отправить своих людей к горе Дуль, подле которой рабы будто бы лопатами черпали золото, украшавшее дворцы фараонов. В далекой области Фазогли посланцы Мухаммеда-Али действительно нашли золотые месторождения, но с весьма скудным содержанием металла. А паша Египта нуждался в золотых горах...

В канун нового 1848 года пароход доставил в Каир нетерпеливо ожидаемую здесь экспедицию Ковалевского.

* * *

Не успел Ковалевский расположиться в отведенном ему доме родственника паши, как явился чиновник: сиятельный паша, его светлость Мухаммед-Али, ждет гостя к обеду.

Небывалая честь! Удивленный русский консул сказал Ковалевскому, что правитель Египта обычно обедает только с самыми близкими людьми.

За сервированным по-европейски столом Ковалевский увидел миниатюрного старика с белой бородой, бледным, изможденным лицом и глубоко посаженными живыми глазами. Он мало походил на свои портреты, где услужливые художники изображали властителя здоровяком, полным сил и энергии.

— Я приказал послать в Фазоглу десять тысяч человек для работы на золотых рудниках,— сказал паша.— Если нужно, так прибавлю столько же.

Еще не было ни разведанных по-настоящему месторождений, ни рудников, а людей уже гнали! Однако Ковалевский не сказал об этом вслух. Его предупредили, что Мухаммед-Али не терпит возражений. Все должны соглашаться с ним, поддакивать ему, прославлять его мудрость.

— Инша-алла! — только и произнес Ковалевский. Это выражение, которое египтяне постоянно употребляют по сей день, переводится примерно: «Если пожелает аллах». В данном случае оно могло означать, что если на то будет воля аллаха, то найдется богатое золото, а следовательно, и дело для десяти тысяч человек...

Золото, вожделенное золото, как бы бросало ответ на все приготовления к отъезду, торопило, подстегивало людей. Никакая научная экспедиция не подготавливалась в Каире так быстро, не снаряжалась так щедро, как эта. В январе 1848 года специальный пароход уже увозил ее вверх по Нилу, к Асуану.

В Асуане кончался маршрут, исхоженный многими и до Ковалевского. Но дальше приоткрывались ворота в Экваториальную Африку, еще полную загадок и неожиданностей. И если мы все же заглянем в путевые заметки Ковалевского, посвященные исхоженному пути до Асуана, то лишь для того, чтобы яснее выявить черты характера и взгляды человека, который вел эти записи.

Ковалевского не подавляет груз чужих впечатлений. Ему чужда ложная патетика. Он пишет по поводу пирамид: «О них, кажется, истощены все споры, все восклицания, все прилагательные превосходной степени, так что мне немного остается прибавить». И прибавляет: «Боже мой, сколько труда, сколько поту и крови человеческой пролито и как бесполезно!» Он признается, что с невольным ужасом смотрит на громады, свидетельствующие о тиранстве фараонов. Для того времени, когда были написаны эти строки, подобный взгляд казался совершенно необычным, вызывающе еретическим. Вопреки традиции романтически настроенных путешественников Ковалевский платит весьма скупую дань восхищения боготворимому Нилу и сказочному Каиру. Он пишет об иллюзиях, которые рушатся «при виде нагой существенности»: берега Нила, увы, скучны; ряды пальм стоят однообразно; если мелькнет из-за них деревня, то такая, «что лучше бы ее вовсе не было видно».

Путешественника радует изящная простота каирских мечетей, резные точеные балконы, улицы, заставляющие вспоминать о «тысяче и одной ночи». Однако, замечает он, мечети разрушаются, все вокруг пестро, но вяло, «нищета и бедность выказываются острыми углами из-под старого, шитого золотом бурнуса».

Пытливый ум Ковалевского не хочет принимать на веру утвердившиеся представления о вещах. Он остроумно и доказательно опровергает мнение, будто озеро в Файюмском оазисе было вырыто искусственно. Что из того, что об этом пишет сам Геродот? Геродот, поклонник и обожатель мудрости египетских жрецов, правдивый Геродот, иногда в увлечении совращался с пути правды; хвастуны, встречавшиеся и среди древних египтян, ввели «отца истории» не в одну ошибку.

Современная наука подтвердила вывод Ковалевского о естественном происхождении озерной впадины и ведущего от нее к Нилу протока.

Жарким январским днем пароход высадил экспедицию Ковалевского на пустынную пристань Асуана. Тут как бы проходила невидимая граница, за которой кончались привычные европейцу удобства.

Выше Асуана бурлил грозный Первый порог, или Первый катаракт. Кладь путешественника перевезли по берегу в обход и погрузили в трюмы четырех дахабие.

Барки медленно поползли против течения. Исчезли пейзажи густонаселенной нильской долины. Пустынные горы подступали к реке, горы, лишённые жизни, где не было ни птиц, ни зверей; лишь беглые рабы прятались там в пещерах.

Маленькая флотилия добралась до Куруску. Здесь от речного пути ответвлялся караванный, связывавший напрямик начало и конец огромной нильской излучины. Сменяя барки на верблюдов, путешественники выигрывали не только добрый десяток дней, но и избавлялись от опасного плавания через три порога. Однако тут вполне можно было применить русскую пословицу «Из огня да в полымя»: прямой караванный путь пересекал пекло Большой Нубийской пустыни.

Вечером барки были разгружены. С утра началась невероятная суета. Ревели поставленные на колени верблюды. На них укладывали ящики, тюки, кожаные мешки с водой. Препирались между собой погонщики: каждый уверял, что на его верблюда навьючено больше груза, чем на других.

Наконец караван двинулся; сначала попадались кусты колючей, ссохшейся акации, потом исчезли и они. Лишь редкие пучки жесткой травы виднелись в расщелинах выветрившихся скал.

Совершенно безводная часть Большой Нубийской пустыни началась на второй день пути. Даже ворон, который сначала сопровождал караван в надежде чем-либо поживиться, улетел назад. Торчащие из песка плиты песчаника казались беспорядочно разбросанными надгробиями. Отбеленные солнцем скелеты верблюдов и быков обозначали караванную тропу. А те, кто ехал на верблюдах, кто перегонял скот? Что случилось с ними?

От бедуина Ахмета, который вел караван, Ковалевский узнал, что в Нубийской пустыне погиб сам начальник кавалерии Судана, а до того — несколько посланцев правителя Египта.

Как же это случилось?

— Заблудились...

Ведь это сейчас, зимой, караван может идти днем. В летнюю пору из-за жары приходится передвигаться только по ночам, и тогда легко потерять тропу.

— А звезды?

Но оказалось, что в отличие от киргизов, которые, как убедился при своих путешествиях по Средней Азии Ковалевский, отлично ориентируются по звездам, бедуины теряются под мерцающим ночным небосводом.

Что же, однако, делается в этой пустыне летом, если даже февральское солнце так раскаляет песок, что он обжигает руку, если и сейчас язык присыхает к небу, а пропыленная горячая одежда вызывает зуд? И вдобавок еще качка на одногорбом африканском верблюде! Чувствуешь себя, как фокусник на заостренной палке... Тщетно попытавшись привыкнуть к верблюжьему горбу, Ковалевский вспоминал одного из спутников по Хивинскому походу, который после долгого путешествия на верблюде уверял, что если увидит это животное хотя бы на картине, то выколет ему глаза.

В прежних экспедициях Ковалевский пересекал сыпучие пески на лошади. Однако в Нубийской пустыне пришлось выбирать попеременно одно из трех: верблюд, осел, собственные ноги.

Пустыня не радовала ни малейшим признаком жизни. Хоть бы червяк, муха, пусть даже засохшая былинка... Ничего.

Лишь в знойном воздухе появлялись, дрожали, снова таяли озера, окруженные пальмовыми рощами, струились,

маня прохладой, синие реки. Но проводники-арабы только отплевывались: ведь это дьявол старается смутить миражем душу бедных путников.

Караван шел без перерыва двенадцать-тринадцать часов в сутки. Люди довольствовались несколькими глотками теплой воды самого отвратительного вкуса, которой запивали пригоршню проса; просо получали и верблюды, только не одну, а две горсти.

Поднимаясь с барометром на окрестные холмы для определения высот, Ковалевский посматривал, не появится ли где полоса темного тумана, означающего приближение самума — вихря африканских пустынь, несущего облака пыли. Ковалевскому говорили, что самум испаряет воду даже сквозь стенки кожаных мешков. После этого путникам остается полагаться на милость аллаха или сразу готовиться к смерти. Их последний шанс на спасение — кровь верблюда. Если, поддерживая с ее помощью силы, они все же не успеют добрести до колодца, то в песках прибавится еще несколько трупов, высушенных солнцем наподобие мумий. Не зря жители пустынь называют самум «ядом воздуха», «огненным ветром», «дыханием смерти».

Ковалевский ощущал пустыню «во всем ужасе разрушений и смерти». Однако его деятельный ум изощрялся не столько в придумывании литературных образов, сколько в размышлениях о преобразовании пустыни. Он задавал себе вопрос: была ли здесь когда-либо жизнь и может ли она быть? Пожалуй, фараонов вполне устраивал мертвый барьер между границами Египта и областями воинственных кочевников. Едва ли предпринимались серьезные попытки освоения нубийских пустынь и в более поздние времена: единственная придорожная цистерна, вырубленная в граните для сбора влаги редких дождей, понятно, не в счет.

Арабы рассказывали Ковалевскому, как бурно оживает пустыня после дождя. Горы, равнина,zybучие пески — все покрывается зеленью. А где зелень, там птицы, звери. И люди спешат пригнать сюда свои стада.

Но как часты здесь дожди?

Арабы вспоминали, высчитывали:

— Господин, последний раз дождь по милости аллаха пролился здесь шесть лет назад.

Шесть лет! Новый мир в пустыне создается быстро, но он скоротечен, непрочен: солнце разрушает его в два-три месяца. А потом снова жди шесть, восемь, десять лет!

И все же... «Значит, не вечной же смерти обречена эта пустыня! Если природа так быстро может исторгнуть ее из рук смерти, то и человек, силою труда и времени, может достигнуть того же...»

Ковалевскому рисуется канал, который прошел бы через пустыню примерно в направлении караванного пути и соединил бы начало и конец нильского колена. Барометрическая нивелировка показывает, что прорыть его можно, тем более что в одном месте пригодилось бы русло пересохшей реки. Такой канал, длиной примерно триста верст, спрямил бы водный путь, а главное, сделал бы возможным земледелие, вызвал бы приток населения.

Увлеченный своей идеей, Ковалевский попутно выясняет, что и недра пустыни не столь бедны: нашлись признаки золота, меди; стало быть, тут мог бы развиваться и горный промысел...

Десять дней шел караван, прежде чем исчезли скелеты вдоль дороги — верный признак, что близка вода. К Нилу снарядили нарочного с кожаными мешками. Он вернулся со свежей нильской водой. Вместе с нарочным прилетел коршун — первое живое существо за весь переход через пустыню.

Караван вышел на пригорок, откуда уже различалась голубоватая полоса Нила, купы пальм, серые стены деревушки. Верблюды с ревом рвались к реке.

Нил снова принял путешественников. На барках — когда под парусами, когда бечевой — они медленно подвигались вверх по реке к Хартуму, главному городу Судана. Возле него Белый Нил и Голубой Нил, сливая воды, дают начало собственно Нилу.

В дневниках Ковалевского превосходные зарисовки природы, которая становилась тем щедрее, чем глубже уходил маршрут в дебри Африки. Но Ковалевский не только инженер и натуралист, он также писатель и дипломат. Его интересуют местные политические нравы, заговоры честолюбивых пашей, взяточничество и шкурничество. А как проникательны его характеристики миссионеров, встреченных в Хартуме! Он сразу различает за внешне представительной фигурой епископа Кацоллани другую — остающегося в тени, но вершащего все дела

иезуита Рилло, «известного в католическом мире не столько как ректора школы пропаганды, сколько по религиозному и политическому влиянию».

Этот Рилло хотел выбрать место для миссионерской колонии на границе Абиссинии и Судана. Он попытался было послать своих соглядатаев с экспедицией Ковалевского. Но тот хорошо понимал, что Рилло затевает «более политико-коммерческое, чем религиозное предприятие», и что у преподобного отца-иезуита много замыслов, «в число которых если и входит религиозная мысль, то только стороной, как средство, а не цель».

От Хартума барки Ковалевского повернули вверх по Голубому Нилу. Впервые в истории исследования Африки русский флаг отражался в водах этой реки. Ковалевский находил, что по ее берегам и природа раскинулась привольно, на русский лад: есть место и человеку, и птицам, и диким зверям.

Последних, впрочем, могло бы быть и поменьше. Львы и гиены так и рыскали вокруг. В одной приречной деревушке звери растерзали пять человек и несколько вьючных мулов. Поэтому лоцман, выбиравший для ночных стоянок песчаные безлесные островки, однажды велел спешно отчаливать, испугавшись близкого львиного рыка и тени, мелькнувшей в зарослях. Ковалевский остановил его: надо же сначала сосчитать людей! Так и есть, нескольких человек не хватало. Подняли крик. На отмели появились боязливые фигурки, торопливо крадущиеся к баркам.

Впрочем, и на отмелях было опасно. Однажды арабы бечевой тянули барку, забредя в реку почти по пояс. Вдруг один из них, вскрикнув, исчез под водой. Мелькнуло его лицо с вылезшими на лоб глазами и судорожно раскрытым ртом. Опомнившись, люди стали кричать, стрелять из ружей в воздух, бросать веревки туда, где клокотала и пенилась окровавленная вода. Шум испугал крокодила. Пострадавшего вытянули из воды. Кровь стекала с него, нога была раздроблена острыми зубами, а три пальца словно отрезаны бритвой. «Славная земля! — отмечает Ковалевский. — К берегу нельзя приблизиться в опасении львов и гиен; в воде нельзя оставаться в опасении крокодилов. Впрочем, где тут беречься долгое время! Мы выходили на берег одни и купались с беспечностью истинных арабов — даже ночью!»

Был март 1848 года, когда экспедиция покинула долину Голубого Нила и по высохшему в это время года руслу его притока Тумата стала углубляться в золотоносную область Фазогли.

— А что, Иван,— спросил один из уральцев, спутников Ковалевского,— долго еще будут нас везти?

— Дальше солнышка не увезут,— меланхолически ответил другой.

И верно, привезли их едва не под самое экваториальное солнце, под прямые и беспощадные его лучи. Привезли в египетский военный лагерь возле гор Кассана, где Ковалевского давно поджидал посланный туда Мухаммед-Али генерал-губернатор Галиль-паша.

В первый же день, не отдохнув после дороги, Ковалевский сделал пробные промывки золота. Многие последующие дни он занимался тем же, одновременно стараясь ускорить постройку золотопромывальной фабрики.

«Наконец,— пишет он,— успех увенчал труды и заставил положить не палец, а целую руку удивления в рот тех, которые не могли постигнуть, чтобы золото было там, где мы его искали».

Но мечтал он о совсем другом успехе.

* * *

На титульном листе книги Егора Петровича Ковалевского о его путешествии в Африку — эпиграф: греческие буквы, а под ними — арабская вязь. Это извлечение из трудов Геродота с признанием, что никто ничего не знал об истоках Нила, и арабская поговорка: «Истоки Нила в раю».

Вот где ключ к пониманию одной из побудительных причин, заставлявших Ковалевского стремиться в Африку! Загадка истоков Нила волновала исследователей в то время едва ли меньше, чем во времена Геродота.

Древние египтяне, вероятно, знали Нил по крайней мере до Хартума, но в надписях, повествующих об экспедициях фараонов на юг, ничего не говорится относительно истоков великой реки. Эратосфен сообщал уже о двух реках, которые образуют Нил. Клавдий Птолемей в начале нашей эры относил истоки Белого Нила к высоким Лунным горам в центре Африки. По-видимому, священник Педро Паэш был первым европейцем, увидевшим в начале XVII века в горной Абиссинии исток Голубого

Нила. Но и в начале XIX века не было человека, который мог бы указать, откуда течет Белый Нил.

Мухаммед-Али, дороживший славой просвещенного правителя, в 1839 году отправил вверх по Белому Нилу экспедицию Селима Бимбаши. Ей удалось проникнуть по реке до 6° 30'. Оттуда мелководье вынудило арабов повернуть обратно. Однако паша приказал тому же Бимбаши снова отправляться в путь. К нему присоединились французские ученые. Но ни эта, ни еще одна экспедиция, снаряженная в 1841 году, не принесли желанного открытия. Удалось лишь установить, что Белый Нил течет не с запада, как тогда думали многие.

Ковалевский уже на пути в Каир прочел во французской газете сообщение, что путешественникам, братьям Антуану и Арно Аббади, удалось, наконец, найти истоки Белого Нила. И где же? В Абиссинии, неподалеку от истоков Голубого Нила!

Сообщались точные координаты: 7°49'48" северной широты и 36°2'39" восточной долготы. Начинаясь там, река будто бы описывает огромную дугу, неся воды к южным суданским окраинам.

Достигнув лагеря у гор Кассана, Ковалевский оказался не столь уж далеко от места, где Аббади сделали свое открытие. И путешественник рассудил: «Следуя по Тумату до самых вершин его, я должен был достигнуть почти той же широты и только немного уклониться от означенной долготы, следовательно, так сказать, упереться в Нил или до того приблизиться к нему, что всякий из туземцев легко мог указать реку, многими боготворимую: таким образом подтвердилось бы открытие Аббади».

Галиль-паша всячески отговаривал Ковалевского от подобной экспедиции: через верховья Тумата совершает набеги воинственное абиссинское племя галла, и, стало быть, риск слишком велик. Но постепенно Ковалевскому удалось склонить генерал-губернатора в пользу своей затеи.

Галиль-паша согласился отпустить русского лишь в сопровождении сильного военного эскорта. Это могло походить на завоевательный поход. Но первое, что сделал Ковалевский перед отправлением в путь, — строго запретил египетским солдатам малейшие насилия.

В горах вокруг бивака экспедиционного отряда всю ночь вспыхивали, гасли, мигали сигнальные огни. Афри-

канский «телеграф», понятный жителям гор столь же хорошо, как и рокот барабанов, передавал тревожные известия о вступлении чужеземцев.

Оставив караван под прикрытием конвоя, Ковалевский с отрядом стал пробираться по сильно загроможденному глыбами пересохшему руслу Тумата. Вода оставалась лишь в ямах, где крокодилы, зарывшись в песок, ждали первых дождей. И однажды арабы увидели, как к одной из таких ям спустились с гор охотники местного племени. Захватить испуганных внезапным нападением горцев было нетрудно. По жестоким законам африканских джунглей они стали военной добычей, даровыми рабами.

И как же были недовольны солдаты, когда Ковалевский приказал отпустить пленников! Он был строг: разве сиятельный паша послал экспедицию для ловли людей? Пусть пленники отправляются подобру-поздорову!

Отчаяние одних пленников, гордое презрение к смерти у других, тупое безразличие третьих сменилось надеждой, робкой, недоверчивой. Их отпускают?! Они сделали несколько шагов, втянув головы в плечи и ожидая выстрелов в спину. Нет, не стреляют... Бежать, бежать, скорее бежать, пока белый начальник не передумал!

Продвигаясь осторожно вперед, отряд Ковалевского ни разу не прибег к оружию. Галла на этот раз не делали даже попыток напасть на пришельцев. Караван беспрепятственно достиг тех мест, где буйно заросшие ярко-зеленые горы, сдвинувшись, оставили Тумату лишь заваленную камнями щель.

Русло закончилось невысоким обрывом. Из-под влажной земли выбивались слабые родники. Арабы смотрели во все глаза: еще бы, ни одному их соотечественнику до сих пор не удалось увидеть истоки Тумата! Пожалуй, если они станут рассказывать об этом, им все равно не поверят!

Ковалевский поспешил к расположенной неподалеку возвышенности. Ему хотелось «достигнуть взором туда, куда тщетно стремились дойти столько путешественников, из которых многие заплатили жизнью за свое безусловное служение науке».

Уже незадолго до заката он поднялся на самое возвышенное место. До горизонта простиралась необитаемая равнина, где среди низкорослых деревьев и кустарников паслись огромные стада диких слонов.

«Весело, с гордостью осматривался я вокруг,— записал Ковалевский.— Никто не проникал так далеко внутрь Африки с этой стороны, самой неприступной для путешественников. В этой победе над природой, в этом первенстве ее завоевания есть наслаждение своего рода, наслаждение высокое, которое может постигнуть только путешественник, достигающий своей цели после тяжких трудов, лишений и испытаний его терпения и силы воли».

Местность у верховьев Тумата Ковалевский назвал страной Николаевской, а пересохшую небольшую речку — Невкой, чтобы это название напоминало, «до каких мест доходил европейский путешественник и какой нации принадлежал он».

В поход на возвышенность Ковалевский взял с собой самых бывалых знатоков и следопытов, африканцев и арабов. Он показывал им на равнину, на синеющую далеко к югу гряду. Он спрашивал: не знают ли они, не слышали ли от кого о реке, текущей там?

И тогда шейх Арбаб, главный проводник, сказал, что знает одну реку. Ее называют Бахр-эль-Абьяд.

Бахр-эль-Абьяд! Но ведь это арабское название Белого Нила!

Шейх Арбаб, однако, возразил: река, о которой он говорит, никакого отношения к настоящему Белому Нилу не имеет. Это могут подтвердить и другие. Тот Бахр-эль-Абьяд и настоящий Бахр-эль-Абьяд — это все равно, что капля и море. Маленький Бахр-эль-Абьяд начинается в горах и впадает в Голубой Нил. А где начинается настоящий Бахр-эль-Абьяд, знает только Аллах...

Неужели французских путешественников ввело в заблуждение сходство названий?

«У меня не станет смелости положительно опровергать важное, можно сказать — великое открытие Аббади, но, достигнув почти широты 8° и не нашедши Бахр-эль-Абьяда, настоящего Нила, даже не слышав о нем ни от кого из туземцев... я имею повод более чем сомневаться в предполагаемом открытии», — записал Ковалевский.

Он покинул «страну Николаевскую» с твердой уверенностью, что разгадку истоков Белого Нила нужно во всяком случае искать не здесь.

Карта, составленная Ковалевским во время путешествия в Африку, романтична почти так же, как та, что прилагается к «Острову сокровищ» Стивенсона.

Помимо названий селений и рек она пестрит надписями вроде: «негры-идолопоклонники, разрабатывающие железные руды»; «предполагаемые антропофаги», «возвышенная равнина, покрытая кустарником, служащая пастбищем слонам»; «горы, несправедливо называемые Лунными»; «последний пункт экспедиции д'Арно». Карта, естественно, не вполне точна — составитель ее оговаривается, что многое нанесено «по одним слухам туземцев». Но ведь она составлена в 1848 году!

Когда русский флаг развевался над барками экспедиции Ковалевского, когда наш соотечественник шагал по руслу Тумата, имя Давида Ливингстона было еще едва ли кому известным, а на праздничном пироге, который матушка пекла ко дню рождения маленького Генри Стэнли, зажигалось всего семь свечей...

Ковалевский предостерег других от ложных путей в поисках истоков Белого Нила, составил геологическое описание Нильского бассейна и золотых месторождений Внутренней Африки, описал быт многих африканских племен. Он рассказал о своем путешествии широкому русскому читателю ярко и образно. Это путешествие, кстати, отнюдь не закончилось у истоков Тумата. Ковалевский побывал возле легендарной горы Дуль, потом вернулся в Кассан и пустил в ход золотопромывальную фабрику.

Продолжая исследования во Внутренней Африке, он тяжело заболел. В период ливней тропическая лихорадка особенно опасна, особенно изнурительна, и часть обратного пути больного несли на носилках. Совершенно измученный и обессиленный, он добрался наконец до Асуана, где смог сесть на пароход и отправиться в Каир.

За блистательные успехи правитель Египта наградил русского исследователя золотой медалью, усыпанной бриллиантами. Вернувшись в Петербург, Ковалевский составил доклад о пользе и необходимости русской торговли с Египтом, предлагал наладить рейсы кораблей между Одессой и египетским портом Александрией.

Читая сегодня превосходно написанные книги Егора Петровича Ковалевского, дивисься не только его литера-

турному дарованию, но и его гражданской зрелости. Он был в Египте по приглашению Мухаммеда-Али, правителя, которого многие европейцы считали тогда едва ли не благодетелем народа. Ковалевский же искусно показывает, что, мягко говоря, это не совсем так. Из его замечаний можно узнать о бесправии народа, жестокости, корыстолюбии, продажности власти имущих.

Вот излагается забавная и как будто безобидная легенда о эфенди, спутавшемся с нечистым. Но нечистый не стал выторговывать при этом душу знатного господина: «И в самом деле, черта ли ему в душе эфенди! За рубль купишь ее в Египте». В другом месте автор замечает мимоходом: «В Египте, кто не имеет силы защитить свое право, тот теряет его».

Он пишет о феллахе, египетском крестьянине, опоре и кормильце страны: «Участь феллахов такова, что я по сию пору не решился говорить о них подробно. Может быть, когда всмотрюсь в предмет, он представится мне не в таком темном виде, каким кажется с первого взгляда». А всмотревшись, сочувствует феллаху, который не знает, против кого обороняться — против натиска ли песков пустыни, против палящего солнца или против нападков сборщиков налогов и приставов. Правительство страшно, так страшно «для жителей арабских деревушек в Судане, что, завидев представителей власти, они покидают жилище и убегают в леса, где рискуют наткнуться на львов и гиен».

Читаешь Ковалевского и думаешь: как же богата страна наша людьми благородными, людьми высокого духа, опережающими свое время! Ведь кто такой Ковалевский? Дворянин, барин, «голубая кровь», чиновник особых поручений, успешно продвигающийся по службе. Впереди у него — генеральские эполеты, ордена, почести. Вырос он в крепостнической России, где самодуры-помещики меняли дворовых девушек на борзых щенков. Рабство было узаконено тогда во многих странах. Из гаваней «черного континента» корабли ежегодно вывозили свыше ста тысяч невольников. Многие убежденные противники рабства были тем не менее далеки от признания расового равенства. Уверенность в превосходстве белого человека господствовала в Европе и в Америке.

И вот Ковалевский публикует в «Отечественных записках» свою «Негрицню».

Как наблюдательный человек, с трезвым, реалистическим складом ума, Ковалевский не впадает в крайности. Осуждая отвратительное явление, которое в наши дни называют расизмом, он не рисует одними только розовыми красками нравственный облик, обычаи, общественный быт африканцев.

«Весьма далек я от того, — пишет Ковалевский, — чтобы быть слепым защитником негров; но я защищаю человека, у которого хотят отнять его человеческое достоинство, и выставляю вместе с тем все его пороки как неизбежную принадлежность народа покинутого, презираемого; он менее виновен в своих пороках, чем другие, вполне сознающие их».

Русский путешественник отмечает превосходное физическое развитие африканцев, их доброту и гостеприимство. Его радует, что африканцы не злопамятны и что у них почти неизвестна кровавая месть, бессмысленно уносящая столько жизней в той же Черногории. Он пишет, что африканец «привык думать и размышлять; вопрос ваш он обнимает быстро; память его светла». Врожденные способности коренных обитателей Африки, по мнению Ковалевского, «не только не ниже, чем у других людей, но выше, чем у многих».

Ковалевский, рассказывая о некоторых обычаях африканцев, вызывающих удивление и даже отвращение европейцев, выступает как поборник более широкого взгляда на вещи, как поборник терпимости по отношению к тому, что с первого взгляда кажется странным, непонятным, даже диким.

«Я спрашиваю вас, — обращается он к читателю, — чем лучше наш обычай целования, прижимания и трения губ одного губами другого, чем лучше, говорю, этот способ выражения ласки и радости при свидании трения носами друг друга, которое в обычае между многими дикими? А между тем мы смотрим с умилением на обряд целования и смеемся над дикими, которые трутся носами и в свою очередь подсмеиваются над нами».

Цвет кожи, говорит Ковалевский, отнюдь не является причиной того, что африканцы не достигли культурного уровня европейцев. Это лишь следствие их угнетения людьми другого цвета кожи. И русский путешественник приводит сравнительные антропологические данные, доказывающие единство рода человеческого.

Он осуждает людей, которые готовы совсем сбросить африканца с той лестницы, на самом верху которой определили место для себя. Эта «градация» показывает лишь «непреклонный эгоизм и самодовольное заблуждение людей, которые считают себя привилегированной кастой человечества».

Пожалуй, никто не оценил гуманизм и широту взглядов Ковалевского короче, точнее и выразительнее, чем Чернышевский: «Весьма понравился он за то, что так говорит о неграх, что они ровно ничем не хуже нас, с этим я от души согласен...»

То, что понравилось Чернышевскому, разгневало русского царя. Услужливые чиновники особо обратили его внимание на строки в книге Ковалевского, где автор, рассказывая об африканских невольниках, об издевательствах над ними, прямо говорит: «А сколько людей, у нас особенно, в бесконечной России, людей, которые осуждены на подобную жизнь».

Николай I велел объявить Ковалевскому «строжайший выговор», посадить его на гауптвахту и «впредь иметь под строжайшим надзором».

Но книга, содержащая дерзкие и крамольные мысли, уже ходила по России, подавленной реакцией, и люди, стосковавшиеся по каждому вольному слову, жадно читали ее.

* * *

Шесть лет спустя после первой своей поездки я снова был в Африке. Шел май 1964 года. Строители Садд аль-Аали, великой плотины Асуана, готовились перекрыть Нил.

Мне представилась возможность поехать в Асуан на машине и останавливаться во всех больших и малых городах нильской долины. Почти в каждом из них работали мои соотечественники. В Асьюте это были преподаватель университета, читающий лекции по теоретической механике, и заведующий учебной мастерской, оборудованной советскими станками. В Гирге меня встретили московские мелиораторы, помогавшие арабам строить магистральный оросительный канал. Маленький городок Исна, возле которого действовали наши экскаваторы и скреперы, обрадовал встречей с коренным волгарем, инженером-механиком, и с арабистом из Баку, увлеченно

работавшим над составлением русско-арабско-азербайджанского технического словаря. И в других городах, а то и просто в палатках жили «руси», прилетевшие в Африку из Сибири, с Украины, из Армении, со всех концов великой страны. Они приехали сюда по просьбе арабов, приехали с открытой душой, без предрассудков, без высокомерия, приехали, чтобы помочь. К ним относятся, как к братьям, между прочим, и потому, что и в прошлом не было между «руси» и африканцами ничего, о чем стоило бы сожалеть, чего можно было бы стыдиться.

Русский человек издавна шел в Африку как друг. Он не заковывал в цепи невольников, не вывозил на свои плантации «черный товар», не захватывал колоний на сказочно богатом материке. Вспомним наших путешественников. Григорович-Барский пришел в Африку паломником. Норов описал древности Египта. Рафалович изучал в долине Нила способы борьбы с эпидемией холеры. Клингена интересовала древнейшая история земледелия нильской дельты. Чихачев занимался описанием природы Северной Африки. Доктор Елисеев во время своих африканских путешествий сделал ценнейшие антропологические наблюдения. Юнкер собрал великолепные этнографические коллекции, исследовал водораздел Нила и Конго. Булатович отправился в Абиссинию с экспедицией Красного Креста, чтобы помогать на полях сражений эфиопам, отражавшим натиск итальянских колонизаторов. Можно назвать еще десятки, если не сотни, имен русских путешественников по Африке — и не один из них не оставил о себе недобрую память.

По их следам, унаследовав их лучшие, благородные традиции, идет в Африку советский человек — друг африканца, освободившегося от колониального рабства, строящего новую жизнь. И там, где побывал, где потрудился наш человек, поднимаются заводы, асфальт новой дороги пересекает пустыню, канал несет воду полям, открываются новые школы и больницы...

Я приехал в Асуан незадолго до перекрытия Нила. Из множества впечатлений торжественных и великолепных дней мне особенно запомнился тот последний день, когда еще можно было целиком видеть грандиозные сооружения, напоминающие бастионы циклопической крепости: после взрыва земляной перемычки воды священной реки древних египтян должны были затопить нижнюю часть плотины,

Оставались считанные часы до того момента, когда Нил, повинувшись воле человека, должен был остановить тысячелетний бег в своем природном русле и пойти новой дорогой, через туннели, прорубленные в скалах. Чтобы увидеть это, люди собрались еще с ночи. Они терпеливо стояли все утро под палящим африканским солнцем. Они хотели стать свидетелями чуда, о котором будут рассказывать внукам.

В пестрых толпах смешались строители плотины и множество феллахов, пришедших из ближних и дальних деревень: ведь это для их полей будет копить воду великая плотина! Величественная, как пирамида Хеопса, — нет, величественнее любой пирамиды — поднималась перед сотнями тысяч людей их Сагг аль-Аали.

Общий труд сблизил всех. Я слышал русские слова, произносимые арабами, и арабские фразы, с которыми рязанцы или сибиряки обращались к уроженцам Асьюта или Асуана. Никто не говорил о дружбе, о братстве, о труде — это было лишним, это не нуждалось в словах.

Внезапно клубы серо-желтого дыма поднялись над валом земли. Взрывная волна ударила в уши. Неистово-восторженный вопль пронесся над берегами: мутная вода выбилась из-под оседающего дыма, первые струи Нила хлынули в новое русло.

Поток ширился с каждой секундой. Нил ревел. Из-под полукружья неистового водопада, между остатками перемычки вырвался белый пенный султан, и, может быть, впервые зримо ощутил человек, с какой могучей рекой вступил он в единоборство.

Вступил — и победил!

Прошло еще немного времени, и перед колоссальной плотинной начала накапливаться вода. Она теснила пустыню. Она шла к тем местам, где воображению русского путешественника когда-то рисовался канал, несущий жизнь.

Да, «силою труда и времени» человек исторг пустыню «из рук смерти»!



ФРЕГАТ НЕ СПУСКАЕТ ПАРУСА

Как вы помните, Филеас Фогг, герой Жюль Верна, совершил кругосветное путешествие за 80 дней.

Когда вышел роман — это было в 1872 году — многие спорили, возможно ли осуществить такое путешествие не на страницах романа, а в действительности. Оказалось, можно. Рекорд литературного героя был побит еще при жизни романиста. Одним из рекордсменов стала журналистка нью-йоркской газеты «Уорлд» миссис Нелли Блай, сумевшая на кораблях, поездах и в экипажах обогнуть земной шар за 72 дня 6 часов 10 минут 11 секунд: американцы любят точность!

Но строго говоря, Нелли Блай состязалась с Филеасом Фоггом не на равных условиях. За два десятилетия, прошедших с той поры, как Жюль Верн, обмакнув перо в чернильницу, вывел заглавие «Вокруг света в 80 дней», в мире многое успело измениться: увеличилась скорость кораблей, появились новые железные дороги, быстрее помчались поезда.

Когда маршрут Филеаса Фогга задумал повторить правнук Жюль Верна, мсье Жан Клод Ласс, ему потребовалось для этого всего 80 часов.

Прошло несколько лет, и служащий финской авиакомпании Эрки Йокинен облетел вокруг планеты за 40 часов 33 минуты.

Ему не понадобилось при этом изучать карты и думать о выборе снаряжения для кругосветного путешествия. Он вооружился лишь расписаниями международных авиалиний, обслуживаемых реактивными лайнерами, а его багаж состоял из не очень туго набитого портфеля. Он летел, как летают ежедневно сотни тысяч людей. Вежливые стюардессы напоминали ему, когда следует застегнуть ремни в самолетном кресле, а также предлагали бутылки виски и сигареты, которые в воздухе стоят дешевле, чем на земле. От сотен тысяч других пассажиров Эрки Йокинен отличался лишь нервной торопливостью при пересадках.

Да, ему понадобилось меньше двух суток для кругосветного путешествия. Но что он видел? Что узнал? Какие личные его качества проявились при этом, какие грани характера шлифовались? И что осталось в результате его путешествия, кроме десятка авиационных билетов, открыток с видами аэровокзалов и коротких газетных заметок об установлении еще одного нового рекорда, которому едва ли суждено удержаться больше года?

Мы стали пересекать материки и океаны слишком торопливо, для того чтобы по-настоящему обогащаться глубокими впечатлениями. Едва ли кого заинтересуют путевые заметки г-на Йокинена. И когда нам захочется ощутить огромность и емкость понятия «вокруг света», мы идем к книжным полкам и достаем там... ну, хотя бы объемистый том с несущимся под всеми парусами кораблем на обложке.

«Фрегат «Паллада»». Вот уже второй век наслаждаются читатели неторопливым повествованием о дальнем плавании русских моряков. Живые наблюдения, яркие картины природы, меткие зарисовки нравов, сделанные Иваном Александровичем Гончаровым, не потускнели, не утратили глубины. А злободневность... Что же, гончаровская «Обыкновенная история» в наши дни обрела вторую жизнь на сцене советского театра и оказалась очень даже современной и злободневной.

Я не собираюсь, разумеется, пересказывать здесь книгу Гончарова. Но может, стоит дополнить описание путешествия тем, что стало известно из неопубликованных писем, воспоминаний друзей, отчетов морского ведомства уже много лет спустя после выхода в свет «Фрегата «Паллада»»? Стоит, наверное, напомнить и о том, как создавалась книга, о том, что современники были довольно разноречивы в ее оценке.

В действительности плавание «Паллады» было во многих отношениях более трудным, чем это описано Гончаровым. В. Шкловский назвал его даже одним из самых трагических путешествий мира. Однако в спокойном, плавном повествовании действительные опасности скорее затушевываются, чем драматизируются. А сам автор, иронизируя над собой, изображает себя этаким изнеженным, избалованным барином, недовольным тем, что его лишили привычных удобств и покоя.

«Между моряками,— пишет он,— зевая, апатически лениво смотрит в «безбрежную даль» океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на Сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии».

Если бы он был действительно таким, то тогда следовало бы во многом признать правоту Герцена, отозвавшегося об авторе «Фрегата «Паллада»» с необычайной резкостью. Герцен замечает, что Гончаров плавал в Японию «без сведений, без всякого приготовления, без научного (да и другого, кроме кухонного интереса)». По его мнению, Гончаров длинно и вяло рассказывает о впечатлениях своего тупоумного денщика и глупорожденного слуги, плотоядно прибавляя к этому перечень всего, что он ел от Кронштадта до берегов Юго-Небесной империи...

Но едкие эти характеристики неосновательны. Литературный автопортрет Гончарова — тот, где он, зевая, апатически лениво смотрит в «безбрежную даль», — мало схож с оригиналом. Да и вообще можно ли считать его автопортретом, отождествляя «литератора» с автором? Ведь сам Гончаров во вступлении к своим более поздним заметкам «На родине» говорит, что он желал бы, чтобы в них искали «не голой правды, а правдоподобия», что он считает укоры критики в привычке «обобщать лица», скорее, комплиментом: «Обобщение ведет к типичности, а обобщение у меня — не привычка, а нату-

ра...» Кстати сказать, черты обобщения, типизации явственно заметны и в обрисовке характеров офицеров «Паллады», подлинные имена которых, как известно, Гончаров скрывал за инициалами и даже прозвищами. Зевающий «литератор» схож временами с Обломовым. Но стоит ли повторять ошибку тех, кто в Обломове видел Гончарова, в герое — автора?

Свидетельства участников плавания «Паллады», история создания книги рисуют нам писателя тружеником, требовательным к себе, путешественником зорким и наблюдательным.

«Фрегат «Паллада»» в значительной мере книга открытий. В ней открытие жанра реалистических путевых очерков, поднятых до уровня художественного произведения. В ней открытие для русского читателя особенностей некоторых стран, в частности Южной Африки, которая до той поры не видела наших исследователей. Много нового рассказал Гончаров и о ломке старых, феодальных отношений в Японии.

Вся читающая Россия сразу заметила печатавшиеся сначала в «Морском сборнике», «Русском вестнике», «Отечественных записках» письма с фрегата. «Письма эти, — свидетельствует современник, — были так живы и увлекательны, что их читали все нарасхват, а когда в целом было напечатано путешествие Гончарова под заглавием «Фрегат «Паллада»», так «Палладу» раскупили чуть не в месяц, и через год потребовалось второе издание».

А за вторым — третье. А там еще и еще... Характерно, что новое, советское издание книги вышло в свет в трудные послевоенные годы.

Нет, «Фрегат «Паллада»» не спускает паруса, не встает на прикол забвения!

* * *

Крузенштерн и Лисянский на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803 году своим кругосветным плаванием открыли как бы новую эпоху в жизни русского флота.

За минувшие с тех пор полвека редкий год корабли под русским флагом не отправлялись вокруг света. Головин на «Диане» и потом на «Камчатке», Лазарев на корабле «Суворов», Коцебу на бриге «Рюрик», Беллинсгаузен и Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный»,

Васильев и Шипмарев на шлюпах «Открытие» и «Благонамеренный», Понафидин на «Бородино», снова Лазарев на фрегате «Крейсер», Врангель на транспорте «Кроткий», Литке на шлюпе «Сенявин» — да разве перечислишь все имена командиров, все названия кораблей, бороздивших по кругосветному маршруту моря и океаны, обогативших человечество многими важными открытиями, в том числе открытием Антарктиды, шестого материка!

Но хотя кругосветные плаванья перестали быть чем-то необычным, каждая новая экспедиция по-прежнему вызвала значительный интерес в столице и провинции. Так было и после распространившегося летом 1852 года известия о том, что вице-адмирал Путятин готовится к дальнему рейсу, намереваясь посетить с важной дипломатической миссией Японию.

Однажды разговор об экспедиции Путятина зашел и в доме известного художника Майкова, где частым гостем был Гончаров. С семьей Майковых Ивана Александровича связывала давняя дружба. Он проводил вечера в их уютной гостиной, где обычно собирались поэты и художники.

На этот раз были только свои. Хозяйка дома, Евгения Петровна, рассказывая о предстоящей экспедиции, заметила, между прочим, что адмирал ищет обладающего живым слогом секретаря, который мог бы потом описать все путешествие. Ее сын, поэт Аполлон Майков, получил от адмирала приглашение занять этот пост, но отказался.

— Вот вам бы предложить! — со смехом обратилась Майкова к Гончарову, по обыкновению спокойно сидевшему в глубоком кресле.

— Мне? Что же, я бы принял это предложение, — ответил тот. Все рассмеялись, а минуту спустя уже забыли об этом разговоре.

Но через несколько дней среди друзей Гончарова распространилось изумившее их известие: Иван Александрович действительно собирается путешествовать вокруг света, бросает место младшего столоначальника в департаменте внешней торговли и уже хлопочет о назначении секретарем экспедиции.

Кругосветное плавание — да ведь это разлука с родной, с друзьями на два, а то и на три года! А опасности?

А лишения? Как смирится с ними человек, за сорок лет своей жизни не совершивший ни одной действительно большой и трудной поездки хотя бы по родной стране? И не он ли говорил, что свою спокойную комнату оставляет только в случае надобности и всегда с сожалением? Наконец, ведь Иван Александрович после «Обыкновенной истории» обдумывает планы новых произведений и уже давно работает над одним из них. Значит, бросить и это?

Решение отправиться в дальнее плавание было принято Гончаровым внезапно. Потом начались колебания и раздумья, которые, однако, не мешали писателю достаточно твердо добиваться назначения к Путятину. В Гончарове, как он сам говорил впоследствии, боролись два разных человека: скромный чиновник в форменном ффраке, заключенный в четырех стенах с несколькими десятками похожих друг на друга, изрядно надоевших ему лиц, и «гражданин другого мира», готовый ежемесячно менять климаты, небеса, моря, государства.

Временами как будто побеждал робкий чиновник, боящийся не только опасностей дальнего путешествия, но и ответственности: ведь надо будет рассказывать о плавании, рассказать так, чтобы было много поэзии, огня, красок, чтобы читатель не испытывал нетерпения или скуки. Сумеет ли он?

Но потом брал верх тот, второй человек. Разве не мечтал он о таком путешествии, может быть, с той минуты, когда впервые услышал от учителя, что если ехать от какой-нибудь точки безостановочно, то воротиться к ней с другой стороны? Ведь хотелось же ему еще в детстве поехать с правого берега Волги, на котором он родился, и вернуться с левого, хотелось побывать там, где учитель показывал на карте экватор, полюсы, тропики!

Еще в родном Симбирске, на берегах великой реки, с неоглядными ее весенними водными просторами, с бойко плывущими «расшивами», с удалыми песнями вольницы, зародилась в его душе мечта о странствиях. Не угасла она и за долгие восемь лет, когда подростка определили в коммерческое училище с тупыми и бездарными преподавателями: книги о путешествиях поддерживали ее. А когда после окончания университета Гончаров отправился служить в Петербург, то прежде всего поспешил в Кронштадт, к морю. Он полюбил прогулки по набережным столицы, где можно смотреть на корабли,

вдыхая запах смолы и пеньковых канатов. И не раз от него слышали в департаменте, куда он, хорошо зная три языка, поступил переводчиком, что не разбираться петербургскому жителю, где палуба, мачты, реи, трюм, корма, нос корабля, не совсем позволительно...

Так что, в конце концов, не стоит особенно удивляться тому, что робкий чиновник был побежден и в октябре 1852 года помолодевший писатель, бросив службу, бросив казенный, изрядно опостылевший ему Петербург, оставив ради новых впечатлений привычный дом и работу над «Обломовым», поднялся по трапу фрегата «Паллада». Он осуществлял свою давнюю мечту — что может быть естественнее и вместе с тем завиднее этого!

«Паллада» ушла в желтые бурные воды, в царство серых облаков, дождя и снега — в просторы осенней Балтики.

Первый морской переход к берегам Англии Гончаров перенес тяжело. Разболевшись, он стал поговаривать даже о возвращении домой, чем сразу оттолкнул от себя некоторых моряков «Паллады», увидевших в нем изнеженного петербургского барина. Однако Гончаров снова победил в себе чиновника и остался на корабле.

Англия была первой чужой страной, о которой написал друзьям Гончаров.

Он наблюдателен и ироничен. Похоже, что улыбка, то добродушная, то саркастическая, не сходит с его лица, когда он неторопливо шагает по улицам Лондона, показавшегося ему поучительным, но скучноватым городом, особенно по вечерам, когда смолкает деловая жизнь.

Писатель не только посещал великолепные музеи, но заглядывал в магазины, в таверны, на рынки, ходил по узким улочкам предместий, часами стоял на перекрестках, наблюдая жизнь простого люда, бродил вдоль Темзы, обстроенной кирпичными, неопрятными зданиями, задавленной судами.

Он предупреждает, что об Англии и англичанах ему писать нечего, разве только вскользь. В самом деле, спрашивает он, неужели опять твердить о том, что собор Св. Павла изящен и громаден, что Лондон многолюден, что королева до сих пор спрашивает позволения у лорда-мэра проехать через Сити? (Как видите, уже во времена Гончарова все эти туристские открытия были достаточно банальными.)

И Гончаров пока что набрасывает лишь отдельные картинки английских нравов, чтобы позднее вылепить собирательный портрет английского дельца времен расцвета колониальной империи. Он отмечает на лицах «важность до комизма». Ему претит доведенная до крайности меркантильность, когда все взвешено, рассчитано и оценено. Английские добродетели, кажется ему, приложены лишь там, где это нужно, они вертятся, как колеса машины, и поэтому лишены теплоты и прелести. «Филантропия возведена в степень общественной обязанности, — замечает Гончаров, — а от бедности гибнут не только отдельные лица, семейства, но целые страны под английским управлением».

Может быть, Гончаров был слишком пристрастен? Но Константин Посыет, один из просвещенных офицеров «Паллады», к которому писатель чувствовал расположение, в своих воспоминаниях называл Лондон всемирным базаром. Посыет считал, что благоденствие в Англии только наружное, только в высших слоях населения. А народ? Люди тощи, бледны, нечесаны, грязны. За туманами, прикрывающими Британские острова, за шумом, что отсюда исходит, не слышны стоны овец, которых стригут корыстолюбцы, произносящие громкие парламентские речи...

Из Лондона петербургские друзья Гончарова получали пространные письма, полные не только верных наблюдений, но и жалоб на то, что поэзия моря и труда в море не понятна ему, что сложное, тяжелое управление парусным судном доказывает лишь слабость человеческого ума. Пожалуй, это могло быть реакцией литератора, трезво оценивающего жизненные явления, на модные в то время — да и гораздо позднее! — псевдоромантические описания морского быта. И одновременно в этих письмах явственно чувствуется, что вопреки мнению некоторых современников отнюдь не всепроникновение техники, которое Гончаров наблюдал в Англии (даже цыплят высиживают с помощью пара, а сапоги снимают машинкой!), было причиной его «брюзжания». Он, например, вызвав возмущение ветеранов парусного флота, сравнивает парусное судно... со старой кокоткой, которая нарумянится, набелится, напаялит десять юбок, да еще и затянется в корсет, чтобы подействовать на любовника. Писатель — за технический прогресс, за торжество пара. И «горе

моряку старинной школы, у которого весь ум, вся наука, искусство, а за ними самолюбие и честолюбие расселись по снастям».

Это написано на парусном судне, где почти все офицеры были воспитаны в традициях парусного флота...

Покинув в январе 1853 года Портсмут после долгой стоянки и основательного ремонта, фрегат вышел в Атлантический океан. Тут «Паллада» попала в страшный шторм, который в одну ночь покрыл обломками кораблей южные и западные берега Англии. Огромные водяные холмы с белым гребнем, толкая друг друга, вставали, падали, опять вставали, как будто в остервенении дрались толпа выпущенных на волю бешеных зверей.

Холод и свирепая качка почти не прекращались, пока фрегат шел мимо берегов Франции, Испании, Португалии.

Работа у Гончарова поначалу не клеилась. Он считал, что, для того чтобы путешествовать с наслаждением и пользой, надо пожить в стране и хоть немного узнать жизнь народа, вглядываться, вдумываться в нее. Тут появится параллель между своим и чужим, между знакомым и новым. А ведь она и есть искомый результат для путешествующего литератора.

Но где уж там вглядываться в чужую жизнь, когда ты привязан к кораблю и зависишь от его стоянок! И как вообще мучительно трудно писать в рейсе! Физически трудно. В каюте, куда свет проникает через иллюминатор величиной чуть не в яблоко, сыро, отовсюду дует, хоть тулуп надевай. Выдохнешь — и точно струю дыма пустишь из трубки. Задумаешься над фразой, которую пишешь, а тут волна так тряхнет, что цепляйся скорее за шкаф или стену. Трудно, тяжело, и все же хочется дальше, дальше...

Европа осталась за кормой. Из внезапно успокоившегося океана показалась скалистая Мадейра. Самая высокая вершина острова, на склонах которой зеленели леса и виноградники, искрилась снежной шапкой. Ветер доносил с берега ароматы ананасов и гвоздики.

Но что это? На цветущем солнечном берегу, под олеандрами, три фигурки в черных костюмах — точь-точно такие, каких Гончаров насмотрелся в деловых кварталах Лондона. И здесь все принадлежит им, и здесь они повелевают.

Быть может, при созерцании подобных джентльменов — Гончаров будет встречаться с ними и дальше — писатель задумался над изменением плана «Обломова». Рисовавшийся в первоначальных замыслах образ русского дельца Почаева заслоняли теперь реальные фигуры в черных костюмах. Капиталистическая Европа заставляла по-другому взглянуть на дореформенную крепостническую Русь. Почаев исчез из будущего романа, некоторые его черты позднее перешли по воле автора к Андрею Штольцу, фигуре все же европеизированной.

...Итак, джентльмены в черных костюмах, опирающиеся на зонтики. Скорее прочь от них в горы, где так вольно дышится среди виноградников! Бесконечно далеко вокруг виден синий океан. И у Гончарова рождается крылатая фраза: «Как прекрасна жизнь, между прочим, и потому, что человек может путешествовать!»

Но коротка стоянка у пленительной Мадейры, занавес облаков скрывает очертания островов.

В конце января «Паллада» пересекла северный тропик. Гончаров разочарован: ехал к чудесам, а уехал от чудес. В тропиках их нет, тут все одинаково, два времени года, и разница в том, что зимой жарко, а летом знойно. В письме друзьям он вспоминает, как в далеких северных краях в апреле неожиданно приходит лето, в июне вдруг падает снег, потом наступает зной, которому позавидуют тропики, и все цветет и благоухает.

Странное ощущение не покидало Гончарова: все окружающее имело для него не столько прелесть новизны, сколько прелесть воспоминаний, узнаваний. Он видел теперь то, что по описаниям было знакомо ему с детства, но потом как-то угасло в памяти.

Знакомы и острова Зеленого Мыса, словно красноватые каменистые глыбы, рассеянные по горизонту. Все здесь выжжено беспощадным зноем и кажется погруженным в вечный сон среди водяной пустыни. Он много читал об этих островах. Корабли всегда старались поскорее проскользнуть мимо них, чтобы не попасть в штиль, когда надолго никнут ставшие ненужными паруса.

Да, штили, а не бури пугали капитанов парусных судов в тропических водах. О полосе безветрия, опоясывающей экватор, писалось еще в старинных морских романах. Они рассказывали и о драмах на неподвижных кораблях, палимых отвесными, всеиссушающими лучами.

Истощались запасы продовольствия, кончалась пресная вода, и матросы умирали, проклиная солнце.

Воспользовавшись легким пассатом, «Паллада» кое-как пересекла экватор и, оказавшись в южном полушарии, почти замерла на месте. Паруса обвисли. Словно расплавленный металл, лежал океан — ослепительный, величественный, неподвижный.

А тем временем подошла масленица. Там, в бесконечно далекой России, в эту пору лихо мчатся по морозцу тройки, тут, в тропиках, семь потов от жары сходит. Но матросы все же устроили себе масленичное катание. Не беда, что нет троек! Глянь — и понеслись верхом друг на друге по палубе и молодые, и усачи с проседью.

Вы помните, вероятно, страницы, где описано все это, описано подробно, с любовью. Историки русского флота, впрочем, находят, что Гончаров все же несколько приукрашивал, идеализировал картины жизни военного корабля. Или, мягче говоря, старался не замечать теневых сторон матросского быта, рукоприкладства, самодурства некоторых офицеров. Но ведь он был летописцем похода, секретарем экспедиции на военном корабле. Положение обязывало его в некоторых деликатных вопросах не выходить за рамки официальной историографии.

В дни затишья у экватора Гончаров много и усердно работал. Время полетело для него с невероятной быстротой. Он приводил в порядок путевой журнал, накопившуюся служебную переписку. Кроме того, по просьбе адмирала писатель преподавал историю и словесность младшим офицерам. И конечно, много времени отнимали заметки для будущей книги.

Гончаров, требовательный к себе, обычно старался отделывать, отшлифовывать каждую фразу. Он уже жалел, что в начале путешествия писал огромные, подробные письма, вместо того чтобы сразу работать над книгой. Надо просить друзей, чтобы те сохраняли его послания: быть может, пригодятся. И они действительногодились, став впоследствии основой некоторых глав книги.

Долго держал «Палладу» штиль, но вот, наконец, по океану пробежала рябь. Вскоре ветер уже свистел в снастях, неся корабль к мысу Доброй Надежды, где у южной оконечности Африки, на рубеже Атлантического и Ин-

дийского океанов, идет вечная борьба воды, ветра и камня.

Загремели якорные цепи. «Паллада» качалась на волнах у черных скал, напоминавших стены огромной крепости. Стоянка здесь ожидалась длительная: корабль снова нуждался в ремонте. Адмирал Путятин в секретных донесениях жаловался Петербургу: «...качества фрегата оказались весьма неудовлетворительными» — и просил заменить «Палладу» новым судном.

Казалось бы, Гончаров мог наслаждаться на стоянке покоем: секретарские обязанности привязывали его к судну, да и посещение Капской колонии не предусматривалось первоначальным планом экспедиции. Однако долг перед будущим читателем заставил его покинуть «Палладу» и с небольшой группой офицеров отправиться в экскурсию по Африке.

Он не был подготовлен для такого похода; среди трех десятков книг и множества статей о дальних странах, которые писатель прочитал перед путешествием, не оказалось ни одной, посвященной южной оконечности Африки.

Маленькая экспедиция с «Паллады» не углублялась в дебри, не пыталась проникнуть туда, где не ступала нога человека. Гончаров проехал около четырехсот километров по наиболее обжитой части колонии, в которой постоянно враждовавшие между собой англичане и потомки голландских колонистов, африкандеры или буры, объединялись лишь для борьбы против коренных африканцев.

«Природных черных жителей нет в колонии как граждан своей страны,— таков первый вывод писателя.— Они тут слуги, рабочие, кучера, словом наемники колонистов, и то недавно наемники, а прежде рабы... Нужно ли говорить, кто хозяева в колонии? Конечно, европейцы, и из европейцев, конечно, англичане».

Гончаров сочувствует африканцам, но сочувствие это выражается довольно вяло. В описании войн с кафрами у него виновниками оказываются кафры. Он довольно бесстрастно рассказывает о господствующем в колонии убеждении в превосходстве белых. И тут невольно вспомнишь и еще раз по достоинству оценишь глубоко прогрессивные взгляды Егора Петровича Ковалевского, побывавшего в Африке до Гончарова.

В заметках писателя об одном из городов Капской колонии описана церковь для черных. Перед грубыми деревянными скамейками, возле алтаря, стояли скамейки получше и почище.

— А это для кого?

— Для белых, если они вздумают прийти сюда, — ответили писателю.

Гончаров нашел, что в колонии еще все в брожении, но что осадка от брожения пока мало и нельзя определить, «в какую физиономию сложатся эти неясные черты страны и ее народонаселения».

Мы знаем сегодня, что эти черты сложились в расистскую физиономию Южно-Африканской Республики, где апартеид закреплен законом. Скамейки для белых в церкви, куда ходят черные?! Черный вообще не смеет сидеть рядом с белым! Черные теперь в резервациях, вне их они могут ходить только с пропуском, подписанным белым господином. В Южно-Африканской Республике таблички «Собакам и неграм вход воспрещен» выпускаются массовым фабричным способом и суды приговаривают африканцев к более жестоким наказаниям кнутом, чем это было во времена Гончарова...

Едва «Паллада» покинула мыс Доброй Надежды и вышла в Индийский океан, как жестокий шторм набросился на нее. Молнии, блиставшие в ночном мраке, озаряли клочья пены, воду на палубе, матросов, тянувших снасти. Командир фрегата, Иван Семенович Унковский, позвал Гончарова полюбоваться зрелищем разбушевавшейся стихии:

— Какова картина?

— Безобразие, беспорядок! — ответил Гончаров и ушел в каюту.

Эту фразу многие не хотели ему простить: так, мол, отзываться о грозной стихии мог только Обломов. Но ведь шторм уже не был в диковинку писателю. Он видел не только блеск молний, но и тяжелый труд моряков, борющихся со стихией, знал, что после шторма долго придется приводить корабль в порядок. Наконец, шторм мешал работе Гончарова. Так почему же он должен был восхищаться волнами, неистово трепавшими корабль?

Гончаров терпеть не мог громких фраз, преувеличенных восторгов и торжественных речей. Всю жизнь он избегал парадных обедов, юбилеев, и, когда однажды его

собрались было чествовать, он пообещал удрать куда глаза глядят и оставить собравшихся без «виновника торжества».

И знали ли люди, упрекавшие Гончарова в том, что он не увидел «поэзии бури», о последствиях шторма у мыса Доброй Надежды? А ведь на фрегате в десятках мест открылась течь. Надводные части его корпуса расшатались настолько, что пришлось изменить маршрут и идти не прямо через океан, а со стоянками в попутных портах.

Плавание фрегата в Индийском океане продолжалось месяц. На этот раз тропики словно хотели доказать Гончарову, что напрасно он жаловался на однообразие их безмятежного царства вечного лета и голубого неба. Ветры чередовались с ливнями. Тяжелые потоки низвергались с потемневшего неба.

Настоящая тропическая жара встретила «Палладу» лишь недалеко от Зондского пролива. Не приносили прохлады даже ночи. Небо млело от жары, и яркие метеоры чертили по нему свой след. Днем над океаном носились зловещие смерчи. Один из темных крутящихся столбов, к которому из облака тянулась узкая полоса, появился было возле корабля. По нему готовились ударить из пушки, когда он осел, растаял, растекся и без вмешательства людей.

Зондский пролив, гавань на Яве, окаймленная кокосовыми пальмами, потом Сингапур, маленький островок у южной оконечности Малаккского полуострова, где шумел большой порт, а среди торговых судов скрывались джонки пиратов южных морей... Царство вечного, знойного лета, пряных кореньев, слонов, тигров, змей...

Но Гончаров оставил Сингапур без сожаления и признавался, что если когда-нибудь возвратится туда, то сделает это без удовольствия. Немало огорчений принесла ему лихорадка, которой он заболел в Сингапуре; дел множество, записи в путевом журнале отстают от событий, а тут валяйся в постели.

Больного навещали Посъет, капитан Унковский, старший офицер Бутаков и тринадцатилетний юнкер Миша, сын знаменитого открывателя Антарктиды адмирала Лазарева. Гончаров был застенчив и не скоро сходилась с людьми. Молчаливый в большом обществе, он оживлялся в кругу друзей.

Унковский правился ему, и это вызывало раздражение Путятин, который с высокомерным презрением относился к командиру «Паллады». Вообще, Путятин был тяжелым, неприятным человеком, и служить у него секретарем мог лишь сдержанный, внутренне дисциплинированный человек.

Никогда нельзя было предвидеть, что вызовет вспышку адмиральского гнева. Так, однажды Путятин приказал свистать всех наверх для того, чтобы изловить и выбросить за борт шаловливую обезьянку Яшку, которая осмелилась запустить лапу в его волосы. Самодурство уживалось у Путятина с религиозным ханжеством. Адмирал замучил команду богослужениями. На каждой стоянке «Палладу» навещали всевозможные миссионеры, монахи, пасторы. Гончаров жаловался, что корабль «одолели попы».

И в Гонконге, куда «Паллада» пришла из Сингапура, первым гостем был епископ в сопровождении двух испанских монахов, французского и китайского, обучавшегося в Ватикане. Состоялось очередное молебствие о благополучном продолжении плавания. Но, как видно, молитва монашеского сообщества не была услышана: когда фрегат вышел из Гонконга в Тихий океан, налетел тайфун, свирепый ураган восточных морей.

Гончаров уже не раз видел и описывал борьбу судна со стихией. Но как же меняются его описания! В них больше и больше понимания сути всего, происходящего на корабле. Наблюдательность писателя все заметнее дополняется знанием морского дела.

Когда тайфун захватил «Палладу», Гончаров работал в каюте. Но вот свеча и чернильница начали ползть по столу, бумага вырвалась из рук... После нескольких, торопливо написанных слов, надо было упираться руками в стену, чтобы не свалиться. «Я бросил все и пошел ходить по шканцам; но и то не совсем удачно, хотя я уже и приобрел морские ноги».

К полуночи тайфун стал набирать силу. «Часа в два вызвали подвахтенных брать рифы, сначала два, потом три, спустили брамрею, а ветер все крепче. Часа в три утра взяли последний риф и спустили брамстенги».

Гончаров не отлеживался в каюте. Он был на палубе со всеми. Матросы крепили тяжелые орудия, чтобы их не смыло за борт. Качка стала невыносимой, люди едва дер-

жались на ногах. От страшного напряжения лопались снасти.

Настал день, но над океаном была полутьма, горизонт затянула серая водяная пыль. Барометр продолжал падать. Сильная волна ударила в шлюпку, раздался треск, и Гончаров, находившийся возле нее, едва успел отбежать в сторону.

Перекрывая рев тайфуна, из рупора разносились тревожные слова команды. Что случилось?

— Фок разорвало! — услышал Гончаров.

«Спустя полчаса трисель вырвало. Наконец разорвало пополам и фор-марсель. Дело становилось серьезное...»

В семь часов вечера зашаталась, грозя рухнуть и разбить палубу, грот-мачта. Командир вызвал добровольцев крепить ее. Лейтенант Савич с большой группой матросов тотчас бросился к вантам. С помощью блоков и канатов надо было, спасая корабль, укрепить шатавшуюся громадину.

Савич, выпачканный, оборванный, с сияющими глазами, летал повсюду. Матросы, облепив ванты, крутили веревки и стучали деревянными молотками на страшной высоте, под порывами урагана. Тяжелый крюк, сорвавшись, раздробил голову одному из смельчаков. Хлынула кровь, тотчас смытая волной, а другие застучали молотками еще торопливее.

«Какую энергию, сметливость и присутствие духа обнаружили тут многие!» — восторгается Гончаров.

Столичный житель, еще недавно просиживавший долгие часы на стуле в канцелярии, постепенно обретал не только «морские ноги», но и «морскую душу». Он не карабкался по вантам, как лейтенант Савич, не прокладывая курс вместе с «дедом» — так на корабле называли главного штурманского офицера Халезова. Писатель мужественно нес свою особую вахту. И в том, что именно Иван Александрович Гончаров был и остался единственным русским классиком, совершившим путешествие, приравняемое к кругосветному, не так уж много случайного...

* * *

Большой каменный дом, где в год нашествия Наполеона на Россию родился автор «Фрегата «Паллада»», сохранился в несколько перестроенном виде до наших дней на бойком перекрестке в центре Ульяновска. Но не

осталось никаких следов от того светлого и уютного деревянного флигеля в глубине двора, заросшего травой, в котором поселился когда-то крестный отец Гончарова, моряк Николай Николаевич Трегубов.

Этого незаурядного человека можно считать и крестным отцом «Фрегата «Паллада»». Именно ему был обязан Гончаров не только давним интересом и не угасшим с годами влечением к морю, но и теми знаниями, которые позволили сугубо штатскому литератору стать своим человеком в среде военных моряков.

Мы знаем о Трегубове не только из воспоминаний, написанных Гончаровым на склоне лет, за четыре года до смерти (в них моряк назван Якубовым), но также из воспоминаний других жителей Симбирска.

Трегубов, на долю которого, как говорил сам Гончаров, достались «интеллектуальные заботы» о крестнике, был образованным и опытным морским офицером, воспитанником инженерного корпуса. Он служил под началом адмирала Ушакова, участвовал в боях на Черном море и с наградами вышел в отставку в чине капитан-лейтенанта. «Самородок честности, чести, благородства и той прямоты души, которой славятся моряки», Трегубов не остался в стороне от современных ему общественных движений, был членом масонской ложи «Ключ к добродетели», переписывался с декабристами.

У Трегубова было вполне естественное для моряка стремление: «приохотить к морю» и своего воспитанника. Он не только давал подростку увлекательные книги о путешествиях, но и заботился о его «морском кругозоре».

— Между мной и им установилась, — вспоминал о своем наставнике Гончаров, — с его стороны передача, а с моей — живая восприимчивость его серьезных технических познаний в чистой и прикладной математике. Особенно ясны и неоцененны были для меня его беседы о математической и физической географии, астрономии, вообще космогонии, потом навигации. Он познакомил меня с картой звездного неба, наглядно объяснил движение планет, вращение Земли, все то, чего не умели или не хотели сделать мои школьные наставники.

Трегубов хранил взятые с корабля морские инструменты: телескоп, секстант, хронометр — и показывал Гончарову, как пользоваться ими.

Портрет Трегубова, написанный крепостным художни-

ком, есть в «гончаровской комнате» Ульяновского краеведческого музея.

Музей стоит на самом берегу Волги — изящное, легкое здание, дом-памятник, построенный на деньги, собранные в 1912 году по всероссийской подписке к столетию со дня рождения писателя. Яблонево-е соловьиные сады спускаются от него по склону горы к лазурной сини «моря», поднятого плотиной в Жигулях. Чуть очерчиваются призрачно-голубоватые острова и мысы, за бетонной дугой портового волнолома разгружаются теплоходы, пришедшие сюда водными дорогами пяти морей. Как тут не вспомнить Карамзина: «...Симбирские виды уступают в красоте немногим в Европе!»

«Гончаровская комната» музея хранит часть коллекций, собранных во время плавания на «Палладе»: японские миниатюры, шкатулки из слоновой кости... Когда-то ими были загромождены этажерки, стоявшие возле письменного стола в петербургской квартире писателя. Это по поводу них Г. Н. Потанин воскликнул:

— Я кое-что прежде видел, но таких сокровищ нигде не встречал! У самого Егора Петровича Ковалевского нет того, что собрано у Ивана Александровича!

Впрочем, сам Гончаров не особенно дорожил своими экзотическими коллекциями; кажется, больше всего ценил он находившуюся у него в кабинете старую коробку, в которой мать хранила когда-то сахар.

На многих страницах «Фрегата «Паллада»» среди описаний дальних стран у Гончарова возникают картины милых его сердцу родных мест. Он как бы предвидит недоумение иного читателя и еще в письме из Англии, отправленном в последний день уходящего 1852 года, обращается к будущему критику: «Виноват: перед глазами все еще мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обычаи. Увижу новое, чужое, и сейчас в уме приложу на свой аршин. Я ведь уже сказал вам, что искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко росли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоят ее!»

Гончаров говорил, что в роман «Обрыв» он вложил часть самого себя, близких лиц, родину, Волгу. Наверное, трудно оценить и значение отступлений во «Фрегате

«Паллада»», не побывав в гончаровских местах в Ульяновске и под Ульяновском.

Почти три десятилетия назад я прожил одно лето в этом городе, тогда еще сохранявшем многие черты старого Симбирска. Плотины и водохранилища на Волге не было, под высоким Новым Венцом виднелась обмелевшая река с островами и песчаными косами, меж которыми тянулись медлительные караваны барж.

Деревянная лестница с сотнями скрипучих ступенек спускалась к пристаням среди буйных зарослей шиповника и смородины.

Я ходил летними погожими днями в Киндяковскую рощу. Столетние дубы зеленели по склонам, в густом подлеске орешника перекликались птицы, а в лощинке били из-под камней холодные ключи, к которым приходили издалека с ведрами на коромыслах за вкусной водой.

У волжского обрыва белела гончаровская беседка; а дальше тянулись молодые яблоневые сады. Хотя не осталось уже могучих кленов и густых зарослей сирени, окружавших старую усадьбу, спокойная благородная красота этих исконно русских мест волновала и трогала, вызывая в памяти удивительно яркие гончаровские страницы, посвященные им.

Отсюда, с этих волжских берегов, где родился и вырос Гончаров, куда приезжал он незадолго перед уходом в плавание, крепкие нити протянулись и на палубу фрегата.

«Паллада» была маленьким островком России, островком русского мира с четырьмястами обитателей, среди которых в описаниях Гончарова под офицерской и матросской формой угадывались помещики и крепостные, тайно сочувствовавшие декабристам либералы и тупые николаевские служаки.

Бойкий, расторопный волгарь Фаддеев, деятельности, способности и силе которого Гончаров не мог надивиться, принес с собой на флот представления о белом свете, сложившиеся в русской деревне. Да и весь фрегат, застывший среди лазури океана в часы штиля, напоминает Гончарову отдаленную русскую деревню. По приметам, выбранным для сравнения, чувствуешь, что речь идет о степной деревне где-нибудь под Симбирском, когда в летний зной прячутся даже птицы и только стрекозы реют над полями.

А матросы — чем не мужики? Им и в жару найдется дело. «Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песенку; с бака слышатся удары молота по наковальне. Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, еле уловимый ухом звон колоколов...»

Пишет Гончаров письмо из Англии, пишет о типичном англичанине — и вдруг в пропитанном дымом тумане тает Лондон, вместо английской столицы появляется барская усадьба, Обломовка или Киндяковка, возникают ее обитатели с их деятельной ленью и ленивой деятельностью. По-мужички сметливый барин отправляется с заезжим гостем по гумнам, по полям, на мельницу, на луга, заглядывает в каждый уголок — «в этой прогулке уместились три английских города, биржа». Вместо расчетливых английских филантропов видит автор занесенную снегом деревушку, по которой с посохом бредет нищий, — и нет дома, где бы не дали ему краюху хлеба...

Мадейра для Гончарова... «Кострома в своем роде», здесь почувствовал он «свежесть и прохладу волжского воздуха, который пьешь, как чистейшую ключевую воду».

Тропики? «Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас в хороший летний день... Вы хмуритесь? А позвольте спросить: разве есть что-нибудь не прекрасное в природе?» Ведь можно полюбить, говорит писатель, болотистый луг, песчаный косогор, поросшую мелким кустарником рывину. В поисках ярких особенностей природы не обязательно отправляться в тропики: надо уметь находить эти особенности всюду, в привычном, в повседневном.

...Прошло сто с лишним лет, исчезли фрегаты, дальние страны стали ближе, жизнь в некоторых из них круто переменялась, но разве и сегодня, отправляясь в путь, не уносим мы с собой образ Родины, образ, у каждого со своими милыми чертами, будь то клен под окном, журавлиная стая в бледном северном небе или пестрая толпа на московской улице Горького.

* * *

«Вот достигается, наконец, цель десятимесячного плаванья, трудов. Вот этот запертый ларец с потерянным ключом, страна, в которую заглядывали до сих пор с

тщетными усилиями склонить и золотом, и оружием, и хитрой политикой на знакомство... Ведь в географии и статистике мест, с оседлым населением земного шара, почти только один пробел и остается — Япония».

Запись сделана Гончаровым на рейде Нагасаки, где «Паллада» вместе с присоединившимися к ней на островах Бонин-Сима другими русскими судами бросила якорь 10 августа 1853 года.

Тайфун, тридцать часов трепавший корабль после выхода из Гонконга, оставил о себе злую память. Сколько труда пришлось положить, чтобы исправить повреждения! Сколько добра было подмочено, перебито, испорчено! За борт полетела половина сухарей, опреснитель капризничал, пришлось пить противную на вкус воду из запасной цистерны.

Многие прихварывали, жалуясь на сыпь и лихорадку. Опасное заболевание ноги уложило в постель Гончарова. Он нервничал, боясь, что не сумеет наверстать потерянное время. Неужели придется рассказывать о виденном и пережитом лишь устно, в кругу друзей, так и не написав ничего, достойного внимания читателей? То, что сделано — заметки в записной книжке, наброски, — кажется ему не стоящим печати, никуда не годным.

Болезнь прошла, когда «Паллада» была уже на пути в Японию. Гончаров ожидал, что там ему придется много поработать на дипломатическом поприще. Путятин должен был вести переговоры об установлении торговых отношений между Россией и ее восточной соседкой.

Но случилось так, что вскоре после прихода русских судов умер сёгун — лицо, не менее важное, чем император. Сёгун обладал в Японии фактической властью, и Путятину дали понять, что переговоры откладываются на неопределенно продолжительное время.

Дипломатическая миссия потерпела неудачу, зато отечественная литература оказалась в несомненном выигрыше. У Гончарова выкраивалось свободное время, и писатель хорошо его использовал. Россия узнала, что в Японии происходят внутренние сдвиги, что часть японцев жаждет перемен в застойной замкнутой феодальной жизни, текущей по законам средневековья. Гончаров едва ли не первым из европейцев рассказал об этом с большой достоверностью и убедительностью,

После трехмесячной стоянки на рейде из Нагасаки «Паллада» направилась в Шанхай. Путятин рассчитывал запастись там провизией и узнать новости: еще в Гонконге до моряков дошли тревожные слухи о том, что Англия и Франция готовятся к войне против России.

В Шанхае в это время правительственные войска сражались с «тайпинами» — восставшими против гнета Маньчжурской династии крестьянами и городскими бедняками. То были отголоски великой крестьянской войны, во главе которой стояли сельский учитель Хун Сю-цюань и его ближайшие помощники — солдаты, грузчики, земледельцы, носильщики-кули, углекопы.

Гончаров видел только один из уголков страны, и то мельком. Многое так и осталось ему неясным. Русские моряки жили в Шанхае недолго: Путятин получил известие, что началась русско-турецкая война и что англо-французская эскадра идет к Черному морю с явным намерением поддержать турок. С часу на час могла начаться большая война.

Русские корабли снова ушли в Нагасаки. Они находились в чужих водах. За ними следили. В ближайших портах стояли наготове не только английские военные парусники, но и железные пароходы. Со вступлением в войну Англии и Франции «Паллада» могла оказаться в западне.

Путятин приказал идти на Филиппинские острова, в нейтральный испанский порт Манилу. Там он надеялся прежде всего отремонтировать «Палладу». По поводу того, что будет дальше, молодые офицеры строили самые смелые планы: одни предлагали напасть на английский порт в Австралии, другие считали, что нужно идти к Индии.

Однажды Путятин позвал к себе в каюту Унковского, Посьета и Гончарова.

— Господа,— сказал адмирал,— я принял решение, которое прошу пока сохранить в тайне. Если будет бой и мы не одолеем неприятеля, то фрегат должен сойтись с вражескими кораблями вплотную. После этого мы взорвем нашу «Палладу» и погибнем с честью.

Что же Гончаров? Как отнесся он к этому доверительному разговору? Писатель не привел его во «Фрегате «Паллада», считая это не вполне скромным. Лишь в письме Майкову, которое не было опубликовано, он с

обычной иронией рассказывает: если не одолеем врага, то зажжем в пороховой камере «какие-то стаканы». И добавляет: «Сойти же предварительно на берег во флоте не принято, да и самому не хочется, совестно...»

После разговора в адмиральской каюте Гончаров принялся с особенным рвением приводить в порядок свои записи. Теперь он торопился. Страница за страницей, исписанные мелким почерком, ложились в его портфель.

Когда «Паллада» по пути к Маниле зашла на острова Рюкю, оказалось, что этот благодатный архипелаг уже привлек внимание Соединенных Штатов Америки. Американцы оставили здесь несколько матросов, двух офицеров и бумагу, в которой суда всех других наций извещались, что острова взяты американцами «под свое покровительство».

Вообще, к этому времени американцы, или, как их называл Гончаров, «люди Соединенных Штатов с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации», показали себя сильными соперниками английских колонизаторов. Угрожая японцам пушками своих кораблей, они стремились проникнуть в японские порты, пробрались в Китай, на острова Тихого океана. «Говорят, молятся, едят одинаково и одинаково ненавидят друг друга» — так определил Гончаров взаимоотношения английских и американских дельцов и политиканов.

Американцы еще только выходили тогда на мировую арену, где уже давно действовали англичане. Был еще век Англии, захватившей огромные колонии во всех частях света. И Гончаров набрасывает последние черточки к так занимавшему его образу, который властвует в мире над умами и страстями, — образу человека не с мечом, не в короне, а в черном фраке, в белом жилете, с зонтиком в руках. «Он всюду. Я видел его в Англии — на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже». На Мадейре — снова тот же образ: «Холодным и строгим взором следил он, как толпы жителей юга добывали, обливаясь потом, драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали в даль, получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли». В океане, на палубах кораблей — он же, насвистывающий: «Правь, Британия, царствуй над морями». Он, не всегда разборчивый в средствах, пускает корни на всякой

почве, носится со своей гордостью, как курица с яйцом, и кудахчет на весь мир о своих успехах. «Я видел его,— дописывает Гончаров портрет предпринимателя и колонизатора,— на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чая, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками,двигающего необъятными естественными силами природы».

Русские корабли приходят в Манилу, и в холодном приеме, который встречает Путятин у испанского губернатора, сквозит страх: флот под британским флагом крейсирует где-то неподалеку, а здесь уже получено известие о Синопском бое, о разгроме турок, о том, что Англия намерена помочь своему союзнику.

Большинство офицеров осталось на корабле. Гончаров, чтобы познакомиться с Манилой, поселился в гостинице. Он побывал на сигарной фабрике, посмотрел в цирке бой петухов, а ночами усердно писал у себя в номере. Плошка с кокосовым маслом немилосердно чадила, ящерицы и тараканы шуршали на стенах, тучи комаров вились вокруг. Уже готовы были многие главы будущей книги, но писателю они временами казались нестоящими, бестолковыми. Возбуждение нередко сменялось усталостью, и Гончаров чувствовал, что его начинает тяготить и путешествие, и море, и экзотические страны. Все чаще раскрывал он тургеневские «Записки охотника», чтобы хоть на время окунуться в знакомый, милый сердцу мир, перенестись из Манилы в Курск, с палубы фрегата — на Бежин луг.

Переговоры Путятина с губернатором кончились тем, что испанцы, опасаясь прихода английской эскадры, попросили русских моряков как можно скорее покинуть бухту.

Длительное плавание в чужих, опасных водах на корабле, который тек по всем швам и нуждался в ремонте, было невозможным. Оставалось одно — идти к берегам Сибири.

Была весна 1854 года. Татарский пролив еще не очистился ото льда. По дороге к нему моряки «Паллады», чтобы не терять времени, занялись составлением карты материковых берегов. В тумане, пробираясь чуть не ощупью в незнакомые бухты, они делали промеры глубин, исправляли грубые ошибки старой карты. Один из

пропущенных составителями этой карты островков называли именем Гончарова.

А сам писатель в эти дни работал над началом будущей своей книги, над вступительной главой «От Кронштадта до мыса Лизарда». Эта глава была окончена уже в Татарском проливе.

На дальневосточной окраине России Гончарову предстояло расставание с кораблем и морем. Предполагалось, что экипаж «Паллады» перейдет на фрегат «Диана», который уже направлялся сюда из Кронштадта. Однако было неизвестно, когда именно Путятин направится на «Диане» к берегам Японии для возобновления переговоров. Могло случиться, что до этого корабль простоят долгие месяцы в какой-либо бухте. И Путятин решил отпустить секретаря экспедиции в Петербург.

Гончаров пишет последнее письмо с «Паллады»:

«Мне лежит путь через Сибирь, путь широкий, безопасный, удобный, но долгий, долгий! И притом Сибирь гостеприимна, Сибирь замечательна: можно ли проехать ее на курьерских, зажмуря глаза и уши? Предвижу, что мне придется писать вам не один раз и оттуда.

Странно, однако, устроен человек: хочется на берег, а жаль покидать фрегат! Но если бы вы знали, что это за изящное, за благородное судно, что за люди на нем, так не удивились бы, что я скрепя сердце покидаю «Палладу»!»

После жары тропиков Гончарову предстояло путешествие через снежные просторы от Тихого океана к берегам Невы. Железных дорог тогда за Уралом не было. Между началом и концом этой поездки лежала треть года и две трети полушария.

Нет, путь через Сибирь не был широким, безопасным и удобным. Гончарову пришлось пробираться по осенней распутице, а потом и в морозную декабрьскую пору то верхом, то пешком, то в кошеве. Шестьсот верст прошлыл он перед ледоставом в тесном дощанике по дикой реке Мае, ночуя в похожей на балаган, продуваемой всеми ветрами каютке.

Но как могли бы объяснить люди, наделявшие Гончарова чертами Обломова, то, что в описании сибирского путешествия нет и признаков нытья, совсем мало жалоб на трудности и неудобства? Трясаясь в седле по каменным осыпям или увязая вместе с лошадью в болотной трясин-

не, ночуя в юртах, где «блех дивно», кутая растрескавшееся на морозе лицо в обледенелый шарф, с трудом переставляя опухшие ноги, писатель лишь подтрунивает над собой. Его сибирские записи по тону куда оптимистичнее многих, сделанных во время плавания в тропиках. Пусть это Сибирь, но он здесь — дома!

Читая дневники Гончарова, набросанные в пустой юрте, на крохотной почтовой станции, просто «в лесу, на тундре» или на берегу Лены в ожидании переправы, чувствуешь, что все увиденное и услышанное в дороге приводит его не только к пониманию исторической необходимости быстрого освоения Сибири, но и к верным оценкам исторического подвига народа, который осваивает суровую окраину.

Писатель видит всюду движение и жизнь в краю, к счастью, не знавшем крепостного права. Холодные пустыни превращаются в жилые места, пробуждаются спящие силы.

«Кто же, спросят, этот титан, который ворочает и сухой и водой? Кто меняет почву и климат? Титанов много, целый легион, и все тут замешаны в этой лаборатории: дворяне, духовные, купцы, поселяне — все призваны к труду и работают неумоимо. И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край, некогда темный, неизвестный, предстанет перед изумленным человечеством, требуя себе имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание, и так же не попытаются, как не попытались, кто поставил пирамиды в пустыне! Сама же история добавит только, что это те же люди, которые в одном углу мира подали голос к уничтожению торговли черными, а в другом учили алеутов и курильцев жить и молиться — и вот они же создали, выдумали Сибирь, населили и просветили ее... А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом...»

Гончаров бегло набрасывает портреты «титанов». Это смышленный старик Петр Маньков, распахавший землю по берегу Май. Это русская крестьянка из тех же мест, которая и лес рубит, и в поле работает, и даже обувь шьет. Это и гостеприимный якут из «самобеднейшей юрты», и станционные смотрители, без которых в здешнем краю обрывалась бы дорожная нить, и ямщики, в непогоду трясущиеся на облучках, и инженерный офицер, что живет в

палатке среди болот, выбирая места для постройки моста... Рассказывая об отставном матросе Сорокине, который, осев среди тайги и распахав четыре десятины, достиг полного достатка, но думает все бросить и переселиться на другое место, чтобы сделать там то же самое, Гончаров добавляет: «Это тоже герой в своем роде, маленький титан. А сколько их явится вслед за ним!»

Писатель называет дела пионеров освоения Сибири «робкими, но великими начинаниями». Он напоминает о тех героях, которые подходили близко к полюсам, обошли берега Северного Ледовитого океана, питались иногда бульоном из голенищ своих сапог, дрались со зверями. Их имена известны всем. Но кто знает имена коллежских асессоров, поручиков, майоров и прочих служилых людей, которые каждый год ездят в пустыни тундры, бродят по океанскому побережью, спят при сорокаградусных морозах в снегу — и все это не ради славы, а, как пишут в их служебных формулярах, «по казенной надобности»?

...Во «Фрегате «Паллада»» описание путешествия по Сибири заканчивается очень странно, так, как будто плавное повествование внезапно оборвано на полуслове. Книгу заключают две фразы, написанные в Иркутске: «Вот уже я третий день здесь, Иркутска не видал. Теперь уже — до свидания».

А что было в Иркутске? Неужели в этом городе не нашлось ничего достойного упоминания? И на дальнейшем пути через Восточную Сибирь — тоже?

Лишь тридцать лет спустя Гончаров опубликовал свои заметки об этих краях. Он пробыл в Иркутске два месяца и встречался с семьями Волконских, Трубецких, Якушкина и других ссыльных декабристов, которые жили в жалких избах за пределами города. Писатель тайно доставил в Петербург письма Волконского...

Плавание на «Палладе» Гончаров вспоминал до конца своих дней. Нет, оно не было чем-то чужеродным и случайным в биографии писателя! Более того, в канун своего шестидесятилетия, когда уже были напечатаны и «Обломов», и «Обрыв», Гончаров задумал отправиться в новое плавание, в кругосветное путешествие на фрегате «Светлана». Неожиданный отказ был ударом для него. Когда в морском министерстве спохватились и изменили решение, обидевшийся писатель, сославшись на нездоровье (он действительно часто болел), отказался от поездки.

А еще немного спустя в очерке «Через двадцать лет» Гончаров написал:

«Мне поздно желать и надеяться плыть опять в дальние страны: я не надеюсь и не желаю более. Лета охлаждают всякие желания и надежды. Но я хотел бы перенести эти желания и надежды в сердца моих читателей и — если представится им случай идти (помните — идти, а не ехать) на корабле в отдаленные страны — предложить совет: ловить этот случай, не слушая никаких преждевременных страхов и сомнений».

* * *

Когда в наши дни упоминают о «Палладе», то часто говорят: «легендарный корабль», «легендарная «Паллада»».

Но если вы возьмете «Боевую летопись русского флота», то в ней обнаружите лишь две другие «Паллады» — два крейсера, из которых один участвовал в русско-японской войне, а другой был торпедирован немецкой подводной лодкой в Балтийском море. Фрегат «Паллада», на котором ходил Гончаров, в боях не прославился. Так, может, признано особенно выдающимся его плавание? Но тогда почему не называем мы легендарными кораблями «Неву» и «Надежду», на которых русские моряки обошли вокруг света впервые?

Кораблем-легендой сделала фрегат книга Гончарова...

Нам остается досказать немного.

Те моряки «Паллады», которые перешли на прибывший в дальневосточные воды фрегат «Диана», оказались участниками одной из самых необыкновенных катастроф в истории мореплавания. Фрегат стоял на рейде японского порта Симодо, когда в тихий, безветренный день стена воды, вздыбленная высоко и грозно, ворвалась в бухту, смыв всю прибрежную часть города. Страшный водоворот закружил «Диану», сорок с лишним раз повернув ее вокруг оси: судно едва не стало жертвой землетрясения, поднявшего гигантскую волну.

Судьба самой «Паллады» драматична по-своему.

Корабль вместе с некоторыми другими русскими судами встал на якорь в гавань, которую теперь называют Советской. Моряки спешно возвели береговые укрепления на случай, если бы пришлось отбиваться от вражеской эскадры.

Потом по приказу из Петербурга фрегат попытались завести в открытое Невельским устьем Амура. Это не удалось, и «Паллада» снова вернулась в свою старую гавань. Здесь, опасаясь, как бы корабль не захватила англо-французская эскадра, судно затопили. Сделано это было, несмотря на энергичные возражения Невельского, по распоряжению свйше, причем слишком поспешно и без особой надобности. Перед тем как пустить фрегат на дно, с него сняли такелаж и вообще все ценное. Затем мичман Разградский, примчавшийся в гавань на собачьей упряжке, приступил к выполнению приказа. Он поджег фитиль. Раздался взрыв на корме. Воды сомкнулись над «Палладой». Моряки вытирали слезы...

Но история корабля не окончилась в тот печальный весенний день, когда он опустился на дно.

Фрегат был одним из красивейших судов русского флота, а книга Гончарова сделала его особенно дорогим сердцу каждого моряка. Всякий мореплаватель, которому доводилось побывать на Дальнем Востоке, считал долгом посетить «могилу» фрегата.

В 1912 году с разрешения русского правительства в Японии была создана водолазная кампания для подъема «Паллады». Руководитель всего дела, японский капиталист Кудо, заявил, что он руководствуется не одними только материальными выгодами и уверен, что его затея принесет некоторую пользу судостроению.

Возможно, японцам хотелось изучить очень удачную форму корпуса русского корабля. Но они не сумели проникнуть туда, где на илистом грунте покоился старый фрегат.

Осенью 1936 года советские водолазы из Экспедиции подводных работ особого назначения спустились на дно бухты. В тусклом свете, проникавшем сквозь толщу воды, они увидели «Палладу». Корабль лежал, круто подняв правый борт.

Носовая часть «Паллады» сохранилась лучше кормовой. Водолазы очистили от толстого слоя ракушек и водорослей листы медной обшивки; другие металлические части были сильно разъедены морской водой. Вскоре на поверхность извлекли из глубин несколько пушечных ядер, иллюминатор, якорный клюз. Но главной целью подводной экспедиции была подготовка к подъему всего

фрегата. Эти сложные работы предполагалось начать в 1941 году. Война помешала подводникам.

В 1962 году к «Палладе» спустилась специальная экспедиция аквалангистов, чтобы окончательно решить, возможен ли подъем корабля. Увы, время и морские древоточцы безжалостно расправились с фрегатом. Огромные морские крабы выглядывали в носовые полупортики, откуда некогда выдвигались стволы орудий; над совершенно разрушившейся средней частью торчали лишь обломки шпангоутов. Нет, о подъеме корабля нечего было и думать! Аквалангисты сделали под водой снимки остатков «Паллады» и, подняв наверх дубовый шпангоут, куски медной обшивки, медные гвозди, распрощались с фрегатом...

Музеи дальневосточных городов хранят как драгоценные реликвии то, что в разное время было поднято со дна бухты, давшей последнее убежище кораблю.

Вы прочтете на старом чугунном ключе: Фрегат «Паллада», Санкт-Петербург.

А рядом — модель корабля, окрыленная белыми парусами. Кажется, что ветер дальних странствований по-прежнему надувает их.



ХРОМОЙ ДЕРВИШ

Если бы первые рассказы о хромом дервише, о странствующем мусульманском монахе, были записаны со слов хаджи Билала, хаджи Сали или какого-нибудь другого его благочестивого спутника, то, возможно, повествование началось бы с событий весеннего дня на земле туркмен.

Именно в этот день хромой дервиш хаджи Решид едва не стал жертвой навета. И подумать только, кто клеветал на него! Презренный, спотыкающийся на словах молитвы нечестивый афганец, курильщик опиума с дрожащими от дурмана руками! Но велик аллах, и незримая рука его защищает верных сынов ислама!

В этот день паломники, с которыми шел хромой дервиш, дождались, наконец, прихода каравана Амандури. Сановник хивинского хана выглядел усталым и раздраженным. Разве его дело гонять буйволиц? Но мудрейшие врачи нашли, что молоко этих невиданных в Хиве животных исцелит недуги хана. И послушный Амандури

отправился за буйволицами в дальний путь. Теперь животные плелись впереди каравана, возвращавшегося в Хиву, и за ними ухаживали так, будто это были любимые наложницы ханского гарема.

Амандури приветливо встретил паломников, попросивших его защиты и покровительства на пути к столице хана. Но когда он заметил хромого дервиша, его взгляд стал холодным, а добрые слова застряли в гортани.

Хромой дервиш вместе со всеми наполнил свой бурдюк водой: путь лежал через пустыню. Амандури повел караван. А на привале, когда усталые верблюды были развьючены, Амандури позвал хаджи Билала и хаджи Сали.

— Великий хан Хивы — да продлит аллах его дни — велел однажды повесить двух своих верных слуг, — сказал он. — Великий хан слышал от них, что на земли ханства проник переодетый «френги», презренный европеец. Обманув всех, он с поистине дьявольской точностью снял на карту дорогу в Хиву. Все холмики, все колодцы! И ярость хана стянула петлю на горле тех, кто принес ему злую весть. Что же будет с теми, кто поможет другому френги войти в ворота благородной Хивы? Об этом страшно даже подумать! А между тем почтенный афганский купец...

Тут Амандури велел позвать афганца Эмира Мехмеда и приказал ему:

— Говори!

— Я видел френги-англичан на своей земле, — закричал афганец, и глаза его налились кровью. — Я видел этих собак и говорю вам: в Хиве пытка делает свое дело, и железо покажет, кто на самом деле ваш хромоногий хаджи Решид! Но великий хан покарает и слепцов, не разглядевших неверного под лохмотьями дервиша!

Билал и Сали не унизили себя крикливым спором. Двадцать шесть человек в караване носили почетный мусульманский титул хаджи за подвиг благочестия, за многотрудное паломничество в Мекку к священному черному камню Каабы. Среди двадцати шести паломников хаджи Билал и хаджи Сали были наиболее почтенными и уважаемыми людьми, это мог подтвердить каждый.

Но разве свет благочестия не исходил и от хаджи Решиды? Да, он не выкрикивал по две тысячи раз подряд

«Аллах! Аллах!», как достопочтенный кокандец хаджи Абдул-Кадер, и не побывал в Мекке дважды, как хаджи Нух-Мухаммед. Но кто лучше хаджи Решида мог толковать Коран, эту святую книгу, существующую предвечно?

Припадая на больную ногу, он отважился идти для поклонения мусульманским святыням Хивы и Бухары — это ли не подвиг, достойный воздаяния?

И вот теперь нечестивый «биномаз» — безбожник, за опиумом забывающий о часе молитвы, — чернит хаджи Решида подозрениями! Сначала афганец уговаривал их друга отделиться от каравана и пойти вдвоем. Уж не думает ли нечестивец, что в лохмотьях хаджи Решида спрятаны сокровища? Корысть и зависть иногда толкают людей на злые дела, а в пустыне легко теряется след человека. Хаджи Решид, конечно, отказался идти с афганцем, и теперь тот выдумал нелепицу с переодетым френги...

Обо всем этом хаджи Билал спокойно сказал Амандури. Но тот не казался убежденным. Проклятый же афганец кричал свое:

— Железо покажет!

Тогда хаджи Билал сказал, что он и хаджи Сали готовы поручиться за своего друга. Они неразлучны с ранней весны, когда вместе вышли из Тегерана. Они вместе ночевали на холодном полу караван-сараев, укрывались тряпьем, чтобы унять дрожь. Они брали пальцами из одного горшка вареный рис, сдобренный, за неимением свежего сала, растопленной сальной свечой. Они вместе давили ногтями или морили жаром вшей, развешивали свои лохмотья дервишей над горячей золой. И никто не слышал жалоб и стенаний от хаджи Решида, слабого телом, но сильного верой.

Святость и набожность хаджи Решида сделали его желанным гостем на земле туркмен. Молитвой и талисманами он лечил больных, и те благословляли его. Сам Кызыл-ахонд, ученейший муж среди туркмен, находил удовольствие во встречах с хаджи Решидом. Салтыг-ахонд, мудрейший священнослужитель, после бесед с хаджи Решидом сказал, что воистину свет ислама снизошел на этого человека. Салтыг-ахонд поручил хаджи Решиду, именно ему, а не кому-либо другому, определить для строящейся мечети место михраба-ниши, пока-

зывающей направление на Мекку. Так неужели Амандури думает, что верность религии делает людей слепыми, а опиум обостряет зрение?

Амандури, казалось, колебался. Но афганец вскричал со злобным упорством:

— Разве этот дервиш похож на других? Он светлокож, как все френги!

На земле туркмен, возразил ему хаджи Билал, где паломников приняли, как братьев, многие тоже удивлялись, что аллах создал единоверцев столь не похожими друг на друга. Но дело в том, что хаджи Решид — турок!

Он, хаджи Билал, не хотел говорить все до конца, однако теперь сделает это. Пусть Амандури знает!

И хаджи Билал рассказал, как однажды вместе с другими паломниками зашел во двор турецкого посольства в Тегеране, чтобы пожаловаться на бесчинства властей, берущих непомерные пошлыны. Там к паломникам подошел важный господин, который ласково обошелся с ними и расспрашивал так, будто был их братом. И господин сказал, что хочет пойти, как простой дервиш, на поклонение святыням в земли туркмен и узбеков.

— Да будет ведомо тебе, Амандури, что хаджи Решид — турецкий эфенди, знатный господин, которому покровительствует сам великий султан, — торжественно произнес хаджи Билал. — Он стал дервишем потому, что так захотел пир, духовный отец его секты. И когда мы пошли вместе, я сказал: теперь окончательно забудь, что ты турецкий эфенди и стань настоящим дервишем. Благословляй людей и не забывай протягивать руку за милостыней: тот, кто пришел в страну одноглазых, должен закрывать один глаз!

— Хорошо, — решился убежденный этой речью Амандури. — Я возьму хаджи Решида с собой. Но мы должны обыскать его. Пусть все убедятся, что он не прячет в одежде деревянное перо, каким пишут френги. И еще, пусть он поклянется, что не сделает никаких тайных заметок по дороге.

Как же разгневался хаджи Решид, услышав это! Он обратился к своему другу, но весь караван слышал его слова:

— Хаджи, ты знаешь, кто я. Скажи Амандури, который слушает одурманенного биномаза: с религией не шутят! В Хиве он узнает, с кем имеет дело!

Кого бы не смутила такая речь! А вдруг этот хромой дервиш имеет важное тайное поручение к властителю Хивы от самого турецкого султана?

— Худзим билар! Бог знает! — произнес Амандури. — Хан будет предупрежден обо всем заранее, и да свершится его воля!

Амандури дал знак двигаться дальше. Все, кроме афганца, успокоились, и караван по вечерней прохладе продолжал путь к Хиве.

* * *

Две недели паломники медленно тянулись то по ровным, плоским «такырам», глинистая корка которых расстрескалась от жары, то по песчаным барханам. И уже изнемогали люди и верблюды, когда показались крыши одного из селений, окружавших великолепную Хиву.

Впервые город принимал сразу столько праведников, побывавших в Мекке. Толпа встретила караван у городских ворот. Паломникам целовали руки. Иные считали за честь хотя бы прикоснуться к их одежде.

Но когда один из офицеров хана появился перед дорожными гостями, неистовый афганец бросился к нему:

— Господин, мы привели в Хиву трех удивительных четвероногих и одного не менее замечательного двуногого!

Он показал сначала на буйволиц, потом на хромого дервиша. Сотни глаз уставились на хаджи Решида. И побежал уже в толпе шепот: «Френги! Урус!», и нахмурился офицер, готовый учинить допрос, когда вперед вышел хаджи Сали. Он стал превозносить добродетели своего друга, но тот, оскорбленный до глубины души людской подозрительностью, спросил лишь, как пройти к дому Шюкруллаха-бея, важного сановника хана.

Те, кто последовал за хаджи Решидом, своими ушами слышали, как хромой дервиш велел доложить сановнику, что он хочет видеть эфенди из Стамбула. Удивленный бей сам вышел навстречу и, пристально всмотревшись в оборванного паломника, воскликнул:

— Решид-эфенди?! Возможно ли это?

Если бы зеваки могли проникнуть в дом, куда Шюкруллах-бей поспешно увел гостя, они увидели бы, как дервиша усадили на почетное место. Они услышали бы, как сановник заклинал гостя именем аллаха поскорее сказать ему, что побудило уважаемого Решида-эфенди прибыть в

ужасную страну из Стамбула, этого земного рая, где Шюк-руллах-бей провел много лет ханским послом при дворе султана и где имел удовольствие видеть Решида-эфенди совсем в другом одеянии. На это дервиш ответил, что он здесь по воле пира своей секты.

Наверное, в Хиве стены имели уши! Дервиша, вернувшегося от сановника, разыскал в келье придворный офицер и вместе с подарком передал приглашение явиться во дворец для благословления хана Хивы.

Хан жил в Ичан-кале, этом городе внутри города, где поднимались купола и минареты наиболее чтимых мечетей. Толпа в узких улицах почтительно расступалась перед хромым дервишем. У входа в новый ханский дворец Ташхаули придворные офицеры подхватили его под руки.

Хан, полулежа на возвышении со скипетром в руке, принял благословение дервиша.

— Много страданий испытал я, но теперь полностью вознагражден тем, что вижу благословенную красоту вашей светлости, — склонил голову дервиш.

Выслушав рассказ о дорожных невзгодах хаджи Решида, хан вознамерился было наградить страдальца. Но святой человек отказался от денег, сказав, что у него есть единственное желание: да продлит аллах жизнь повелителя Хивы до ста двадцати лет!

Благоволение хана распахнуло перед хаджи Решидом двери в дома вельмож. Хромой дервиш ел жирный плов с советниками хана или вел богословские споры с самыми уважаемыми хивинскими имамами, тогда как его недруг-афганец, осыпаемый бранью и насмешками, не смел даже показаться на улице.

И еще раз призвал хан к себе хаджи Решида. Шюк-руллах-бей успел предупредить дервиша: придворные подзревают, что хаджи Решид имеет тайное послание султана к властителю соседней Бухары. Конечно, хан Хивы хотел бы кое-что узнать об этом...

Но если султан и поручил что-либо хаджи Решиду, то в Стамбуле сделали правильный выбор: ничего нельзя было выведать у святого человека, далекого от мирских дел.

* * *

«К величайшему моему удивлению, подозрения росли с каждым шагом, и мне чрезвычайно трудно было делать даже самые краткие заметки о нашем пути... Я не мог

даже спрашивать о названии мест, где мы делали останки».

Так хаджи Решид описывал позднее тот тревожный день, когда Амандури едва не бросил его в пустыне на дороге в Хиву. По календарю неверных это было 14 мая 1863 года.

Когда хромой дервиш не дал себя обыскать, гневным криком он маскировал страх: в подкладке его рваного халата было спрятано уличающее «деревянное перо» — огрызок карандаша...

И не только «перо».

Перед тем как Решид-эфенди отправился в путешествие со странствующими дервишами, все друзья в Тегеране отговаривали его от этого безумного шага. Они говорили об опасностях, ожидающих путника на дорогах среднеазиатских ханств, коснеющих в дикости и невежестве. Напоминали о замученных и обезглавленных, об отравленных и удушенных, о пропавших без вести. А когда все оказалось тщетным, два человека дали страннику талисманы, защищающие его от мук и пыток.

Турецкий посол вручил ему паспорт, какой получали лишь немногие. «Тугра», собственноручная подпись турецкого султана, чтимого всюду на Востоке, подтверждала, что хромой дервиш действительно подданный его светлости, хаджи Мехмед-Решид-эфенди.

Другой талисман он получил от посольского врача. Протягивая эфенди маленькие белые шарики, врач сказал:

— Когда вы увидите, что уже делаются приготовления к пытке и что не остается никакой надежды на спасение, проглотите это.

И однажды в пути хаджи Решид, подпорол шов халата, осторожно достал белый шарик стрихнина. Это было ночью. Афганец, ненавистный афганец, изводивший его своими подозрениями, полулежал рядом, накурившись опиума. Его бессмысленные глаза ничего не видели, дрожащая рука неуверенно тянулась к пиале с остывшим чаем. Достаточно было опустить белый шарик в чай — и...

Но пальцы хаджи Решида так и не разжались. Он не мог запятнать себя хладнокровным тайным убийством. Разве и до встречи с афганцем судьба не посылала ему тяжких испытаний? И разве не кончилось каждое из них

еще одной, пусть маленькой победой над собой, над своими слабостями!

В Хиву хаджи Решид пришел из Тегерана. Но это изнурительное и опасное путешествие не было для него первым. В Тегеран из Стамбула турецкий эфенди, приучая себя к неизбежным будущим невзгодам, также шел с караваном. В пути на караван напали курды. Хаджи Решид покрылся холодным потом, дрожь трясла его. Но, не родившись храбрецом, он с той минуты стал искать встреч с опасностью, чтобы привыкнуть к ней, преодолевать врожденное чувство страха.

При переходах по дорогам персидского нагорья он испытал на себе злобную религиозную нетерпимость. Турок-мусульманин был еретиком для мусульман-персов: в Турции господствовало суннитское направление ислама, а в Персии — шиитское. Хаджи Решида встречали плевками, угрозами, выкриками:

— Суннитский пес!

Он поражался, сколько низости, злобы и несправедливости может быть у людей, фанатически отстаивающих свои религиозные убеждения.

Позднее, когда хаджи Решид иступленно выкрикивал молитвы на могилах хивинских святых, все видели, что благочестивые слезы застилают его глаза, так же как застилали они глаза других дервишей. Но при этом хаджи Решид не терял зоркости. Он присматривался, наблюдал, запоминал.

В своих скитаниях хромым дервиш часто встречался с притворством, вероломством, подлостью. Но его глаза видели также многое, согревающее душу. Видели искреннюю, бескорыстную дружбу, товарищескую выручку, видели добрых, отзывчивых людей. Даже Амандури, советник хана, подзревавший хаджи Решида, и тот однажды в пустыне поделился своей водой с теми, у кого ее уже не было, не забыв при этом и хромого дервиша.

А туркмен-кочевник, бедняк из бедняков, в честь гостей зарезавший свою последнюю овцу и с умилением смотревший, как совершенно чужие ему люди набивают желудки мясом, вкус которого он давно забыл? А долговые расписки туркмен? Удивительные расписки, хранящиеся не у того, кто дал деньги, а у того, кто взял: ведь должнику они нужнее — пусть напоминают, что надо поскорее отдать долг!

И на узбекской земле хромой дервиш не разочаровался в народе.

«Обитатели этого селения, первые встреченные мною узбеки, были весьма хорошими людьми», — отозвался хаджи Решид о жителях деревни под Хивой. «Самый лучший народ в Средней Азии», — утверждал он, после того как ближе узнал жизнь хивинских простолюдинов.

Но если бы хивинский хан, тот хан, которому хромой дервиш пожелал ста двадцати лет жизни, мог предвидеть будущее описание своей «благословенной красоты», он бы, хлопнув в ладоши, крикнул палачу:

— Алиб барын! Взять его!

Хаджи Решид впоследствии назвал властителя Хивы слабоумным, развратным и диким тираном, описал его белые губы злодея, глубоко запавшие глаза, реденькую бородашку.

Да, одного возгласа хана «Алиб барын!» было достаточно для того, чтобы хаджи Решид разделил судьбу тех, кого ханские палачи истязали в тот день, когда дервиш возвращался после милостивого приема у властителя.

Это было на площади перед старым дворцом Куня-арк, возле обложенной камнем ямы для стока крови казненных. Хаджи Решид видел, как стража сортировала партию пленных туркмен: кого в рабство, кого в темницу, кого на виселицу. Восемь стариков были брошены на землю, и палач выколол им глаза, каждый раз неторопливо и тщательно вытирая окровавленный нож о седую бороду ослепленного...

* * *

Хромой дервиш и его друзья, прожив в Хиве месяц, отправились дальше. Им предстоял путь к святыням Бухары.

Покидая Хиву, хаджи Решид надеялся, что самое трудное отошло уже в мир воспоминаний.

Он ошибся.

Из Хивы в Бухару в разгаре лета обычно идут по ночам. Но и ночами воздух сух, ветры часты, пески горячи. А на этот раз спутникам хаджи Решида пришлось пересекать пески напрямик с возможной поспешностью, сделав выбор между опасностью смерти в пустыне и кандалами рабов.

К этому выбору их понудили два полуголых, истощенных человека. Они бросились к только что переправившемуся через Аму-дарью каравану с криками:

— Хлеба! Хлеба!

Насытившись, несчастные рассказали, как едва спаслись от разбойников, налетевших на быстрых конях и разграбивших их караван.

— Ради аллаха, скройтесь куда-нибудь! — посоветовали они.

После этого самые робкие предложили отсидеться в густых прибрежных зарослях, а потом пробираться назад к Хиве.

Но несколько человек, к которым примкнул хромой дервиш и его друзья, решили идти в пустыню. Они надеялись, что уже на второй день разбойники забудутся, как страшный сон: аллах еще не создал такого коня, который выдержал бы больше суток в этом пекле.

Идти надо было шесть дней. Воды могло хватить на четыре с половиной дня, может быть, на пять. Они это знали. Но позади им чудился топот копыт, свист аркана и позвякивание притороченных к седлу невольничьих цепей.

Сначала пали два верблюда. Кажется, это было на вторую ночь.

Потом умер самый слабый из путников. Он задыхался, молил, но никто не облегчил его мук каплей из своего бурдюка. Почерневший язык вывалился изо рта умирающего. Труп бросили на песке.

Был четвертый день ада, когда хаджи Решид, скосив глаза на кончик своего языка, увидел знакомую черноту. Испугавшись, он сразу выпил половину мутной вонючей жижи, остававшейся в бурдюке. Жажда не уменьшилась, железные раскаленные обручи стискивали голову, язык был черен.

На пятый день, когда уже близка была Бухара, верблюды с тоскливым ревом стали опускаться на колени и, вытягивая длинные шеи, зарывать головы в песок. Они раньше людей почувствовали приближение смертоносного вихря пустынь.

Облако пыли закрубилось под дальними барханами. В памяти хаджи Решиды отпечатался глухой, нарастающий шум, уколы первых песчинок, жестких и жгучих, как искры, летящие из-под молота кузнеца...

Очнулся он от говора незнакомых людей. Персидские слова?!

Оглядевшись, дервиш увидел стены жалкой хижины. Здесь жили рабы-иранцы. Богатый хозяин послал их сюда пасти овецъи стада. Чтобы рабы не вздумали бежать через пустыню, им давали по несколько кружек воды в день. И последним своим запасом они поделились с попавшими в беду, хотя видели, что перед ними ненавистные еретики-шииты...

Бухара была рядом. После раскаленной пустыни ее купола и башни со множеством аистовых гнезд, поднимавшиеся над зеленью садов, казались уголком рая.

Итак, хаджи Решид был у ворот столицы второго из трех больших среднеазиатских ханств, враждовавших между собой.

Если Кокандское ханство считалось сильнейшим, то Бухарское ревниво оберегало репутацию исламской правотверности. Казалось, не было ббльших забот у бухарского эмира, объединяющего духовную и светскую власть, чем сохранение устоев средневековья. Как можно ближе к порядкам времен пророка Мухаммеда — разве не в этом идеал истинного мусульманина?

В Бухаре религиозные фанатики пытались остановить время. Здесь боялись новшеств. Тот, кого обвиняли в отступничестве от ислама, мог поплатиться даже головой. Нетерпимость бухарских феодалов к иноверцам доходила до безрассудства. Некоторые из них, например, надеялись, что турецкий султан рано или поздно объявит газават (священная война для истребления неверных на всем земном шаре). Султан представлялся им бородатым великаном в чалме, на которую пошло не менее сорока локтей материи; они были уверены, что пищу ему доставляют исключительно из священной Мекки. И эти фанатики, наверное, растерзали бы того, кто сказал им, что его высочество султан Турции в действительности по торжественным дням надевает фрак, какой носят нечестивые «френги», причем спитый по последней парижской моде...

Когда паломники приблизились к воротам Бухары, их встретили чиновники эмира. Перерыли скудный скарб. Заставили заплатить пошлину. Опросили, а вернее, допросили каждого. Записали приметы. Как не походило все это на восторженную встречу в Хиве!

Хаджи Решид бродил по Бухаре, чувствуя, что за ним

следят. Он останавливался возле древнего минарета мечети Калян, поднимал глаза, рассматривал его тончайший орнамент — и кто-то останавливался за его спиной, делая вид, что тоже любит чудесным сооружением. Хромой дервиш шел на базар, где купцы торговали в числе прочего привезенным из России дешевым ситцем, где в чайханах стояли огромные русские самовары, — а внимательные, цепкие глаза отмечали каждый его шаг.

Потом хаджи Решида пригласили в один дом и стали расспрашивать о Стамбуле. Спрашивали, какие там улицы, каковы обычаи. После он узнал, что среди гостей хозяина был человек, хорошо знавший турецкую столицу...

Наконец всеми уважаемый Рахмет-бей, приближенный эмира, позвал его для ученого разговора с бухарскими муллами. Хаджи Решид не стал дожидаться вопросов, а сам обратился к толкователям Корана с просьбой разъяснить ему, стамбульцу, некоторые тонкости богословского порядка: ведь он столько слышал о мудрости бухарских законоучителей! Польщенные муллы тем не менее подвергли своего гостя настоящему экзамену.

После этого испытания хаджи Решида оставили в покое, и он мог свободно рыться в грудах старинных рукописей, которыми была так богата Бухара. Он побаивался лишь эмира, возвращения которого в столицу ханства ожидали со дня на день. О его жестокости и свирепости ходили легенды. Ведь это он публично казнил своего министра за один неосторожный взгляд на невольницу, прислуживающую во дворце.

Но встреча с этим деспотом и религиозным ханжой все же состоялась. Это было уже в Самарканде, куда хаджи Решид направился из Бухары.

Самарканд! Два тысячелетия пронесли над ним, и дух бывшего великолепия столицы огромной империи Тимура запечатлелся в пышнейшей мечети Биби-Ханым, в соперничающих с небесной синью изразцах ребристого купола мавзолея Гур-Эмир, где нашел последнее успокоение завоеватель.

Здания, окружающие Регистан, одну из красивейших площадей Востока, напоминали об Улугбеке, просвещенном сыне Тимура, при котором в Самарканд отовсюду стекались историки и поэты, астрономы и математики. Теперь волны религиозного ханжества захлестывали город, все в нем измельчало, обветшало...

Музаффар-Эддин, эмир бухарский, был в Самарканде проездом. Хаджи Решида вызвали к нему. Он томительно долго ждал в приемной среди приближенных эмира. Неожиданно хаджи Решид ощутил легкое прикосновение к затылку и услышал бормотание:

— Вот досада, нож-то я забыл дома...

Случайно оброненная фраза? Или...

Тут его позвали к эмиру. Повелитель, лежа на красном матраце, пристально оглядел дервиша и спросил, действительно ли тот пришел в Бухару единственно ради поклонения святыням?

— И еще для того, чтобы насладиться твоей красотой,— ответил хаджи.

— Ты странствуешь по свету с хромой ногой,— холодно произнес эмир.— Это поистине удивительно.

— Твой славный предок имел такой же недостаток, и хромота не помешала ему стать повелителем мира! — нашелся дервиш.

Упоминание о родстве с Тимуром понравилось эмиру. Он стал расспрашивать о путешествии. Расспрашивал подробно, слушал внимательно. Лицо его оставалось бесстрастным. Внезапно эмир хлопнул в ладоши. Из-за ковра выросли фигуры вооруженных телохранителей.

— Выдать хаджи деньги и халат,— приказал эмир.— И ты придешь ко мне еще раз, хаджи.

Друзья, которым хаджи Решид рассказал, как встретил его эмир, посоветовали ему без промедления покинуть Самарканд...

Полгода хромой дервиш делил хлеб, кров и беды с хаджи Билалом, с хаджи Сали — и вот настал час разлуки. Они вместе вышли за городские ворота. Караван, с которым отправлялся хаджи Решид, готовился в путь с первой звездой.

Слезы были на глазах у дервиша, когда он в последний раз обнял друзей. Верблюды медленно зашагали по мягкой пыли. Хаджи Решид долго еще оглядывался назад, различая знакомые машущие фигурки у городских ворот. Потом они растаяли, исчезли. Только голубые купола Самарканда долго еще блестели в лунном свете.

Душевное смятение овладело хаджи Решидом. Тяжело расстаться навсегда с людьми преданными и честными. Они открывали ему душу. А он? Чем он отплатил своим

лучшим друзьям, которым был обязан жизнью? Ведь главную свою тайну он не открыл даже им.

Но что было бы, если бы они узнали все? Как горько, как обидно было бы им вспоминать до конца дней, что полгода рядом с ними по ревниво оберегаемым от неверных святым местам ходил не дервиш, не турецкий эфенди, а френги, европеец по рождению и духу, человек, отрицающий всякую религию!

Да, в его лохмотьях хранился паспорт на имя хаджи Мехмед-Решид-эфенди, и султанская «турга» свидетельствовала это. Но паспорт был таким же прикрытием, как всклокоченная борода дервиша, скрывавшая черты человека, которому едва исполнился тридцать один год.

Колпак странствующего монаха прикрывал голову великого актера, обладающего редким даром перевоплощения, лингвиста с феноменальной памятью, члена-корреспондента Венгерской академии наук, знатока восточных языков Арминия Вамбери!

* * *

В нескольких, быстро завоевавших широкую популярность книгах, написанных после путешествия в Среднюю Азию, Вамбери подробно рассказал о своем превращении в дервиша и о том, что заставило его решиться на этот рискованный шаг. Его необыкновенные приключения не раз вдохновляли писателей. Превосходную книгу о Вамбери написал Николай Семенович Тихонов. Эта поэтическая, талантливая повесть большого мастера с равным интересом читается как школьниками, так и взрослыми. Наш же документальный очерк касается более подробно лишь некоторых немаловажных обстоятельств, относящихся прежде всего к целям среднеазиатского путешествия Вамбери. Мы постараемся также рассказать о том, как современные исследователи работают над проблемой, ради решения которой Вамбери рисковал головой.

Но сначала — некоторые штрихи удивительной биографии.

Вамбери родился в Венгрии, однако не мог сказать точно, когда именно: для еврейской бедноты метрические записи не были обязательны. Вероятнее всего, маленький Арминий, или Герман, появился на свет в 1832 году.

Его набожный отец, в молодости умерший от холеры, остался в семейных преданиях книжником, далеким от

мирских дел. Энергичная вдова полагала, что Библия и Талмуд — хорошие ключи к воротам рая, но приносят мало пользы в обыденной жизни.

Дети делили время между азбукой и сбором пиявок, которые считались первым средством при многих болезнях. Но лекарства тоже подвержены капризам моды. Нашлись противники кровопусканий, спрос на пиявки упал, и хрупкое благосостояние семьи Вамбери сменилось устойчивой нищетой.

Арминий с детства хромот. Его лечили зельями и закликаниями, а какой-то пьяница-костоправ едва не сломал ему колено. Лечение не помогло, но Арминий не унывал, носясь с костылем по пустырю на городской окраине, где собирались ярмарки, ставили драные шатры цыгане и жулье надувало простодушных крестьян.

Мать, уверенная, что в мальчугане жив дух наследственной учености, в тщеславных мечтах видела его доктором. Блестящие способности помогли Арминию перешагнуть порог школы, открытой монахами. Но наставник постарался охладить его пыл:

— Скажи, Мошеле [так его преподобию было угодно называть всех евреев], зачем тебе учиться? Не лучше ли сделаться мясником?

Когда Арминий для продолжения образования пришел в коллегию монашеского ордена бенедиктинцев и протянул похвальный лист, преподобный отец Алоизий Пендль изрек насмешливо:

— Итак, Гершеле [наставник называл этим именем всех евреев], ты задумал стать доктором?

Арминия учили из милости, кормили из сострадания, давали угол, видя в мальчике слугу и сторожа. Он чистил наставникам сапоги. Он сочинял любовные письма за неграмотных кухарок, вознаграждавших его миской гуляша.

В школах у преподобных отцов получил он наглядные уроки ханжества, лицемерия, двоедушия, убившие в нем религиозность. Оскорбляемая гордость сделала то, перед чем отступили знахари и костоправы: придя на могилу отца, подросток переломил над ней костыль и с тех пор обходился палкой.

Арминию Вамбери исполнилось шестнадцать, когда венгерские патриоты, поднятые волной прокатившихся по Европе революций, восстали против Габсбургов. Они за-

хотели освободить родину от австрийской династии, утвердившейся на венгерских землях. На помощь Габсбургам пришли Романовы. Николай I оказал военную поддержку при подавлении революции.

В Пресбурге, где учился Вамбери, эшафот стоял у крепостной стены. Подросток узнал, как смотрят смерти в глаза настоящие люди. Молодой венгерский офицер шел на эшафот вместе со своим адъютантом. Оба смеялись и оживленно разговаривали между собой. Возбешенные палачи перед казнью стали мучить их. Вамбери не выдержал и стал выкрикивать из толпы в лицо австрийцам самые страшные ругательства, какие только слышал на ярмарках. За ним погнались, но при хромоте он отличался редким проворством и быстротой.

В 1851 году Вамбери закончил учение и, зная семь языков, стал домашним учителем. Несколько лет он скитался по небогатым семьям, уча недорослей и продолжая учиться сам. Когда долго не было работы, Вамбери жил у больничной сиделки, сдававшей койки беднякам. Коек было четыре, постояльцев — восемь. Здесь среди старьевщиков, корабейников, нищих Вамбери зубрил русские глаголы и учился писать по-турецки.

Бунтарь уживался в нем с педантом. В календаре юноша намечал, что должен сделать на каждый день. Невыполненное задание переносилось на завтра. Если и завтра его нельзя было зачеркнуть как сделанное, Вамбери оставлял себя без обеда.

В эти годы он попытал счастья в Вене. На государственную службу его не приняли, как уроженца Венгрии, да еще выросшего в еврейской семье. Но Вена подарила ему много важных встреч. Он познакомился с великим сербским поэтом и просветителем Вуком Караджичем. В русском посольстве священник Раевский снабдил его книгами, и Вамбери прочел в подлинниках Батюшкова, Пушкина, Лермонтова. Востоковед Пургисталь подогрел в нем интерес к целеустремленному изучению восточных языков.

Ученых уже давно волновала загадка происхождения венгров. Откуда появились они на берегах Дуная? Где их прародина, с которой принесли они язык, столь не похожий на языки их европейских соседей?

В венгерском языке можно было найти слова, схожие с теми, которые употребляют тюркоязычные народы. Но

не означало ли это, что прародиной венгров была Центральная или Средняя Азия?

Барон Этвеш, венгерский лингвист, к которому Вамбери пришел в дырявых башмаках с искусно подвязанными картонными подошвами, сочувственно отнесся к его предложению отправиться на Восток для выяснения сходства венгерского языка с языками азиатских народов.

Денег, полученных Вамбери, хватило на билет до Стамбула. Последние монеты забрал лодочник-перевозчик. Первый приют дали Вамбери соотечественники — венгерские эмигранты, бежавшие на берега Босфора после подавления революции.

В Турции Вамбери прожил шесть лет. Сначала он был странствующим чтецом. В кофейнях благодарные слушатели приглашали его разделить трапезу. На второй год стамбульской жизни Вамбери часто видели во дворах мечетей, где, сидя у ног учителей-хаджи, он постигал премудрости ислама. Его встречали также на базарах; он вслушивался в речь приехавших издалека торговцев.

Прошло еще три года, и Вамбери стал все чаще появляться в министерстве иностранных дел и на приемах в посольствах: владея уже тридцатью языками, он мог быть переводчиком решительно всех дипломатов, представленных при дворе султана!

Настоящее имя венгра забылось. Важного господина, имеющего собственную карету, стали называть Решид-эфенди. И он, вероятно, не преувеличивал, определяя много лет спустя свое место в турецкой столице: «Как близкого друга, меня посвящали в тайны частной и государственной жизни, и скоро я стал сведущ в турецких делах не меньше, чем любой эфенди, рожденный в Стамбуле».

А тем временем Венгерская академия наук получала от него весьма интересные сообщения. Он разыскал и перевел древние манускрипты, где в сплетении фактов и вымысла пытался найти зерно истины о прародине венгров. Он жадно изучал в архивах Стамбула чагатайско-тюркские рукописи, ища слова и понятия, сходные с теми, которые жили в языке венгров. В уважение всех этих заслуг Академия наук избрала Вамбери своим членом-корреспондентом.

Он приехал на родину, и почтенные академики выслушали его дерзкий план. Из скудной академической кассы была отсчитана тысяча монет. Вамбери торжественно вручили охранный лист. Предполагалось, видимо, что палач хивинского хана тотчас отбросит в сторону кинжал или веревку с петлей, прочтя каллиграфически написанное по-латыни обращение об оказании всяческого содействия подданному прославленного монарха Франца-Иосифа II венгру Арминию Вамбери, известному академикам с самой лучшей стороны...

У президента Академии хватило, впрочем, юмора, для того чтобы в ответ на выраженное одним из академических старцев пожелание о доставке для изучения нескольких черепов жителей Средней Азии заметить:

— Прежде всего пожелаем нашему сотруднику привезти в целости свой собственный череп.

Взяв деньги и спрятав подальше охранный лист, Вамбери вернулся в Стамбул. Будущее не страшило его. Жизнь достаточно долго репетировала с ним будущую роль, закаливая характер, учила терпению и лицемерию, учила носить маску святости и обуздывать желания. Стамбул научил его искусству восточного диалога и придал внешние характерные черты.

И когда пришла решающая минута, Арминий Вамбери, давно известный всему Стамбулу как Решид-эфенди, был вполне готов перевоплотиться в странствующего дервиша.

* * *

К Арминию Вамбери, который после посещения среднеазиатских ханств побывал еще и в Афганистане, пришла слава одного из самых дерзких путешественников по Востоку.

Он не был первым европейцем в Хиве, Бухаре, Самарканде. Русские послы посещали среднеазиатские ханства с XVII века. В начале XIX века туда усиленно старались проникнуть англичане, и не все они разделили участь обезглавленных в Бухаре полковника Конноли и подполковника Стоддарта. Приключения в Хиве Николая Муравьева, брата известных декабристов Муравьевых, в свое время всколыхнули русское общество. Ханыков, Эверсман, Виткович, Демезон, уже знакомый нам Егор Петрович Ковалевский и другие, служа русской

науке и русской дипломатии, в разное время проникали в ханства Средней Азии.

В старых комплектах «Туркестанских ведомостей» можно найти рассказ купца Абросимова. Это был молодой человек, выкупленный крепостной крестьянин, часто встречавший в киргизских степях хивинских купцов. Видимо, у него были незаурядные способности к языкам; он бегло говорил по-узбекски, по-киргизски и по-туркменски. И вот этот предприимчивый торговец, нагрузив товарами пятнадцать верблюдов, на свой страх и риск отправился в Среднюю Азию.

Не без труда он добрался до Хивы. Его привели к хану. Купец попросил разрешения торговать в городе. Хан такое разрешение дал. «В самое короткое время вся Хива знала о приезде русском торговце. Многие приходили не для того, чтобы покупать у меня товары, а, собственно, чтобы взглянуть на меня. Я старался оказывать всякому уважение, и тем распространял круг своего знакомства, и был любим всеми». Так рассказывал купец.

Абросимов не раз побывал у хана. Однажды тот предложил купцу жениться на какой-нибудь пленнице или на уивинке и остаться в Хиве. Вежливый отказ не привел хана в бешенство. Когда Абросимов, выгодно распродав товары, собрался домой, хан отпустил его, сказав на прощание, что русским купцам от него обиды не будет.

В Хиве Абросимов жил за несколько лет до прихода туда хромого дервиша...

Рассказ купца не заставляет, однако, заподозрить Вамбери в сгущении красок при описании опасностей, подстерегающих иноземца в Хиве. Абросимов пришел туда открыто, Вамбери — под чужим именем. Хан был заинтересован в торговле с русскими, но, конечно, не мог допустить, чтобы какой-либо френги проник во все тайны жизни ханства, ревниво оберегаемые от постороннего. Несомненная заслуга Вамбери как раз в том, что он сумел увидеть застойный, изживающий себя мир средневековых деспотов и религиозных фанатиков, полностью растворившись в его атмосфере, став его частицей.

Приключения Вамбери, как мы уже говорили, описывались не раз. Со страниц некоторых повестей и рассказов он предстает железной натурой, одержимой идеей служения науке, одиночкой, окруженным одними врага-

ми, только и думающими о том, как разоблачить подозрительного дервиша.

Едва ли это правильно.

Сам Вамбери объективнее некоторых своих биографов. Действительно, пишет он, косой взгляд встречного, каждый жест казался ему подозрительным, настораживал его. Но, признает далее Вамбери, «впоследствии я убедился, что спутники и не думали разоблачать меня». Опасность разоблачения обострялась лишь в больших городах.

Более того, позднее выяснилось, что некоторые лица, в том числе и сановники, догадывались, что под внешностью дервиша скрывается европеец. Однако этот европеец имел турецкий паспорт, подлинность которого не вызывала сомнений. В критические моменты дервиш извлекал паспорт из лохмотьев, и сановник почтительно целовал «тугру».

И разберемся без предвзятости: верно ли представлять того же афганца, действительно доставившего много тревог Вамбери, лишь злодеем, мешающим ученому? Ведь сам Вамбери в позднейших книгах упоминает, что афганец чудом уцелел при кровавой расправе, учиненной англичанами в захваченном Кандагаре.

Афганец хорошо знал, что принесли его родине френги. В его глазах тот, кого он подозревал, был вражеским лазутчиком, а те, кто защищал подозрительного хромого дервиша, — слепцами и ротозеями...

Вамбери после своих путешествий опубликовал работы, содержащие ценный этнографический материал. Его труды по чагатайскому и уйгурскому языкам, а также в области угро-финской и тюрко-татарской лексикографии не утратили значения до сих пор. Именно за лингвистические исследования Венгерская академия наук избрала Арминия Вамбери академиком.

Но в своих поисках прародины венгров он, увы, не нашел верного пути.

Ему не было нужды отправляться туда, где, по его словам, «слушать считается бесстыдством, где спрашивать — преступление, а записывать — смертный грех».

Для поисков народов, говорящих на языках, скольконибудь сходных с венгерским, для Вамбери подошел бы вначале весьма обычный маршрут: из Вены — в Москву, а оттуда — на Волгу.

Путешествуя в удобной каюте парохода волжского товарищества «Самолет», он увидел бы на пристанях грузчиков, или, как их называли, крючников,— башкир, чувашей, марийцев, сгибавшихся под тюками со льном, с кожами для нижегородской ярмарки. И чуткое ухо лингвиста, возможно, уловило бы в их возгласах некоторое сходство с говором простолюдинов венгерского местечка.

А для того чтобы услышать речь, еще более близкую венгерской, Вамбери следовало бы отправиться дальше. Но отнюдь не в раскаленные пески Средней Азии, а туда, где долгой зимней ночью не знает покоя пурга и до мая лежат сугробы. Он должен был бы перевалить Урал и на собачьей упряжке проехать по низовьям Оби.

Здесь, в лесах и тундре, он нашел бы стойбища охотников, принадлежащих к небольшим северным народам. Тогда их называли вогулами и остяками. И тут-то в заклинаниях шамана, бьющего в бубен, чтобы изгнать злых духов, Вамбери услышал бы вдруг отголоски хорошо ему знакомых причитаний, какими провожают покойника крестьяне венгерской пушты...

Впрочем, еще до того как Вамбери отправился в Среднюю Азию, другой венгр совершил именно такое путешествие на север, в края, где обитали остяки и вогулы. Его звали Анталом Регули. Он установил несомненную близость своего родного языка с языком кочующих по берегам Оби потомков древних племен.

Сибирский север — и Центральная Европа! Обь — и Дунай! Несходство исторических судеб разделенных огромным расстоянием народов — и все-таки несомненное родство языка. Как объясняет этот парадокс современная наука?

Оговоримся сразу: здесь нет полного единства мнений. Возможно, что дальнейшее развитие человеческих знаний внесет поправки в существующие гипотезы и вовсе отвергнет некоторые из них. Эрик Мольнар, автор изданной в Будапеште работы о проблеме происхождения венгерского народа, вообще считает, что даже при использовании всех достижений лингвистики, археологии, антропологии, этнографии и других наук никогда не удастся «вскрыть весь ход венгерской древней истории со всеми ее существенными чертами».

Но многое, несомненно, вскрыто уже с достаточной

определенностью. Начнем с области, особенно близкой Арминию Вамбери,— с лингвистики.

Современные лингвисты относят венгерский язык к так называемой угорской группе финно-угорской ветви уральской семьи языков. Из всех существующих языков планеты он наиболее близок к тому, на котором говорят манси и ханты (в прошлом — вогулы и остяки). Схожи и фонетика, и грамматика. Однако в современном венгерском языке много иноязычных слов, в том числе славянского, германского и тюркского происхождения.

Несомненные тюркские элементы в словарном составе венгерского языка, вероятно, и определили направление поисков, предпринятых Вамбери. Если мы обратимся к первому изданию книги о его путешествии, то найдем там утверждение, что венгерский язык принадлежит к алтайскому корню, но остается не выясненным; относится ли он к финской или татарской его ветви.

«Вопрос этот,— пишет Вамбери,— занимающий нас, венгров, как с научной стороны, так и по особому национальному интересу, был главной побудительной причиной моего путешествия на Восток. Я хотел практическим изучением живых языков в точности узнать степень родства между венгерским языком и турецко-татарскими наречиями — родства, которое я уже увидел сквозь слабое стекло теоретического изучения».

Родство действительно оказалось, но весьма и весьма отдаленное. В такой степени родственны многие языки, взаимообогащающие друг друга. На протяжении долгой своей истории венгры не раз сталкивались с тюркоязычными народами, побуждавшими их к перемещениям по белу свету, к отрыву от прародины.

По принятой многими этнографами гипотезе, общей прародиной древних угорских народов, предков венгров, ханты, манси, было, вероятно, Южное Приуралье. Здесь их начали теснить гунны и авары. Видимо, в середине I тысячелетия нашей эры венгры стали переселяться на юг, в причерноморские степи. Именно тогда оборвалась нить, связывающая их с остальными угорскими народами.

Но и южная степь не стала новой родиной венгров. Здесь у них тоже были беспокойные, воинственные соседи — печенеги и дунайские болгары.

...Тот, кому приходилось бывать в Будапеште, несомненно, знает один из самых крупных монументов вен-

герской столицы. Он стоит на Хёшёк тере — «площади Героев». Это памятник Тысячелетия Венгрии, воздвигнутый в 1896 году.

Перед двумя полукруглыми колоннадами, украшенными статуями, высится монолитный столп. У его подножия — группа всадников. Это легендарный вождь венгерских, или мадьярских, племен Арпад и его сподвижники. Арпад повел свой народ на новые места. Перевалив через Карпаты в 895—896 годах, венгры осели на той территории, которой суждено было стать Венгрией.

Разумеется, и после периода великого переселения народов венгерский язык и культура не развивались совершенно обособленно. Венгры пришли не на пустое место. Там до них обитали славянские и германские племена; позднее в Придунайскую низменность проникали также небольшие группы хазар, печенегов, половцев.

Сформировавшееся венгерское государство в XII веке достигло славы и могущества. А затем — татарское нашествие, тяжелое поражение в решающей битве с турками, развал страны, ненавистные народу Габсбурги...

В те дни, когда Арминий Вамбери, стыдясь дырявых башмаков, впервые предстал перед бароном Этвешем, в венгерском обществе не улеглись вихри, поднятые событиями 1848 года. Выросло национальное самосознание, возник острый интерес к венгерской истории. Возможно, что патриотические чувства повлияли на ход мысли исследователей-лингвистов.

Вспомним: Вамбери упоминал об «особом национальном интересе», толкнувшем его в путь. Ведь даже и много лет спустя после путешествия Вамбери, когда крупнейшая роль финно-угорского элемента в происхождении венгерского народа стала бесспорной, националистически настроенные ученые говорили о некоем воинственном тюркском народе с относительно высокой культурой, поработившем финно-угорский охотничий народ. Видимо, им казалось, что подобная трактовка наиболее отвечает идее «великой Венгрии»: пусть родословная опирается на тюркских завоевателей и покорителей, а робкие, мирные охотники останутся как бы сбоку...

В наши дни венгерские ученые, вооруженные марксистской методологией, далеко продвинулись в познании древней истории своего народа. Они продолжают уточнять все, что связано с прародиной венгров. Весной

1967 года в печати появились, например, сообщения о работах антрополога Тибора Тота. После исследований в Башкирии он отправился в Казахстан, где неожиданно обнаружил несколько десятков семей казахов, уже много поколений называющих себя мадьярами. Может, это какая-то давняя и древняя ветвь правенгров? Впереди — новые поиски и новые открытия...

Но вернемся к Арминию Вамбери.

Люди, которые в начале нашего века зачитывались книгами о его путешествии, были уверены, что их автор давно погиб в какой-то новой, отчаянно дерзкой экспедиции. А он прожил после своих необыкновенных приключений на Востоке еще полсотни лет — до 1913 года, до кануна первой мировой войны. Прожил, навсегда забросив страннический посох. Став уважаемым профессором восточных языков, видным публицистом, он путешествовал эти полвека лишь в удобных экипажах, в купе спальных вагонов, в каютах первого класса.

Но путь, пройденный молодым Арминием Вамбери в лохмотьях дервиша, навсегда остался одним из самых удивительных, самых дерзких маршрутов в истории открытий.



НА ПОРОГЕ НОВОГО МИРА

Мне трудно объяснить, почему Фритьоф Нансен стал одним из героев моего детства.

В школьные годы герои чаще всего приходят из любимых книг. Но первая прочитанная мною книга великого норвежца мне не понравилась. Это была книга о его путешествии в Сибирь. Называлась она «В страну будущего». Там были фотографии нашего Красноярска. На одной из них, снятой с горы от старой часовни, можно было различить даже крышу дома, где мы жили. На других были запечатлены красноярские достопримечательности: плашкоут через Енисей и собор на базарной площади.

Но в книге не оказалось никаких приключений! Описывалось то, что было повседневной жизнью сибиряков, то, что мы видели каждый день. Или о чем мы слышали едва ли не каждый день, потому что Красноярск всегда был связан с Севером: здесь начиналась дорога к океану, по которой и Нансен попал в наш город.

Героем Нансен стал для меня, пожалуй, по рассказам близких. Его приезд в 1913 году оставил глубокий след в

памяти красноярцев. В бедной событиями жизни бывшей Енисейской губернии он мог сравниться разве что с падением тунгусского метеорита. Еще бы, сам Нансен у нас в Красноярске! Тот самый Нансен, который путешествовал к полюсу!

Мать рассказывала, как она встречала Нансена. Мне было тогда два года. Меня оставили с бабушкой. Бабушка долго уговаривала мать не ходить, потому что встречу назначили в двух местах: за городом, у кладбища на горе, где стояли верстовые столбы енисейского тракта, и у почтамта. Мать непременно хотела идти за город, а приехать Нансен должен был только под вечер, вот бабушка и беспокоилась...

Удивительно, как врезалась в память матери эта встреча! Сорок лет спустя, когда я задумал писать повесть о Фритьофе Нансене, она рассказала все до мельчайших подробностей. Для встречи «собрался весь город». День выдался теплый. Все приоделись, как на гулянье в городской сад. Гимназистов старших классов распустили с полдня. В шесть часов вечера начал накрапывать дождь, но никто не расходился, только некоторые укрылись на паперти кладбищенской церкви. Стало темнеть. Тогда разожгли костры. А дождь все льет. Прошло еще сколько-то времени, но сибиряки — народ терпеливый... Наконец галопом мчится казак:

— Едут! Едут!

Тут зажгли факелы возле арки, украшенной еловыми ветками и флагами. Два тарантаса в окружении казаков показались на дороге. От загнанных лошадей валил пар. Нансен был в первом тарантасе.

— Он снял шляпу — она намокла, поля обвисли — и сказал по-русски: «Здравствуйте, господа!» Нансен показался мне ужасно старым: седые, редкие волосы. А я-то помнила его портреты еще по гимназии: белокурый викинг в медвежьей шубе. Очень была разочарована!

В 1931 году я стал работать в геодезической секции Красноярского отделения Географического общества. Там были люди, помнившие выступление Нансена 28 сентября 1913 года в красноярском «общественном собрании». Снимки этого собрания, а также портрет норвежца, сделанный на фоне енисейских рыболовных снастей, висели на стене кабинета нашего ученого секретаря. В тот день

Нансен сделал доклад о том, как, по его мнению, следует развивать судоходство в Карском море.

На торжественном обеде, данном в его честь Географическим обществом, Нансен говорил о сходстве сибиряков и норвежцев, выразил уверенность, что Северный Ледовитый океан в будущем свяжет Сибирь с Норвегией и что успешное плавание «Корректа» к устью Енисея — первое доказательство этого. Он добавил также:

— Будущее Сибири включает в себе, готов я сказать, неограниченные возможности!

Эти слова я прочел позднее в дореволюционной красноярской газете. Начав работу над книгой о великом норвежце, тогда же разыскал я старых своих знакомых и подробно записал их рассказы. Кроме сибиряков, расспрашивал о Нансене встречавшихся с ним москвичей и ленинградцев, главным образом полярников. А в 1956 году мне впервые довелось побывать на его родине, увидеть дом Нансена, своими руками потрогать борт нансеновского «Фрама», ставшего судном-музеем...

После того как повесть «Фритьоф Нансен» уже вышла в свет, представился случай, о котором я давно мечтал, — проехать по крайнему северу Норвегии, обогнуть морем Нордкап как раз в ту пору, когда над ним сияет незаходящее полярное солнце.

Наша маленькая делегация общества «СССР — Норвегия» прилетела в Киркенес, а оттуда, где на рыбачьих ботах, где на парходах, где на машинах, отправилась по городкам и поселкам провинции Финмаркен.

Старики северяне хорошо помнили Нансена. Правда не молодого Нансена, не начальника экспедиции на «Фраме», который бросал якорь в здешних бухтах, а Нансена, объезжавшего Норвегию позднее — во время борьбы за национальную независимость.

В Тромсе нас принимали деятели Арктического общества. Собрались путешественники, старые полярные капитаны, такие молчаливые и неторопливые, что рядом с ними не мудро было почувствовать себя суетливым школьником.

Моя книга о Нансене пошла по рукам. Капитаны безмолвно передавали ее друг другу, кивали головой. Потом один из них сказал, что им, конечно, очень приятно узнать, что в Советском Союзе помнят и ценят Нансена. Однако он хотел бы заметить, что, как видно, художник,

иллюстрировавший книгу, никогда не охотился на белых медведей.

Я с готовностью подтвердил это. Мне указали на некоторые неточности в рисунках. После этого я получил в подарок номера издаваемого Арктическим обществом журнала «Полярная почта» и сборник скандинавских саг. Меня попросили написать в «Полярную почту» о том, как я собирал материал для своей книги.

— Мы знаем, что Фритьоф Хансен в разное время бывал в вашей стране,— сказала пожилая женщина, исполнявшая обязанности секретаря общества (после я узнал, что она полжизни провела на полярных островах).— К сожалению, у нас об этом известно гораздо меньше, чем о его путешествиях в Арктике. А ведь это представляет интерес, не так ли?

Я согласился и подумал про себя, что это верно не только для Норвегии, но и для нас...

В городе Вардё меня познакомили с рыбаком Георгом Габриельсеном. Вардё был тем самым городом, где однажды ранним утром приплывший на шлюпке человек разбудил почтмейстера и протянул ему увесистую пачку телеграмм. Удивленный почтмейстер покосился на странный, явно с чужого плеча, костюм незнакомца, потом увидел подпись под верхней телеграммой и подскочил, словно подброшенный пружиной: перед ним стоял сам Фритьоф Хансен, о котором никто ничего не знал с тех пор, как три года назад «Фрам» ушел во льды.

Почтмейстер давно умер. Я просил Габриельсена хотя бы показать здание, откуда на весь мир разнеслась весть о победе в Арктике. Но он смог лишь привести меня к тому месту, где была почта: во время войны гитлеровцы спалили ее.

Габриельсен хорошо помнил, как Хансен приезжал в Вардё в 1905 году. Тогда спорили о том, должна ли Норвегия, только что разорвавшая унию со Швецией, призвать на трон короля или стать республикой.

Хансен, выступая на площади Вардё, говорил, что гораздо разумнее сохранить традиционную форму правления: скандинавами, мол, всегда управляли короли. А какой-то простодушный рыбак, восторженно созерцавший национального героя, слушал, слушал да вдруг ка-а-к закричит на всю площадь:

— Правильно! Долой короля! Да здравствует Хансен!

Габриельсен пригласил меня к себе на чашку кофе. Он показывал альбом со снимками старого Вардё — такого, каким его видел Нансен, когда вернулся из экспедиции на «Фраме». Рыбак заметил в раздумье, что, может быть, вторая половина жизни Нансена была не менее полезна для людей, чем первая. Да, в молодости его слава гремела по всему свету. Потом в Арктике прославились другие. Северный полюс открыл не Нансен, а Пири, Южный — не Нансен, а Амундсен.

Но многие знаменитые путешественники были только путешественниками, а Нансен до конца своих дней был, кроме того, замечательным ученым и еще более замечательным, даже великим человеком.

Если бы такие люди, как Нансен, стояли во главе государств, убежденно сказал мой собеседник, то не было бы войны, которая опустошила и наш север.

Старый рыбак достал норвежские журналы, вышедшие в 1961 году, к столетию со дня рождения Нансена. Там была статья Тура Хейердала.

Когда Нансен достиг конца своего пути, говорилось в ней, он мог с полным правом сказать, что побеждал без кровопролития и завоевывал не для себя. Он отдавал многое, ничтожно мало получая взамен. Поэтому он пережил время, отведенное ему на жизнь, творя и поныне доброе дело среди живущих; вот почему мы не забываем его.

* * *

Пожалуй, у всех великих путешественников бывали путешествия не столь уж великие.

Обычно о таких путешествиях упоминается мимоходом: «После недолгой поездки в Фергану он смог целиком отдалиться подготовке давно задуманной экспедиции в...» Или: «Работая в Петербурге над отчетом о своей столь блистательно завершенной экспедиции в Нагорную Азию, путешественник по просьбе Географического общества принял короткую экскурсию для...» Или, если вы берете энциклопедический словарь, совсем уж кратко: «Посетил также Барабинскую степь, Приамурье и др.»

Фритьоф Нансен?

Конечно же, легендарный дрейф «Фрама» в 1893—1896 годах. Поход к полюсу вдвоем с Иохансеном. Как же, каждый читал! И кроме того, разумеется, пересечение на лыжах ледяного купола Гренландии.

А еще?

Ну, назовем хотя бы путешествие в Сибирь, в «страну будущего».

А еще?

Боюсь, что не каждый легко и сразу сумеет назвать другие путешествия норвежца. Они скрыты в тени, отбрасываемой величием главного научного подвига — триумфального похода «Фрама», после которого современники писали о Нансене: «Париж лежит у его ног, Берлин стоит во фронт, Петербург празднует, Лондон аплодирует, Нью-Йорк бурлит».

Трудности арктической эпопеи, описанной в книге Фритьофа Нансена ««Фрам» в полярном море», заставляют читателя задуматься: как же этому человеку удалось аккумулировать запасы сил, упорства, терпения, которых с избытком хватило бы на десятерых?

А потом еще: почему «Фрам» позднее был передан другому? Почему за три десятилетия жизни Нансена после его путешествия на «Фраме» планы задуманных им новых больших экспедиций так и остались неосуществленными? И было ли это потерей, если смотреть на вещи более широко, не с точки зрения интересов какой-либо одной области науки?

Попробуем сначала ответить на первый вопрос. Тут, пожалуй, оправдывается достаточно тривиальное, но тем не менее едва ли оспоримое положение о значении воспитания воли, о закалке и тренировке.

Фритьоф Нансен родился в окруженной лесами маленькой усадьбе Стуре-Фрён, неподалеку от Осло, в 1861 году. О его спартанском детстве сохранилось много воспоминаний. Вспоминают, например, как мать, увидев, что Фритьоф засадил глубоко в губу большой рыболовный крючок, спокойно взяла бритву: «Будет больно, но ты сам виноват».

Первые свои лыжи мальчик выстругал из сломанных больших лыж. Он вообще любил мастерить, у него были ловкие, умелые руки. Летом Фритьоф с братом Александром дневал и ночевал в лесу. Поспит в шалаше, а до света — к реке: самый клёв форели. В лес никаких припасов братьям не давали: что поймают, подстрелят, тем и живут.

У меня есть малоизвестная фотография: Фритьоф Нансен — студент. Белокурый, долговязый, в нескладной, глухой куртке с двумя рядами мелких пуговиц, брюки

сильно раздулись в коленках. Это снято в годы его спортивных успехов: чемпион Норвегии по конькам, многократный призер лыжных гонок.

Вовсе не следует думать, что Фритьоф Нансен с юных лет отличался упорством и целеустремленностью в овладении наукой. Уже в старости, выступая однажды перед студентами, он признался, что долго не мог решить проблему, которая рано или поздно встает перед каждым человеком: каково твое место в этом мире?

— У меня была склонность к науке, но к какой именно? Больше всего интересовали физика и химия, но что-то не от меня зависевшее, с чем в то время я не мог справиться, не позволило мне вести усидчивый образ жизни. В один прекрасный день мне пришло в голову, что зоология подойдет лучше всего: она сулила больше приятного, с ней были связаны охота и жизнь среди природы. Поэтому-то я и выбрал зоологию. Позднее то же неосознанное чувство подсказало мне мысль отправиться в арктические моря под предлогом изучения жизни животных полярных районов. Мне было тогда всего двадцать лет, и я отправился. Это был роковой шаг, который увел меня прочь от спокойной жизни ученого.

В арктические моря, в первую свою экспедицию, Нансен ушел на промысловом судне «Викинг». Он вел жизнь зверобоя. Носил жесткую брезентовую робу. Ходил на вылазки за тюленями, стрелял, вытаскивал туши из ледяной воды, свеживал. Валился на койку после непрерывного двенадцатичасового промысла. Бил багром акул. Прославился как неутомимый и бесстрашный охотник за белыми медведями. А помимо всего вел наблюдения по особой программе, разработанной при участии профессора Коллета: льды, течения, погода, места скопления зверя.

Серый кусок плавника, обломок сибирской сосны, найденный на льдине неподалеку от берегов Гренландии, впервые заронил в его голову мысль о морском течении от берегов Сибири в сторону полюса. Родилась еще очень смутная идея использования подобного течения для экспедиции в высокие широты — идея, осуществленная одиннадцать лет спустя «Фрамом».

Когда «Викинг» был затерт льдами, студент просил капитана отпустить его для разведки недалекого гренландского берега — синие льды ледников зачаровали его, неизвестность манила...

Досадую, что мне не удалось побывать в Арендале — маленьком портовом городке на юге Норвегии, куда «Викинг» вернулся с промысла. Зверобои, праздновавшие возвращение в родную гавань, были в сущности первыми норвежцами, по-своему угадавшими, что Хансен далеко пойдет. Они пригласили студента как опытного стрелка в долю и на следующий год.

Позднее, когда Хансен уже прославился, его товарищи по «Викингу» передавали со многими живописными подробностями рассказ, как однажды возле судна появился медведь, здоровенный, башка с чемодан. Хансен выскочил из каюты в свитере, в сандалиях — и в погоню. Медведь — от него, он — за ним. Поскользнулся, упал в ледяную воду. Выкарабкался да как был мокрешенек, так и побежал дальше по льдинам. Медведь в полынью, а Хансен вскочил на льдину, оттолкнулся — и за ним. Внезапно зверь вынырнул из воды и лапой попытался сбросить преследователя. Хансен молниеносно вскинул ружье. Выстрелом в раскрытую пасть он уложил зверя.

После возвращения из экспедиции на «Викинге» Хансен неожиданно получил приглашение занять место научного сотрудника музея в Бергене. В этом городе, где часты прохладные летние дожди, где серые облака постоянно клубятся над горами и залив забит рыбацкими парусниками, непоседливому, почувствовавшему вкус к морским скитаниям молодому человеку пришлось менять привычки и подавлять некоторые склонности: для него начались «годы терпения».

Здесь, в Бергене, Армауэр Хансен, знаменитый открыватель возбудителя проказы, познакомил его с учением Дарвина. Профессор Даниельсон посадил охотника на медведей за микроскоп, заставив изучать мизостом — крохотных морских червей. Загар зверобоя сошел со щек Хансена. Год спустя он писал отцу, что стал «заправским домашним поросенком», но терпеливо трудится над диссертацией.

Иногда Хансен уезжал из Бергена в горы, делал там сумасшедшие переходы на лыжах, спал в снегу. Зачем? Ну мало ли зачем, просто так, чтобы не обрасти жиром...

И вдруг... Можно было представить удивление бергенцев: этот Хансен, получивший золотую медаль за научный труд о мизостомах, Хансен, которого приглашают работать в Англию и Америку и который вот-вот получит

ученую степень доктора, бросает так блистательно начатую научную карьеру и отправляется в Гренландию, чтобы пересечь на лыжах ее ледяной купол, никем еще не исследованный!

Эта дерзкая экспедиция была для Нансена проверкой действительной ценности всего завоеванного смолоду. Она явилась также как бы генеральной репетицией будущего похода к полюсу. Именно во время гренландской эпопеи Нансен за короткое время прошел в необычайно суровых условиях полный курс полярного путешественника.

Судно «Язон», на котором отправился Нансен, подошло к берегам Гренландии в июле тяжелого в ледовом отношении 1888 года.

От черных угрюмых скал корабль отделял пояс движущихся густых льдов. Поднявшись на мачту в «воронье гнездо», Нансен понял: «Язон» не сможет подойти ближе, надо садиться в шлюпки и, лавируя между льдинами, попытаться достигнуть берега.

Внизу, на палубе, Нансена ждали спутники: капитан Отто Свердруп, лейтенант Дитрихсен, парень — золотые руки Кристиансен Трана, лопари Балто и Равна.

Шестеро спустились в шлюпки. Коротко ударила корабельная пушка: прощальный салют. Когда шлюпки удалились от «Язона», мрачные тучи напоззли с далеких береговых ледников. Сильное течение крутило льдины в водоворотах. Всю ночь шестеро работали веслами и баграми, а под утро, когда берег был уже близок, острый ледяной обломок пропорол борт одной из лодок.

Полчаса, понадобившиеся для того, чтобы наложить заплату, оказались поистине роковыми. Берег скрылся в тумане. Нансен велел ставить на льдине палатку, чтобы собраться с силами перед последним рывком. А пока они отдыхали, льдину подхватило сильное течение. Туман помешал им вовремя заметить это. В треске и звоне ломающихся льдин их быстро уносило прочь от намеченного места высадки. Земля уходила за горизонт все дальше и дальше... Так было день и другой, а на третий они оказались у наружной кромки ледяного пояса. За ней, совсем близко, яростно бушевал прибой. Однако в самый драматический момент словно невидимая рука снова втолкнула их льдину в гущу других. Опасность отодвинулась, но не миновала. Они быстро дрейфовали на юг, и стало ясно, что течение может пронести лагерь на льдине мимо юж-

ной оконечности острова. Тогда шлюпки оказались бы в открытом океане.

Лишь на одиннадцатый день дрейф изменил направление, повернул в сторону берега. После жаркой работы веслами лодки с разгона выскочили на гальку.

В сущности план экспедиции был скомкан с самого начала. Они зря потеряли одиннадцать дней короткого полярного лета, а это много, очень много. И предстояло потерять еще немало дней, чтобы подняться вдоль берега к тому месту, где экспедиция покинула борт «Язона» и откуда можно было начать пересечение Гренландии.

Все, кто пытался проникнуть в глубь огромного острова, высаживались на западном побережье: там были поселки. Необычность плана Нансена заключалась в том, чтобы идти с пустынного восточного побережья. Он сразу отрезал возможность отступления, жег за собой мосты. Только вперед! Они должны были либо пересечь Гренландию и выйти на другой берег, к человеческому жилью, либо погибнуть.

Настал день — это было 15 августа 1888 года, — когда, пройдя изрядное расстояние вдоль побережья назад на север, маленькая экспедиция у фиорда Умнивик перегрузила кладь из шлюпок на сани. Люди впряглись в лямки и вступили на материковый лед Гренландии.

В те годы никто не мог сказать, как высок и крут его гигантский купол, изрезан ли он трещинами, метет ли неистовая пурга снег по его поверхности, или там в неподвижности стынет морозный воздух. Некоторые ученые предполагали даже, что где-то внутри острова зеленеют долины, и экспедиции предстояло подтвердить или опровергнуть это.

Люди тащили тяжелые сани вверх по крутому склону. Лед был покрыт рыхлым снегом. В нем увязали лыжи и полозья. Снег маскировал бездонные трещины. Ровный участок ледника казался подарком.

Задержка с началом похода на ледник подточила веру в благополучный исход экспедиции, заставила экономить каждый кусок сушеного промерзшего мяса, каждую каплю топлива. Им не удавалось не только поест вволю, но хотя бы согреться как следует лишней кружкой горячего кофе.

Однажды Нансен отговорил Свердруп от попытки съесть сваренную на льняном масле мазь для сапог. А ко-

гда в другой раз суп из неосторожно задетого кем-то кипятильника разлился по брезентовому полу палатки, его снова слили в котел и без колебаний выхлебали это варево, смешавшееся с талой водой.

Разреженный воздух на высоте почти трех километров над уровнем моря, куда они поднялись, затруднял дыхание. Все злее кусался мороз. На переходах борода примерзала к капюшону, образуя ледяную маску. Даже в палатке, где, прижавшись друг к другу в двух спальных мешках, шестеро людей дыханием согревали воздух, термометр показывал иногда сорок градусов мороза.

Но настал, наконец день, когда сани заметно пошли под уклон. Экспедиция перевалила через вершину ледникового купола. Начался спуск к желанному противоположному берегу. С каждым днем убыстрялся бег саней. И однажды над ледником разнесся крик, нет, не крик, а скорее восторженный вопль:

— Земля! Земля!

Сквозь снежную пелену темнели горные вершины побережья. Великий ледник кончался.

Утром 24 сентября Нансен остановился у обрыва. Внизу была черная влажная земля со слабой зеленью. Полной грудью он вдыхал воздух, пахнувший мокрой травой. Да, они победили!

...Я видел Гренландию только с самолета, летящего из Копенгагена в Нью-Йорк на высоте десяти тысяч метров. Сначала была синь океана. Вдруг что-то белое, еще и еще. Айсберги. И вот их родина: гренландские ледники. Один из них как раз отвалил в подарок океану здоровенный айсберг, вокруг образовалась каша из ледяных обломков. А дальше лед, лед, лед, затуманенный бушующей внизу пургой. Лед на сотни километров. Вечный лед, пустынный, мертвый. Он казался бесконечным даже с борта скоростного реактивного самолета. И трудно было представить, что его могла пересечь, волоча за собой сани, горстка людей...

Прошло три четверти века, прежде чем нашелся человек, дерзнувший пройти по маршруту Нансена. Это был его соотечественник Бьерн Стайб, двадцатичетырехлетний спортсмен и охотник, знающий север. В 1962 году он с молодым полярником Бьерном Реесом вступил на гренландский ледник точно в том месте, где начинал подъем

Нансен. Через тридцать один день путники достигли противоположного берега.

Но, повторив маршрут, Стайб и Реес не повторили подвига.

Нансен шел навстречу неизвестности, они — по выверенному пути.

Им не пришлось пробиваться к Гренландии на лодках сквозь ледовый пояс — полярный корабль высадил их прямо на берег фьорда Ангмасарик, где теперь построен город. Они не поднимались отсюда на веслах к фьорду Умнивик — их доставил туда другой ледакольный корабль.

Выступая в поход, двое знали, что, если они не придут к назначенному сроку на западное побережье, в воздух поднимутся поисковые самолеты. Разумеется, у Стайба и Рееса не было недостатка в отличном провианте. А самое главное — им не нужно было самим впрягаться в сани: шестнадцать ездовых собак поначалу отлично справлялись с этим.

И при всем при том двое пришли к цели с единственной оставшейся в живых собакой, побросав в конце пути все, кроме пакетов с неприкосновенным запасом, медикаментов и фотопленки. Они не один раз были на волосок от гибели. Описание их труднейшего похода помогло лишний раз оценить как неустрашимость Нансена, так и его скромность в описании пути через Гренландию...

Когда экспедиция Нансена вышла на западный берег, к селению Годхоб, там уже проводили последний пароход в Европу. Пришлось зимовать среди эскимосов, и, вначале огорченный, Нансен позднее назвал эту зимовку шестью счастливыми месяцами. Он близко сошелся с аборигенами острова, восхищался их миролюбием, гостеприимством, поразительной приспособляемостью к суровой природе. Он с болью наблюдал, как эскимос, побеждая полярную стихию, в то же время бессилен против алчных пришельцев из Европы, захвативших земли его предков. Побывав в нескольких селениях, Нансен везде видел одно и то же — угасание народа.

В долгие зимние вечера он набрасывал заметки об эскимосах:

«Каждый раз, когда я видел доказательства их страданий и бедствий, которые мы принесли им, остаток справедливости, все же находящийся в большинстве из нас,

будил во мне чувство негодования, и я полон жгучего желания рассказать правду всему миру...»

Весной 1889 года покорители ледяного купола Гренландии отправились на корабле к родным берегам; Нансен увозил набросок будущей книги и ценнейшие материалы наблюдений над природой острова, где находился, по видимому, второй «полюс холода» северного полушария и формировались важные элементы погоды Северной Атлантики и значительных пространств Европы. Поход через ледяной купол, уроки жизни среди опасностей, которые Нансен получил у эскимосов, укрепили в нем уверенность, что ему станет посильным новое, куда более сложное дело в арктической пустыне.

Он еще не знал, как будет называться тот корабль, который поможет ему осуществить план новой экспедиции, но уже знал человека, которому мог бы доверить будущее судно. Молчаливый капитан Отто Свердруп, испытанный в тяжелейших испытаниях гренландского похода, опытный моряк, надежный друг, был единственным, кому Нансен рассказал о своих замыслах.

А четыре года спустя в серый хмурый день «Фрам» покинул украшенную флагами гавань, чтобы вмерзнуть во льды у берегов Сибири и дрейфовать с ними к полюсу. На капитанском мостике рядом с Нансеном встал капитан Свердруп.

Дружбу, зародившуюся на ледяном куполе Гренландии, они пронесли через долгие десятилетия. Свердруп пережил Нансена. Когда весной 1930 года Норвегия хоронила своего национального героя, в сгорбившемся старом человеке, неподвижно стоявшем у гроба, узнали прославленного капитана «Фрама»...

* * *

«Фрам» и сегодня место паломничества как норвежцев, так и гостей Норвегии. Он сохранен для потомства.

Когда я впервые увидел место его последней стоянки, в Осло была весна, неяркая северная весна. Туманы ползли с фьорда, и желтые мигающие огни на повороте к острову Бюгдой призывали к осторожности.

Это --- остров реликвий. Здесь находятся найденные при раскопках корабли викингов. Перемежая торговлю и разбой, они надолго уходили из родных фьордов, и уже в IX веке океан не пугал их. За пятьсот лет до того, как с ка-

равеллы Христофора Колумба увидели берега Америки, викинг Лейф Эрикссон побывал в неведомой стране.

А неподалеку от древних кораблей — еще два музея. Их экспонаты как бы напоминают: дух викингов жив в норвежцах. В одном — бальзовый плот «Кон-Тики», в другом — «Фрам». Корабль стоит под сводами застекленного ангара. «Фрам» поднят из родной стихии. Ни одна льдина не коснется больше борта корабля, ветер никогда не загудит в его спасях. Тяжелые якоря навечно легли на бетонный пол ангара. Башмаки туристов стучат по дубовой палубе. Перед любительскими кинокамерами праздные и самодовольные позируют там, где Нансен провел столько тревожных и счастливых часов.

Мне знакомо тут все. Знакомо по книгам Нансена и Амундсена. И толстая мачта, как бы прораставшая сквозь тесную кают-компанию. И трюм в переплетах балок, с толстыми шпангоутами из лучшего дуба, придавшими необычайную прочность деревянному кораблю. И каюты, каждая со своим забавным названием: «Феникс», «Успокоение старости», «Гранд-отель», «Таинственная обитель», «Вечный покой»...

«Фрам» вернулся из экспедиции к Северному полюсу в 1896 году. В 1910—1912 годах он сослужил службу Руалу Амундсену в экспедиции, завершившейся завоеванием Южного полюса.

А в промежутке между этими датами — связанные с кораблем драматические переживания Нансена, поворот в его судьбе путешественника. В промежутках между теми же датами — многолетнее плавание «Фрама» во льдах под командованием Отто Свердруп, уже без Нансена. И какая несправедливость: эта, так называемая Вторая норвежская полярная экспедиция теперь почти забыта! Она вклинилась между двумя еще более блистательными плаваниями «Фрама» — и оказалась в тени. А ведь, по правде говоря, при других обстоятельствах ее одной было бы достаточно, чтобы прославить корабль. Посудите сами: экспедиция Свердрупа была в плавании целых четыре года, причем в тех высоких широтах северо-западнее Гренландии, где до нее простиралось огромное «белое пятно». С зимовавшего во льдах «Фрама» Свердруп делал дальние вылазки на собачьих упряжках, позволившие достоверно положить на карту около трехсот тысяч квадратных километров. Были открыты новые земли и собраны ценней-

шие научные данные. Коллекции Второй норвежской полярной экспедиции по объему и богатству даже превзошли те, что были собраны во время первого дрейфа «Фрама».

Когда я искал материал о втором, забытом многими походе корабля-легенды, мне предложили пять томов научного отчета! Там был приложен и список команды. Оказалось, что из фрамовских «старичков» во второе плавание отважились пойти только двое: сам капитан Свердруп и простодушный гарпунщик Педер Хендриксен, отец четверых детей.

Зимовка возле Гренландии во многих отношениях была более тяжелой, чем трехлетний дрейф к полюсу. Дважды на корабле вспыхивал пожар. В отличие от первого плавания второе не обошлось без жертв. Не все, кого норвежцы проводили в рейс летом 1898 года, вернулись на «Фраме» обратно в августе 1902 года: двое погибли вдали от родины. Когда много лет спустя обсуждалось, в каком виде «Фрам» должен навсегда остаться в музее — в том ли, каким был во время дрейфа Нансена к полюсу, или в том, каким его переоборудовал Свердруп перед второй экспедицией, — решили: пусть сохраняется переоборудованным. Почему? Потому что вершиной его стойкости, его сопротивляемости сжатиям льдов были признаны зимовки у Гренландии во время Второй норвежской полярной экспедиции.

Впервые попав на Бюгдой, я позавидовал норвежцам. Сколько национальных святынь, подумалось мне, пропало у нас! Много ли реликвий напоминают нам Пржевальского или Седова? А вот норвежцы не пустили свой «Фрам» на слом, и еще многие поколения почувствуют на его палубе дыхание путешествий конца XIX столетия — путешествий без радио и авиации.

Мне захотелось подробнее узнать историю музея «Фрама».

«Фрам» уже изрядно обветшал, когда несколько моряков и полярников образовали комитет по спасению корабля. Душой комитета был Отто Свердруп. Он-то и предложил поднять «Фрам» на сушу, сделать над ним крышу. У Свердрупа были даже кое-какие мысли по поводу того, как осуществить первую часть плана. Неужели, говорил он, несколько тысяч молодых норвежцев откажутся взять-

ся за веревки, чтобы по обычаю добрых старых времен своими руками вытянуть корабль на берег?

Но будущему музею был нужен также участок земли и деньги на постройку здания. Свердруп умер раньше, чем комитету, открывшему сбор пожертвований в Норвегии и за границей, удалось сколотить сколько-нибудь значительную сумму. Шел уже 1932 год, а у комитета, как повествует история музея, «снова возникли большие трудности, бесконечная, никому не нужная переписка, бумажная волокита».

Потом почетное место председателя комитета занял Кнут Рингнес. Это имя не значится среди полярных исследователей, но зато вслед за избранием нового председателя в фонд комитета поступила крупная сумма от известной в Скандинавии пивоваренной фирмы «Рингнес»... Тогда конкурирующая пивоваренная фирма «Фрюденлюнд» предложила деньги, недостающие для покупки участка.

Дальнейшая история музея полна злоключений с проектом, споров с владельцами соседних земельных участков, тщетных попыток собрать деньги на крышу из узорчатой меди, которая увенчала бы строящееся здание. Сбор пожертвований и подарков натурой продолжался до мая 1936 года, когда музей был наконец открыт.

Такова история места последней стоянки «Фрама». Она поучительна, в частности, и в том смысле, что иногда мы, недостаточно зная нравы чужих стран, принимаем плоды упорных многолетних усилий небольшой кучки энтузиастов, опирающихся на частную благотворительность, за проявление мудрой государственной политики сохранения национальных памятников.

* * *

В последние годы советские историки обнаружили новые свидетельства горячего сочувствия, которое экспедиция Нансена в свое время встретила в России.

Русские дипломатические архивы сохранили письмо Нансена, написанное перед отправлением «Фрама». Он просил снабдить экспедицию подробными русскими картами побережья Сибири и Новосибирских островов, подготовить ездовых собак у пролива Югорский Шар, а также выдать документ на случай, если ей придется обращаться за помощью к русскому населению.

Нансену были высланы не только карты, но и подробные описания населенных пунктов побережья. В официальном свидетельстве предлагалось всем местным властям и частным лицам при заходе «Фрама» в российские воды и высадке экипажа на берег «оказывать означенной экспедиции в случае надобности возможное во всем содействии и помощь».

Известно, что американский адмирал Грили публично назвал план Нансена «бессмысленным проектом самоубийства». Русский адмирал Макаров в письме на имя норвежского исследователя, напротив, одобрил идею экспедиции. Он предложил также, если это понадобится, через год после отплытия «Фрама» послать на Землю Франца-Иосифа вспомогательное судно.

Географическое общество пожелало Нансену успеха «в великом предприятии». Известный русский полярный исследователь Эдуард Толль завез на Новосибирские острова, откуда «Фрам» должен был повернуть на север, дополнительные запасы продовольствия. При этом Толль не раз рисковал жизнью. Норвежские газеты писали, что жертвы, принесенные ради Нансена, ярко показывают, с каким участием следит Россия за отважным предприятием сынов Норвегии...

Когда «Фрам» вырвался из ледового плена и начал триумфальное плавание вдоль побережья Норвегии, тот же Толль спешно выехал навстречу, чтобы от лица России приветствовать победителей. В Бергене он участвовал в торжествах в честь «Фрама». Нансен, говоря о тех, кто прокладывал пути в Ледовитом океане, особо упомянул в своей речи братьев Лаптевых, Прончищева и его жену, разделившую с ним неслыханные тяготы полярного похода, лейтенанта Овцына, штурмана Челюскина и других участников Великой Северной экспедиции. Затем он провозгласил тост за Россию и ее мужественных сынов.

Современники не всегда сразу и верно оценивают значение подвига того, кто живет среди них. Нансен же удостоился всемирного признания немедленно по возвращении на родину. Он стал кумиром молодежи, в нем видели героя конца столетия.

Признание было многогранным. Одних восхищала сила духа, доказательства способности современного человека к повторению эпических подвигов предков, других — верность делу научного познания неведомого. Говорили, что

Нансен по существу открыл для мировой науки Северный Ледовитый океан: до него знали только прибрежные арктические моря.

Весь мир хотел видеть и слышать Нансена. Он отправился по городам и странам с лекциями о путешествии.

Весной 1898 года его встречал Петербург. На перроне у норд-экспресса собрались виднейшие ученые страны. Прямо на вокзале, в его парадных комнатах, Нансену был вручен орден Станислава 1-й степени. Несколько дней спустя свою высшую награду, Константиновскую медаль, вручило ему и Географическое общество.

Он выступал с докладами. С ним советовались по поводу планов дальнейших русских полярных исследований. Нансен признал, что способ адмирала Макарова, который предполагает пробиться в Арктику на мощном ледоколе, быть может, откроет новую эру полярных исследований. Он поддержал Толля, грезившего экспедицией для поисков таинственной Земли Санникова.

Вернувшись в Норвегию, Нансен погрузился в груды материалов, собранных экспедицией «Фрама». Все это надо было обработать, осмыслить — труд, который мог занять несколько лет.

Но мировая слава подчас обременительна. Нансена то и дело отвлекали. Составление научного отчета затягивалось. И путями, как бы созданными для него, пошли другие. Увел «Фрам» капитан Свердруп. Толль на «Заре» вошел во льды у побережья Сибири. Улетел к полюсу на воздушном шаре «Орел» швед Андрэ. Возле Шпицбергена «Ермак» адмирала Макарова крушил торосы. Отправился к Антарктиде Роберт Скотт. Никому еще не известный норвежский штурман Руал Амундсен на крохотном суденышке «Иоа» пробирался вдоль северных берегов Америки из Атлантического океана в Тихий.

Некоторым из них Нансен помогал словом и делом. И они уходили навстречу опасностям и лишениям, а он оставался в спокойном доме на берегу фьорда.

Он, Нансен, профессор зоологии и океанографии, делал, конечно, огромное, нужное дело — кто стал бы с этим спорить? Интересы науки, толкая одного во льды, упрямо не пускали туда другого.

Неудовлетворенность, душевная хмурица все чаще овладевали Нансеном. Слава все сильнее тяготила его. Он оживал только на пустынном берегу фьорда и в море. Но

лишь ненадолго ему удалось выйти в рейс на экспедиционном океанографическом судне «Михаэл Сарс» — и снова водоворот событий, на этот раз политических, затянул его.

В 1905 году силы норвежцев окрепли, а терпение истощилось. Они решили открыто выступить против навязанной стране унии со Швецией, любой ценой добиться полной независимости. Мог ли Нансен остаться в стороне от дела, которому как патриот горячо сочувствовал с ранних лет?

И вот он — в гуще борьбы. Пишет статьи во все газеты мира. Выступает перед огромными толпами норвежцев:

— Наше знамя должно развеяться над свободным народом, верящим в свои силы и свое будущее!

— Возьмите руль, Фритьоф Нансен! — кричат ему в ответ.

Он отказывается встать к рулю, отвергая пост премьер-министра. Но вместо того чтобы после окончания научного отчета целиком отдаться подготовке задуманной им новой полярной экспедиции на «Фраме», Нансен, веря, что этого требуют интересы Норвегии, едет послом в Лондон.

«Фрам» стоит без дела. И однажды Руал Амундсен, успешно закончивший полярную экспедицию, приходит к своему учителю...

Точное содержание их разговора неизвестно. Мы знаем лишь, что Амундсен попросил «Фрам», для того чтобы отправиться в такую экспедицию, план которой вынашивал сам Нансен.

Ответ был дан не сразу. Для того и другого решение означало слишком многое. Нансен должен был выбирать, как ему казалось, между долгом перед страной, еще не закрепившей свою независимость, и тем, что с юных лет составляло цель его жизни как исследователя. Он мог бы, конечно, отложить окончательное решение на год-полтора, выждать, пока следом за Россией, первой признавшей независимость Норвегии, это сделают другие великие державы.

Но Нансен никогда не искал половинчатых решений.

— Вы получите «Фрам»! — услышал Амундсен, приехавший за ответом.

Лишь много лет спустя после смерти Нансена из вос-

поминаний его старшей дочери Лив мы узнали, что позднее отец признавался: он ни для кого в жизни не жертвовал столь многим, как для Амундсена. И эта жертва означала в сущности крушение его важных жизненных планов.

...В 1909 году американец Роберт Пири достиг Северного полюса.

В конце 1911 года над Южным поднимает норвежский флаг Руал Амундсен. Вернувшись с триумфом, он говорит о Нансене:

— Без проделанной им работы мы не смогли бы достигнуть Южного полюса. Я понял революционное значение метода Нансена, я воспользовался им для достижения моей цели и одержал победу!

А сам Нансен, отдавший «Фрам» Амундсену, летом 1912 года отправляется на маленькой яхте «Веслеме» со старшим сыном Коре для океанографических исследований севернее Шпицбергена.

Масштабы, увы, несравнимые...

* * *

В 1913 году Нансен, как мы помним, предпринимает путешествие в Сибирь, в «страну будущего».

Видимо, тот давний интерес к России, к русскому народу, который зародился у него еще в годы экспедиции «Фрама» и успешного сотрудничества с русскими учеными, был главной причиной того, что Нансен согласился участвовать в плавании, вся обстановка которого была необычной и непривычной для полярного исследователя.

«Коррект», на палубу которого поднялся Нансен, мало напоминал экспедиционное судно. Это был обыкновенный морской работяга. Его трюмы загрузили бочками немецкого цемента и образцами английских товаров. Снарядило «Коррект» не какое-либо научное учреждение, а «Сибирское акционерное общество пароходства, промышленности и торговли». Оно занималось вывозом сибирского сырья в Европу с помощью английских, норвежских и русских капиталов. Рейс же был затеян для доказательства того, что обыкновенное грузовое судно может пройти северным путем из Норвегии к устью Енисея.

Директор-распорядитель общества Ионас Лид, ловкий делец авантюристического склада, сам отправился на «Корректе». Другими спутниками Нансена оказались русский

дипломат Лорис-Меликов, «патриот, непоколебимо уверенный в превосходстве русской правительственной системы», и городской голова Енисейска депутат Государственной думы Востротин, крупный золотопромышленник, человек, не лишенный некоторого европейского лоска. С помощью этих господ Нансен, не знавший русского языка, должен был узнавать Сибирь.

Чтобы еще яснее определить политические симпатии спутников норвежца, забежим на несколько лет вперед. Мы увидим Востротина в роли руководителя комитета Северного морского пути при «правительстве» Колчака. Мы обнаружим Ионаса Лида мечущимся между Старым и Новым Светом с проектами акционерных обществ, одобряемых, с одной стороны, тем же Колчаком, а с другой -- самим Черчиллем...

Нансен написал впоследствии: «Как и почему, собственно, я попал в это общество, в сущности так и осталось для меня лично загадкой: меня ведь никоим образом нельзя причислить к коммерсантам, и с Сибирью я никогда не имел никакой связи, только проехал однажды вдоль ее северного побережья. Впрочем, я всегда живо интересовался этой необъятной окраиной и не прочь был познакомиться с ней поближе».

Итак, Сибирь показывали Нансену люди, весьма далекие от понимания ее истинной исторической роли и не менее далекие от ее народа. И все же Нансен сумел увидеть в этом поистине удивительном крае то, что в те годы видели лишь очень немногие.

Его тонкие и верные наблюдения о характере льдов в Карском море, о быте северных народов, о природе берегов Енисея, безусловно, ценны и интересны. Но едва ли не больший интерес для нас представляют его взгляды на некоторые общие проблемы Сибири и Дальнего Востока. Это взгляды не только знаменитого путешественника и крупнейшего ученого, но и государственного деятеля, обогащенного дипломатическим опытом.

Напомним сначала общий ход путешествия. «Коррект» в августе 1913 года покинул Тромсе. С таким знатоком льдов, как Нансен, который проходил уже эти воды на «Фраме», судно без больших затруднений продвигалось к цели. На тринадцатый день плавания с мачты из «вороньего гнезда» Нансен увидел очертания острова Диксон, сторожащего вход в Енисей.

Отсюда «Коррект» поднялся вверх по реке до Насоновских островов, где его уже ждали речной пароход «Туханск» и баржи для перегрузки товаров. Таким образом было получено новое убедительное доказательство возможности прямых коммерческих рейсов Европа — Сибирь.

Распрощавшись с торжествующим Лидом, Нансен с остальными спутниками на маленьком суденышке «Омуль» отправился дальше вверх по реке, к Енисейску, чтобы там пересест в тарантасы и по тракту добраться до Красноярска.

Что же особенно интересует Нансена во время длительного плавания по Енисею?

Не проблемы судоходства, не особенности великой реки, даже не богатства Сибири, хотя им путешественник уделяет много места в рассказе о «стране будущего». Нансен пишет: «В предпринятом мною путешествии меня больше всего привлекала возможность поближе познакомиться с сибирскими инородцами».

Этот интерес глубок и целенаправлен. Нетрудно проследить, что при поездке по Сибири Нансен старательно накапливает наблюдения, дополняющие те, которые он сделал много лет назад, живя среди эскимосов Гренландии. Признаваясь в том, что «первобытные народы» всегда сильно интересовали его, он не ограничивается сбором этнографического материала, выходит за рамки лингвистики и антропологии. Мы найдем, например, в путевых енисейских очерках Нансена написанные с большим знанием дела рассуждения о происхождении северных народов, о их прародине. Вся же сумма наблюдений возвращает Нансена к мысли, высказанной им еще после гренландской экспедиции: малокультурные, с точки зрения европейцев, народы сильно страдают и вырождаются от соприкосновения с европейской цивилизацией; европейская цивилизация не может дать таким народам что-либо ценное, напротив, она прививает им потребности и привычки, которые трудно удовлетворить при их образе жизни.

Это положение, сформулированное Нансеном, было лишь частью его более общих критических оценок цивилизации капиталистической Европы. Он путешествовал по Енисею в канун первой мировой войны, книгу о поездке в Сибирь написал в первые военные месяцы и уже тогда, в октябре 1914 года, пришел к выводу, что война «может

привести к полной переоценке жизненных ценностей и принудить старую Европу к составлению нового баланса, о котором мы пока еще не имеем понятия».

Записи Нансена, посвященные положению малых народов Сибири в канун революции,— ценнейшее свидетельство очевидца. Он обвиняет царское правительство, которое, взимая с кочевников высокие подати, решительно ничего не дает «иностранцам»: ни школ, ни врачей, ни дорог. Он видит, что настоящие владыки на севере — «Тит Титычи», бессовестно обманывавшие доверчивых обитателей тундры. Впрочем, это не показалось Нансену чем-то новым или неожиданным. Он замечает, что отношения между сибирскими «иностранцами» и местными купцами весьма напоминают те, что были в Северной Норвегии между рыбаками и скупщиками рыбы.

Нансену много рассказывали о бесчинстве енисейских богатеев, чувствовавших себя маленькими царьками. Один из них, например, рыскал с бандой головорезов по становищам охотников и забирал всю пушнину по грошовой цене, которую назначал сам. У тех, кто сопротивлялся, головорезы попросту отбирали все, что им попадало под руку.

В селе Сумарокове Нансен застал ярмарку. Простодушные таежные охотники приплыли сюда на лодках, чтобы продать пушнину. Местный купец прежде всего напоил их водкой: пьяного легче обмануть.

— Сколько ты должен купцу? — спросили у одного из охотников-кетов.

— Однако, пятьсот рублей, — равнодушно ответил тот.

Не все ли равно, пятьсот или тысячу, или десять тысяч, когда рубль — и то целое сокровище для этого бедняка? Сам шаман, почитаемый колдун кетов, согласился за несколько рублей показать свое колдовство. Убедившись, что деньги не фальшивые, он сунул их в карман (Нансен замечает по этому поводу, что духовенство всех народов и всех времен знало и знает цену звонкой монеты), потом забормотал заклинания и затрясся. Голос его был дик и пронзителен. В общем, это был большой комедант. Но кеты верили своим шаманам и лечились у них от всех болезней.

Глубоко сочувствуя «иностранцам», Нансен отмечает их высокие нравственные качества. По его мнению, ненцы —

развитой народ и в умственном отношении стоят не ниже русского крестьянина. Они гордятся собственной кочевой культурой, ценят вольную жизнь в тундре, где все им знакомо, где в борьбе с суровой природой коренной житель севера выходит победителем.

Проникновенные строки посвящены Нансеном и русскому населению Сибири. Он находит, что многие сибиряки «поражают своим сходством со скандинавами», в особенности с типичными норвежскими рыбаками и крестьянами. Его приятно удивляет приветливость и радушие людей, с которыми ему приходилось встречаться хотя бы мимолетно на заезжих дворах по дороге из Енисейска в Красноярск. Эти люди, конечно, ничего не знали о том, кто их гость, и видели в нем лишь странствующего пожилого человека, спешащего куда-то по своим делам.

...28 сентября 1913 года Нансена восторженно встретил Красноярск, и норвежец поселился в доме купца Гадалова. Этот дом и по сей день сохраняется в неприкосновенности на углу улиц Маркса и Парижской коммуны.

* * *

В разные годы мне довелось несколько раз пройти путем Нансена от Диксона до Красноярска.

В книге «Енисей, река сибирская» я попытался рассказать о переменах на енисейских берегах. За последние годы той же водной дорогой путешествовали многие тысячи туристов. Теперь это совсем просто. Трехпалубные теплоходы с комфортом доставляют желающих туда, куда во времена знакомства Нансена с Сибирью добирались лишь экспедиции.

Не так давно енисейским маршрутом норвежца прошли красноярские журналисты В. Луцет и Г. Симкин. Они, в частности, обратили внимание на то место в книге Нансена, где автор пишет о встрече со старшиной юраков, который жаловался на тяжесть податей. Старшину звали Алио Яптуне из рода Яптуне. Журналисты разыскали сегодняшних представителей того же рода. Оказалось, что Хансута Яптуне — лучший оленевод Севера. Он, как и его отец, как и его дед, живет в тундре. Как отец и дед, Хансута Яптуне большую часть года кочует с оленьими стадами. Но в его бригаде — походная радиостанция. В его поселке — новая больница, новый интернат для ребятшек. И электростанция. И около сотни моторных лодок

для рыбного промысла. И несколько колхозных тракторов...

Летом 1967 года, когда я пошел по Енисею, на этот раз от Красноярска в низовья, моим спутником, как и прежде, была книга, где на обложке — штурвальный, ведущий корабль навстречу солнцу. И я порадовался, что некоторые предположения, высказанные Нансеном полвека назад, не оправдались. Например, вот это:

«Лет через сто, даже через пятьдесят, лесов, наверное, уже не будет, как не будет и шалашей бродячих охотников за пушным зверем. Вся местность превратится в тривиальную плоскость с возделанными полями, такую же скучную, как северонемецкая равнина, но зато способную прокормить миллионы жителей».

Иногда Нансена изображают пророком, верно определившим, что у Сибири — большое будущее. Но ведь и задолго до него были люди, предвидевшие это будущее. Например, Ломоносов. Или Радищев. Что касается Нансена, то он, пытаясь заглядывать вперед, считал главными источниками грядущего благосостояния Сибири не ее богатейшие недра, а ее необъятные пространства, пригодные для земледелия и скотоводства. Вот почему воображение рисовало ему тривиальную плоскость полей, идущую на смену безбрежью таежного океана. В пейзаже будущей Сибири Нансен как-то не находил места заводским трубам или отвалам горных пород возле шахтерских поселков.

И нет в этом ничего удивительного. Норвежец размышлял о будущем, трезво наблюдая реальную Сибирь 1913 года. Вспомним, что писалось об этой огромной окраине в выпущенной тогда «Экономической географии России»:

«Колонизация Сибири была и остается почти исключительно земледельческой... Вывоза преимущественно сырые продукты в Европейскую Россию и получая оттуда готовые изделия, имея редкое, малокультурное, частью даже кочевое население, разбросанное на громадных пространствах тайги и степей, Сибирь по отношению к Европейской России является типичной колонией».

Это широко распространенное мнение было известно Нансену. В ту пору норвежец не мог, естественно, предполагать, что всего несколько лет спустя революция развяжет в России титанические преобразующие силы, по новому предопределит и судьбы Сибири. Лишь однажды

смутное предчувствие каких-то важных перемен коснулось Нансена. Это было при встрече в низовьях Енисея со ссыльным рабочим, могучим, спокойным, зорким, в синих глазах которого читалась то дерзость, то мечтательность. И Нансен спрашивает себя: что привязывает этого ссыльного к жизни, что придает ей ценность? Быть может, он полюбил одиночество? Или его синие, мечтательные глаза видят что-то в будущем? Что-то такое, ради чего стоит жить и страдать?

...Можно сегодня идти по следам Нансена, листая страницу за страницей его енисейские дневники, и сравнивать, что было и что стало.

Запись 24 августа 1913 года: пустынный и безлюдный остров Диксон, непуганые песцы и олени. Теперь на Диксоне — порт, центр морских операций, большой поселок на стыке Северного морского пути и енисейской транспортной трассы.

5 сентября, село Дудинка: запись о том, что в девятиста километрах от села есть богатые залежи угля, к правильной разработке которых еще не приступили. Теперь Дудинка — город, центр процветающего Таймырского национального округа бывших «инородцев», и железная дорога связывает его с промышленными гигантами Норильска, построенными на базе тех месторождений, которые заинтересовали Нансена.

7 сентября: запись упоминает о низких скалистых кряжах, возвышающихся против села Игарского. Морские корабли под флагами многих стран мира приходят теперь за сибирским лесом в морской порт Игарку.

Так можно идти по Енисею день за днем, километр за километром, убеждаясь: если что на великой сибирской реке и осталось неизменным с тех пор, как здесь побывал Нансен, так это бледное северное небо да бескрайность водных просторов. Но уже и водных просторов коснулись перемены, уже разлилось новое море за гигантской плотинной Красноярской ГЭС, а его регулирующее влияние прослеживается далеко вниз по реке.

Право, «тривиальность» и «Сибирь» — понятия несовместимые! Да, охотники переселились из шалашей в стандартные домики, однако новое их жилище по-прежнему окружено зеленым таежным океаном. Он отступил перед пашней, вчерашняя целина желтеет спелой пшеницей по увалам, но тайгу не свели на нет, от нее берут лишь

столько, сколько нужно. Правда, нужно много — и крупнейшие в стране лесные комбинаты поднимаются на берегах Енисея.

Если попытаться нарисовать обобщенный пейзаж енисейских берегов сегодня, полвека спустя после путешествия Нансена, то главным в нем будут приметы индустриального края. Плынешь меж скалистых круч, кажется сохранившихся в первозданной дикости со времен Ермака, и вдруг за поворотом — провода над рекой, мачты высоковольтной линии, рудный карьер, пыль над минскими самосвалами и белый пассажирский дизель-электроход, принимающий у дебаркадера пассажиров, жителей заводского поселка, который еще не успели нанести на карту...

В Красноярске я поднимался на ту гору со старой часовней, откуда Нансен любовался городом. Снимок, который он сделал тогда, был со мной.

Я пытался сличать. Тщетная попытка! От небольшого городка, который запечатлел Нансен, сохранилась лишь Покровская церковь, признанная памятником архитектуры, да правильная сетка улиц, да еще зеленый прямоугольник городского сада. Вокруг старого городского ядра, заняв все окрестные горы, застроился индустриальный Большой Красноярск. Его заречная часть, где во времена Нансена стояли в степи три желтых переселенческих барака, далеко превосходила прежний город. Всюду, куда хватал глаз, поднимались заводские трубы и легкая дымка висела над далеким заречным хребтом, на который тоже поднимались городские кварталы.

* * *

Плавание Нансена по Енисею было лишь этапом его огромного сибирского маршрута.

Из Красноярска Нансен по железной дороге отправился на Дальний Восток. Он проехал через некоторые районы Китая, побывал затем во Владивостоке, Хабаровске, в Уссурийском крае. От Тихого океана Нансен снова пересек всю Сибирь, перевалил Урал и закончил путь в Петербурге.

«Страна будущего» — такова квинтэссенция сибирских и дальневосточных впечатлений Нансена. Такое убеждение складывалось у него не под влиянием минуты и, кстати сказать, даже вопреки взглядам некоторых господ, с которыми ему приходилось встречаться во время путеше-

ствия. На обратном пути, например, его соседом по вагону оказался один из членов Государственной думы, кадет Родичев, только что проехавший по всей сибирской железной дороге. Нансен пишет, что этого известного тогда политического деятеля разочаровала и Сибирь, и сибиряки. Население показалось ему «лишенным предприимчивости и будущности».

Нансен же, напротив, по собственному признанию, «полюбил эту огромную страну, раскинувшуюся вширь и вдаль, как море, от Урала до Тихого океана...». Он отмечает, что новые города растут в Сибири с быстротой, не уступающей американской.

«Богатейшая страна, богатейшие перспективы!» — восклицает он. По его мнению, пространства Сибири таят «блестящие возможности и только ждут приложения творческих сил человека». В доказательство того, что, безусловно, стоит по-настоящему потрудиться над развитием Сибири, Нансен дает впечатляющий обзор ее природных богатств.

Он критикует распространенный в Европе взгляд о неспособности русских к продолжительной, упорной созидательной работе по освоению земель Сибири и Дальнего Востока. Дело тормозилось политикой правительства, которое долго смотрело на эти края лишь как на место ссылки «нежелательных и беспокойных элементов». Достаточно было на какое-то время изменить эту политику — и площадь пашни увеличилась вдвое-втрое, а вывоз местных продуктов так возрос, что существующие пути сообщения сразу оказались забиты грузами! «Таким образом немало девственной земли поступает ежегодно в пользование человечества», продолжает Нансен и добавляет, что всего за пять лет на новые освоенные земельные участки осело столько людей, сколько вообще живет в Норвегии.

Сибирь, говорит он, представляет естественное продолжение России, часть той же родины, «которая может дать в своих необозримых степях приют многим миллионам славян».

И Нансен так оценивает в общеисторическом масштабе освоение Сибири и Дальнего Востока: «Русский народ выполняет великую задачу, заселяя и культивируя эти огромные земельные пространства на пользу человечества».

Нансен не разделяет распространенного тогда взгляда о том, что ссыльные «испортили» коренное население Сибири: ведь, пишет он, большинство ссыльных были политическими преступниками, «иначе говоря, людьми, пострадавшими за свои убеждения и часто лучшими элементами русского народа». Местное смешанное население весьма даровито, и не его вина, что способности не получают должного приложения для развития края. Но, проникательно говорит Нансен о стране за Уралом, «настанет время — она проснется, проявятся скрытые силы, и мы услышим новое слово и от Сибири; у нее есть свое будущее, в этом не может быть никакого сомнения».

Последуем, однако, хотя бы некоторое время за поездом, уносящим Нансена из Красноярска на восток в конце сентября 1913 года. Об этом этапе сибирского путешествия норвежца вспоминают весьма редко. Не потому ли, что он описан без тех живописных подробностей, какие, по мнению Нансена, делали жизнь в приенисейской тайге не менее фантастичной, чем жизнь девственных лесов Америки с могиканами и делаварами?

В туманный день сибирский экспресс обогнул Байкал. Вагоны то и дело ныряли в туннели, и горьковатый дым пропикал через закрытые окна. Потом поезд миновал Верхнеудинск, Петровские железные рудники, где когда-то томились декабристы, столицу Забайкалья — степной город Читу. После станции Карымской экспресс повернул к границе, к Китайско-Восточной железной дороге.

«Итак,— записал Нансен,— мы очутились в Китае, в Небесной империи (границу переехали ночью), но небесного, по правде сказать, что-то было мало заметно. Когда я сегодня рано утром открыл окно, впечатление получилось престранное: вокруг бурая волнистая степь с низкими оголенными холмами. Не будь травы, подумал бы, что это пустыня Гоби. Нигде ни признака человеческих поселений...»

Через некоторое время, впрочем, появились доказательства обитаемости страны — зеленеющие поля. Ее слабая населенность казалась тем более странной, что Нансен видел вокруг тучную, черную землю. «Когда-нибудь,— пишет Нансен об этой части Китая,— без сомнения, придет пора, что эти огромные степные пространства будут обработаны и населены людьми, а пока отрадно созерцать

такие нетронутые запасы земли. Все-таки, значит, еще есть и на нашей маленькой планете место для людей!»

Возле станции Пограничной поезд снова пересек границу, направляясь к Владивостоку. Этот город, расположенный на редкость красиво, напомнил Нансену Неаполь.

Из Владивостока, от берегов Тихого океана, маршрут Нансена повернул на 180 градусов. Но, возвращаясь теперь через всю страну, он старался всюду, где можно, проехать по какому-либо другому, новому пути.

В Хабаровске Нансен познакомился с путешественником Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым, который знал Приморье и его обитателей как никто другой. Показывая гостю экспонаты музея, изделия эвенков, гиляков, удэгейцев, Арсеньев говорил, что нигде не встречал столько верности, преданности и прямодушия, как у этих маленьких народов. Он увлекательно рассказывал об умении удэгейцев читать по следам жизнь леса.

Не нашла ли тайга в лице Арсеньева своего Фенимора Купера?

В одном из залов музея Нансен, к большому своему изумлению, увидел... свои гренландские сани! Форма полозьев, ремни, распорки — все точь-в-точь. Но сани, выставленные в музее, сделали кочевники Приморья, разумеется, никогда не слышавшие ни о Нансене, ни о Гренландии, ни о знаменитых нансеновских экспедиционных санях...

Где на поезде, где на дрезине, где на автомобиле, а местами и на бойкой тройке, пробирался Нансен по трассе достраивавшейся Амурской дороги. Только от реки Буреи, от еще безымянной станции, начинался уже непрерывный рельсовый путь на запад. Железнодорожники, встречавшие Нансена, называли эту станцию его именем.

В конце октября 1913 года Нансен был в Петербурге.

Он узнал, что в России его поездке придавалось большое значение. Хотя и до плаванья «Корректа» из 120 судов, ходивших в разные годы к устью Оби и Енисея, 95 благополучно достигли цели, многие по-прежнему считали невозможным постоянное сообщение через Карское море. Теперь ждали, что скажет Нансен. Он выступил перед трехтысячной аудиторией.

— То, что служит предметом моего доклада, имеет для вас, русских, громадное значение, — начал Нансен. — Путь, которым прошел «Коррект», должен дать дешевый выход

к морю колоссальным богатствам Сибири. Этот путь открыт не нами, мы только прошли им. Честь и слава открытия его, как и многочисленные исследования на его протяжении, принадлежат всецело вам, русским.

Свой доклад Нансен закончил вдохновенными словами:

— Я вижу картину, которая откроется в недалеком будущем среди вечных снегов и льда. Небольшой отряд аэропланов парит в воздухе. От воздушных разведчиков не укрывается малейшее движение льдов. Сведения, добытые аэропланами, передаются радиостанциями. Пользуясь ими, смело идут корабли к Оби и Енисею через Карское море, которым еще недавно пугали моряков. Да, это пока еще фантазия. Но я верю, что послушное гению человека Карское море станет таким же судоходным, как любое из морей земного шара. Только поменьше сомнений, побольше энергии и доброй воли довести дело до конца!

* * *

Сибирское путешествие имело для Нансена более важные последствия, чем он мог предполагать, отправляясь в рейс на «Корректе». Нансен ближе узнал народ России. Его по-настоящему заинтересовала Азия. Заинтересовала настолько, что он стал разрабатывать план этнографической экспедиции на Восток. В воспоминаниях Лив Нансен рассказывается об этой перемене интересов ее отца, на рабочем столе которого появились труды Пржевальского, Свена Гедина, Козлова.

Новой экспедиции помешала мировая война. Уже в предисловии к книге «В страну будущего», вышедшей через два месяца после начала войны, когда многие деятели, в том числе и социал-демократы, поддались шовинистическому угару, Нансен осудил взаимное истребление народов Европы.

Выступая за сохранение нейтралитета Норвегии, предупреждая, что последствия войны неизбежно и тяжело скажутся на норвежском народе, Нансен снова активно втягивается в политическую жизнь. К концу войны, после усиления нападений немецких подводных лодок на суда нейтральных стран, для невоюющей Норвегии действительно приходят трудные времена. Норвежцы оказываются без топлива, без продовольствия. Нансен возвращается на поприще дипломатии. Ему поручается жизненно важ-

ная миссия: отправиться за океан и добиться помощи от Соединенных Штатов.

В Америке и застает его весть о революции в России. Застает врасплох, смысл событий ему не ясен. Но то, что новая Россия вышла из войны, кажется Нансену хорошим признаком.

Его решение самому поехать в Москву для переговоров с большевиками об обмене пленными вызывает настоящую сенсацию. Нансена отговаривают, но он едет. Он хочет своими глазами увидеть, что же происходит в России.

Вернувшись, Нансен скупом рассказывает о своих впечатлениях. Но позднее, в заключительном отчете о возвращении на родину четырехсот сорока семи тысяч военнопленных, он подчеркивает, что советские власти с самого начала полностью выполняли свои обязательства.

Нансен осуждает интервенцию против Советской России. Нужна и оправдана, говорит он, лишь одна интервенция: против голода и болезней!

Трагическая весна 1921 года. Небывалая засуха в Поволжье. Черная, спаленная солнцем земля. Заколоченные избы. Голод в главной житнице России, разоренной войной и интервенцией.

Нансен получает телеграмму Международного Красного Креста: его просят принять пост верховного комиссара для оказания помощи голодающим Поволжья. Два дня он не дает ответа, в мрачном раздумье отсиживаясь в рабочей комнате, на стенах которой теперь развешаны карты Центральной Азии.

Он знает, что, согласившись, должен снова — в который раз! — отказаться от того, что ему дорого. Но восемь дней спустя Нансен уже встречается с заместителем народного комиссара по иностранным делам М. М. Литвиновым.

Второе путешествие великого норвежца в рождающийся в муках новый мир продолжается недолго.

От Нансена ждут осуждения большевистского режима. Но корреспондент «Дейли кроникл», первым встретивший его по возвращении из Москвы и задавший вопрос о «красной опасности», вынужден сообщить обескураживающую новость:

«Нансен выразил уверенность, что в настоящее время для России невозможно какое-либо другое правительство, кроме Советского, что Ленин является выдающейся лич-

ностью и что в России не делается никаких приготовлений к войне».

Вскоре Нансен поднимается на трибуну Лиги наций и произносит знаменитую, полную гнева и мольбы речь о голоде в Поволжье.

— От двадцати до тридцати миллионов людей — под угрозой голода и смерти, — говорит он. — Все, что нужно для их спасения, находится от них только за несколько сот миль.

Нансен рассказывает о кампании лжи и клеветы, начатой против него. Он приводит измышления газет о поездках с продовольствием, якобы разграбленных Красной Армией, о том, что капитан Свердруп везет на кораблях оружие большевикам, тогда как на самом деле его друг взялся доставить в Сибирь сельскохозяйственные машины.

— Я знаю подоплеку этой кампании лжи, — продолжает Нансен. — Боятся, что если помощь, которую я предлагаю, будет оказана, то усилится Советское правительство... Но разве есть на этом собрании человек, который посмел бы сказать, что лучше гибель двадцати миллионов человек, чем помощь Советскому правительству?.. Я убежден, что народные массы Европы принудят правительства изменить свои решения!.. С этого места я обращаюсь к правительствам, пародам, ко всему миру и зову на помощь! Спешите с помощью, пока не будет чересчур поздно!

Нансен получает отказ. Лига наций решает остаться просто советницей во всем, что связано с помощью голодающим в России. Нансен сам отправляется в Поволжье.

По зимним дорогам он на старом автомобиле объезжает деревни Самарской и Саратовской губерний. Видит мечущихся в тифу. Видит оголенные стропила изб: солому с крыш давно съели. Видит сирот в детских домах: опухшие животы, бессильные тонкие руки, изгрызенные с голоду.

В метельную стужу автомобиль останавливается у околицы одной из деревень. Нансена обступают люди-скелеты. Женщина с безумным лицом качает на руках трупик ребенка и что-то быстро-быстро шепчет. Другой малыш жмется к шубе Нансена: «Дядь, хлеба! Хоть корочку, дяденька, миленький».

И голодные видят, как высокий нерусский человек, который должен был привезти им хлеб, плачет. Плачет,

неловко вытирая лицо рукавом шубы. Потом бросается к автомобилю. Он должен рассказать об этом всему миру!

Нансен, Нансен, Нансен! Это имя не сходит со страниц газет, как в далекие годы возвращения «Фрама». Но теперь его нередко называют с раздражением, с насмешкой, даже с угрозой. Нансен неутомим. Он всегда говорил, что любовь к людям требует действия. Его видят во всех европейских столицах. Он стучит в чугунные сердца. Он требует, просит, настаивает. Он встречает сочувствие и поддержку многих тысяч простых людей и слышит равнодушные отказы власть имущих.

Советское правительство направляет в Поволжье хлеб из других частей страны. Оно продает картины из музейных запасников и конфискует за века осевшее в церквях и монастырях золото, чтобы оплатить зарубежные поставки. Рабочие и крестьяне всего мира собирают деньги голодающим братьям по классу.

И пусть скуден еще тот ручеек зерна, который на первых порах удастся направить в Поволжье «Организации Нансена», но великий норвежец верит, что ему удастся сделать больше, что он должен сделать больше и не отступит, пока не сделает все, что в его силах.

* * *

Большому путешествию в страну льдов, задуманному Нансеном в последние годы жизни, помешала смерть.

Последним же его практически осуществленным значительным путешествием была поездка на Кавказ и Волгу. За несколько месяцев до смерти он работал над книгой об этом путешествии и запрашивал советских коллег относительно трудов, посвященных волжскому рыбному хозяйству. «Мне очень хочется дать правильные сведения о Волге», — писал он при этом.

Зарубежные биографы Нансена уделяют его кавказскому путешествию не так уж много строк. Однако при розысках некоторых архивных материалов и чтений старых газет мне показалось, что Нансен придавал этой своей поездке больше значения, чем обычно принято думать.

Путешествие Нансена на Кавказ было связано с поручением Лиги наций, долго и бесплодно обсуждавшей «армянский вопрос».

За этим «вопросом» скрывалась национальная трагедия. Давно начатые турецкими реакционерами гонения на

армян, живших в Турции, несколько раз приводили к кровавым погромам. Особенно страшная резня произошла в 1915 году. Уцелевших от истребления армян турецкие террористы выдворяли из страны. Путь изгнанников был усеян трупами. Из Эрзерума вышло девять тысяч армян; в живых из них остались немногие.

Армянские беженцы рассеялись по свету. Лишенные родины, крова, работы, они страшно бедствовали. Нансен не раз выступал в Лиге с тщетными призывами о помощи скитальцам. Многие из них хотели бы переселиться на земли Советской Армении, но, руководствуясь политическими мотивами, Лига отказывалась содействовать им. Долгие пустословные дебаты закончились обращением к Нансену: пусть он сам отправится на Кавказ и убедится, что там армянским переселенцам нечего делать и что надо искать другие пути решения проблемы, например расселять армян на какой-либо подмандатной территории.

По свидетельству одного норвежского дипломата, Нансен, отправляясь на Кавказ, был настроен довольно скептически. Ему говорили, что в Советской Армении царит разруха, что на диких и бесплодных землях переселенцев ждет голод и некоторое время спустя Лиге снова придется думать об их судьбе.

14 июня 1925 года Нансен высадился в Батуми с парохода «Тавда». С ним были три эксперта и секретарь миссии Квислинг.

Квислинг?! Уж не тот ли Квислинг, который позднее стал фашистом, предал свой народ и имя которого стало нарицательным для изменников? Он самый! Еще в те годы Нансен относился к нему с некоторым недоверием и говорил, что никогда не может сказать, как поступит Квислинг, если на минуту исчезнет с глаз, выйдя хотя бы в другую комнату...

Из Батуми Нансен отправился в Тбилиси. Встретившим его корреспондентам он сказал, что чрезвычайно рад снова посетить Советский Союз. После недавнего приезда в Россию в 1923 году, когда он видел начало возрождения страны и побывал в ее столице, а также в Харькове, он намерен теперь посетить Армению, Грузию, Дагестан.

— Правда ли, господин Нансен, — спросили его, — что вы снова собираетесь на полюс?

— Не на полюс, а для исследования неведомых про-

странств вблизи него,— поправил Нансен.— Но говорить об этом подробнее пока преждевременно.

Побывав в Тбилисской обсерватории, ботаническом саду и на стройке гидростанции, Нансен выехал в Армению.

Он пробыл там две недели. Его видели на торжествах по поводу пуска Ширакского оросительного канала. Он побывал на археологических раскопках. Профессора университета рассказывали ему о выдающихся памятниках национальной культуры, о рукописях древних хранилищ. На память от работниц текстильной фабрики он получил вышитое их руками полотенце. В рабочем клубе для Нансена устроили смотр молодых талантов. На автомобиле он ездил по засушливой Сардарабадской степи и знакомился с проектом ее орошения. В его честь был устроен народный праздник в Ереване, который начался исполнением квартета Грига.

Нансен совещался с государственными деятелями в Закавказском Совнаркоме. Он сказал, что, по его сведениям, около ста тысяч армянских беженцев хотели бы найти на Кавказе свою вторую родину. Если они получают здесь землю, то он надеется выхлопотать через Лигу наций кредиты на их переезд и обустройство домом.

Гость поблагодарил за то, что его миссии дали возможность ознакомиться со всем, представляющим для нее интерес.

— Я поражен тем, что правительство сумело в такой короткий срок достичь столь большого размаха во всех областях сельского хозяйства и промышленности,— сказал он при прощании.

По Военно-Грузинской дороге Нансен проехал во Владикавказ, а оттуда — в Дагестан, где за пять дней побывал на рыбных промыслах, текстильной фабрике, строительстве крупного стекольного завода «Дагестанские огни» и на воскреснике по борьбе с саранчой.

В середине июля пароход «Память Ильича» доставил гостя в Астрахань. Этот оживленный портовый город поразил его пестрой, разноязыкой толпой, знаменитым рыбным базаром. Нансену рассказывали, как большевики учатся торговать, повели в Госбанк, чтобы ознакомиться с системой советского банковского кредита.

На пароходе «Спартак», комфортабельном, с роскошными каютами, с салоном, где под потолком висела хру-

стальная люстра, Нансен отправился из Астрахани вверх по Волге. В Саратове многие помнили норвежца по голодному 1921 году. Он встречал старых знакомых. Его узнавали на улицах, подходили, жали руку, благодарили. Студенты университета — рабочие парни, участники гражданской войны — встретили Нансена восторженной овацией.

Нансен отовсюду получал телеграммы: его приглашали посетить многие города страны. Норвежца ждали в Харькове, в Киеве. Ему перевели трогательное письмо от осиротевших во время голода детей, воспитывавшихся в трудовой коммуне. Однако он должен был торопиться в Москву.

Толпы людей собрались на вокзале и возле столичной гостиницы «Савой», где остановился норвежец. Делегация опытной московской школы имени Нансена преподнесла ему букет и альбом фотографий. В Москве Нансен прежде всего встретился со своим старым знакомым, Георгием Васильевичем Чичериным. Они быстро нашли общий язык при переговорах об армянских беженцах.

Журналисты спрашивали Нансена о том, какое впечатление произвело на него Нижнее Поволжье. Он ответил, что нашел всюду колоссальные изменения к лучшему. В Поволжье проведена поистине огромная восстановительная работа. А о Москве уже нечего и говорить: созидательная жизнь бьет здесь ключом.

Конечно, Нансена снова спрашивали о путешествии к полюсу. Он сказал, что вел в Советской стране переговоры также и по этому поводу, поскольку новая его полярная экспедиция будет, вероятно, воздушной и в ней примут участие советские ученые.

Нансен покинул Советский Союз в приподнятом настроении. Вскоре Лига наций услышала его речь:

— Единственное место, где в настоящее время можно устроить несчастных армянских беженцев, — это Советская Армения. Здесь несколько лет назад царили разруха, нищета и голод. Теперь я видел, что заботами Советского правительства в Армении установлены мир и порядок.

Вероятно, Нансен надеялся, что после его поездки дело, наконец, сдвинется с места. Ничуть не бывало! Тщетно хлопотал он о займе для переселения армянских эмигрантов на Кавказ — Лига отказала в помощи. Он обратился к Черчиллю — снова отказ. Не сдавшись, поехал

в Америку, намереваясь воззвать к частной благотворительности.

Три года подряд Нансен выступает в Лиге, умоляя положить конец трагедии армян-эмигрантов. Он выпускает книгу «Обманутый народ» с подзаголовком «Воззвание к совести Запада». И все это кончается тем, что в сентябре 1928 года Лига формально выражает пожелание, чтобы г-н Нансен не беспокоил больше делегатов армянским вопросом.

Дипломат Рене Ристельхюбер, оставивший воспоминания о деятельности Нансена в Лиге наций, считает, что это было самое жестокое поражение Нансена-гуманиста...

* * *

На окраине Осло, среди старых сосен — «Пульхегда», дом, построенный Нансеном вскоре после возвращения из экспедиции на «Фраме».

По ступенькам «Пульхегды» весной 1930 года на руках вынесли останки великого сына Норвегии. 17 мая гроб был выставлен на открытой колоннаде здания университета Осло. Десятки тысяч людей, сняв шапки, молча стояли в ближайших улицах. Мимо гроба шли школьники. 17 мая — день норвежской конституции, и по традиции дети всегда открывали шествие...

В 12 часов 45 минут во всей стране были приспущены флаги. В час дня глухо ударила пушка крепости Акерхус — той старой крепости, которая салютовала Нансену при возвращении из его знаменитых экспедиций. После выстрела на две минуты над страной воцарилась абсолютная тишина.

Четыре серые лошади медленно потянули катафалк по улицам. За гробом шли пятьдесят тысяч человек. Гроб был покрыт норвежским национальным флагом, который Нансен держал выше и носил дальше, чем кто-либо другой из его соотечественников.

Урна с прахом вернулась в «Пульхегду». Простая могильная плита появилась на лужайке перед домом.

В этом доме все оставлено в неприкосновенности — так, как было утром 13 мая 1930 года, когда Нансен, сидя в плетеном кресле на веранде, вдруг уронил голову на грудь и вздохнул последний раз в жизни. Все оставлено в неприкосновенности, только с одеяла широкой кровати, где Нансен провел дни болезни, убраны синие карты по-

лярных стран и чертежи дирижабля, на котором почти семидесятилетний Нансен собирался лететь во главе экспедиции международного общества «Аэроарктик». План экспедиции был окончательно разработан на конференции в Ленинграде. Под руководством Нансепа дирижабль должен был не только пролететь над полюсом и «полюсом относительной недоступности», но и высадить на льды в сердце Арктики группу ученых. Полет намечался на лето 1930 года...

В рабочем кабинете Нансена нет и следа музейного холодного порядка. Кажется, хозяин отлучился куда-то на минуту, оставив на громадном, из некрашенной сосны сработанном столе книги, рукописи, атласы. Должно быть, он был занят какими-то расчетами — вон счетная линейка. И тут же, на боковом столике, очень странная машина. Не сразу даже сообразишь, каково ее назначение: насколько не похожа она на наши современные пишущие машинки.

Здесь, в кабинете, книги Нансена, переведенные на десятки языков. Среди них тоненькая книжка «Россия и мир», изданная в 1923 году, в которой он писал: «Не может быть никаких сомнений в том, что русскому народу предстоит великое будущее».

В этом кабинете диплом о присуждении Фритьофу Нансену Нобелевской премии мира; большую часть ее он истратил на покупку машин для двух сельскохозяйственных опытных станций в Советском Союзе. Тут же дипломы множества академий и научных обществ, тут и удостоверение, выданное Московским Советом своему почетному члену — Фритьофу Нансену.

И здесь же кожаная папка. В ней грамота, по предложению М. И. Калинина посланная Нансену IX Всероссийским съездом Советов с выражением глубочайшей признательности от имени миллионов трудящегося населения РСФСР за благородные усилия спасти гибнущих крестьян Поволжья.

Грамота адресована «гражданину Фритьофу Нансену».

Фритьоф Нансен... Гражданин Нансен... Голодная и холодная Москва двадцать первого года обещала ему и от нас с вами:

«Русский народ сохранит в своей памяти имя великого ученого, исследователя и гражданина Фритьофа Нансена!»



ПРИЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОФЕССОРА ВАВИЛОВА

— Он гений, и мы не сознаем этого только потому, что он наш современник.

Так говорил о Николае Ивановиче Вавилове академик Прянишников.

В 1916 году Вавилов, которому не было еще и тридцати лет, выступил на годичном собрании Русского Ботанического общества с докладом, в котором развивал новый взгляд на происхождение ржи. Доклад заинтересовал ботаников смелостью и оригинальностью суждений, а обычно очень сдержанный в оценках журнал «Природа» назвал его «заслуживающим полного внимания».

Прошло четыре года — и тридцатитрехлетний профессор Вавилов на съезде селекционеров в Саратове прочитал сообщение об открытом им законе гомологических рядов. Делегаты бурно аплодировали ему, и один из присутствовавших воскликнул:

— Биологи приветствуют своего Менделеева!

Событие не затерялось в хронике бурного 1920 года, вышло за пределы Поволжья. Сохранилась телеграмма из Саратова в Москву, в Совнарком, Луначарскому, где говорится об исключительном научном и практическом значении теории Вавилова, представляющей собой крупнейшее событие в мировой биологической науке.

Летом 1927 года А. М. Горький получил в Сорренто «Карту земледелия Советского Союза» и несколько книг, изданных Институтом прикладной ботаники и новых культур. Великий писатель прочитал труд профессора Вавилова «Центры происхождения культурных растений» и его доклад о законе гомологических рядов. «Как все это талантливо, как значительно!» — написал Горький после ознакомления с работами ученого.

Прошло еще некоторое время — и молодой академик Вавилов становится во главе крупнейших научных организаций страны — Института опытной агрономии, Института генетики, получившего всемирную известность Всесоюзного института растениеводства. Его утвердили также президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина.

Когда многолетний бессменный президент Географического общества Ю. М. Шокальский, достигнув весьма преклонного возраста, стал искать человека, который мог бы заменить его на важном посту, свой выбор он остановил на Вавилове:

— Академик, путешественник, где он только не успел побывать: и на Памире, и в Эфиопии, и в Центральной Азии, и в Японии, о Европе я уже не говорю. Вот теперь он в Америке. Заграница его тоже хорошо знает, а это тоже важно. А главное, самое главное, я ему верю. Это человек дела и долга.

И весной 1931 года крупнейшие географы страны избрали президентом Географического общества Н. И. Вавилова, который, как сказал о нем видный английский ученый Эдуард Рессел, был не только крупнейшим ботаником, но и выдающимся путешественником современности. Окажись среди приветствовавших избрание Вавилова человек достаточно экспансивный, он, возможно, воскликнул бы:

— Географы приветствуют Пржевальского наших дней!

Когда заходит речь о научных интересах и научных

заслугах Николая Ивановича, его биографы бывают вынуждены дробить тему, поистине необъятную. Вавилов как генетик. Вавилов как селекционер-теоретик. Вавилов как агроном. Вавилов как ботаник-растениевод. Вавилов как ботаник-географ. Вавилов как путешественник. Вавилов как эколог. Вавилов как иммунолог. И так далее и тому подобное. Возможно, закономерной была бы даже тема «Вавилов как полиглот», потому что и в овладении иностранными языками он добился успехов поистине удивительных.

Вавилов как путешественник...

Эта тема в свою очередь как бы объемлет весь земной шар. Говорили, что легче назвать те места, где Николай Иванович еще не успел побывать, чем те, которые он уже объехал. Академик путешествовал на самолетах в ту пору, когда они считались самым ненадежным видом транспорта (однажды машина, на которой он летел, из-за неисправности мотора едва не разбилась в Африке), путешествовал на поездах, на пароходах, на лошадях, на верблюдах, на ишаках, а то и пешком. Его маршруты — это десятки тысяч километров, пролегающие через десятки стран в разных уголках планеты! И он пересекал чужие земли не по туристским наезженным дорогам, не ради поверхностного ознакомления с достопримечательностями.

«Проникая в любую страну, хотелось сделать очень много, понять «земледельческую душу» этой страны, освоить ее видовой и сортовой состав, взять из нее наиболее нужное и связать в единое целое данные этой страны с эволюцией мирового земледелия, мирового растениеводства» — так сам Николай Иванович Вавилов сформулировал цель своих путешествий. Задачи огромные, а ведь на пути их решения жизнь громоздила препятствие за препятствием!

Ну взять хотя бы визы, самые обыкновенные визы, открывающие границы. В первые десятилетия Советской власти дипломатические связи нашей страны не были еще ни обширными, ни прочными. Визы советским гражданам давали крайне неохотно. Если даже теперь власти некоторых государств относятся к гостям из Советского Союза не без предубеждения, то в прежние годы они едва ли не в каждом советском человеке видели опасного «агента Коминтерна». Впрочем, когда в 1921 году

Н. И. Вавилов посетил Соединенные Штаты Америки, где были очень сильны антисоветские настроения, американские газеты писали, что если все русские таковы, как этот советский гость, то, может, Соединенным Штатам следует пересмотреть политику и дружить с новой Россией.

Странствования по материкам и океанам с советским паспортом Николай Иванович начал в те годы, когда была совсем свежа память о делах и днях блестящей плеяды русских путешественников. Некоторые ветераны еще с честью служили науке. Петр Кузьмич Козлов готовил новую экспедицию в Монголию, к своему любимому «мертвому городу» Хара-Хото.

И вот как бы происходила передача вахты. Козлов, один из выдающихся путешественников, звезда которого высоко взошла еще в прошлом веке, отправился в последнее свое большое путешествие. А тем временем мировая географическая наука отметила появление нового многообещающего имени.

В 1925 году Николай Иванович Вавилов был отмечен высшей наградой Географического общества — Золотой медалью имени Пржевальского. «За географический подвиг» — так с предельной краткостью мотивировалось награждение. Этим подвигом была экспедиция Вавилова в Афганистан.

Границу соседней горной страны, которая в сущности была весьма мало известна русским исследователям, Вавилов пересек летом 1924 года. Хребты и пустынные нагорья Афганистана не пугали его. Несколькими годами раньше, во время империалистической войны, он предпринял путешествие по Ирану. В самое тяжелое время, когда термометр показывал 50 градусов в тени, Вавилов пересекал каменистые плато, разыскивая редчайшую «персидскую пшеницу». Затем путешественник отправился на Памир. Здесь после ночевки у ледников он смог по личным впечатлениям описать ощущения замерзающего человека. Как-то лошадь Вавилова, испуганная неожиданно взлетевшим со скалы орлом, понеслась по горной тропе над бездонной пропастью. В другой раз он переполз через глубокую трещину по живому мосту: проводники легли на края уступов, крепко сцепившись руками. В общем, по словам Вавилова, в этом путешествии было немало таких минут, которые дают закалку на

всю жизнь, делают исследователя готовым ко всяким трудностям, невзгодам, неожиданностям.

Эта закалка очень и очень пригодилась ему в будущем.

О некоторых путешествиях Вавилова мы и сегодня знаем совсем мало: сохранились лишь предельно сжатые экспедиционные отчеты. Экспедиция же в Афганистан обстоятельно описана самим Николаем Ивановичем, и едва ли есть смысл говорить здесь о ней подробно. Скажем лишь, что это были пять месяцев беспокойной кочевой жизни с ночевками в караван-сараях и под холодным звездным небом. Это были пять тысяч километров экспедиционного маршрута, который, в частности, проходил через перевалы грозного Гиндукуша на почти пятикилометровой высоте и пересекал Кафиристан, наиболее дикий, неизученный район страны. Это были семь тысяч образцов всевозможных культур, коллекции, подтверждающие важнейшие открытия, связанные с историей древнего земледелия, с поразительным богатством мягких и карликовых пшениц Афганистана. Это были также бесконечные, изнуряющие препятствия на каждом шагу, подозрительность властей, нетерпимость мусульманских священнослужителей, которые, разжигая в толпе религиозный фанатизм, требовали, чтобы «неверных» забросали камнями. Вся обстановка путешествия напоминала, скорее, о веках минувших, чем о первой четверти века автомобильных дорог, века воздушных линий: и прикрытые козьими шкурами изумленные горцы, в глухих местах сбегавшиеся к каравану, чтобы поглазеть на невиданных пришельцев из другой страны, и первобытные плетеные мосты над пропастями, и тревожные слухи о разбойниках, наводящие ужас на проводников...

Да, экспедиция в Афганистан была географическим подвигом. А другие путешествия Вавилова?

Я прочитал в одном биографическом очерке:

«В следующем году (1926) Н. И. Вавилов изучал Сирию, Палестину, Трансиорданию, Алжир, Тунис, Марокко, Египет, Францию, Италию с островами Сицилией и Сардинией, Грецию с островами Крит и Кипр...

Путешествие по странам Средиземного моря оказалось легким и приятным».

Сознаюсь, что последняя фраза вызвала у меня некоторое недоверие. Ведь все же десять стран за один год!

И в девяти из них Николай Иванович побывал сам, лишь в десятой, в Египте, куда он не получил визу, его поручения выполняли другие. Можно было поверить в легкость и приятность путешествия по Франции, Италии, Греции. Но Сирия, Палестина, Трансиордания, Алжир, Тунис, Марокко? Летняя изнуряющая жара, скверные дороги, бурные политические конфликты 1926 года, вооруженные столкновения, а то и восстания...

И мне захотелось, по возможности подробнее, представить обстоятельства путешествия Николая Ивановича хотя бы по первой из названных биографом стран Средиземноморья.

Сам Вавилов в неоконченной книге «Пять континентов», вообще написанной чрезвычайно скупой и сдержанной, уделил Сирии несколько страниц. Речь на этих страницах шла о местах, мне знакомых: сравнительно недавно я проехал Сирию примерно по тем же дорогам, на которых поднимал пыль фторд Вавилова. Кроме того, год, когда путешествовал советский ученый, был достаточно памятным в истории Сирии. У сирийских авторов я нашел подробные рассказы о событиях, лишь мельком упомянутых Николаем Ивановичем. Мне помогло и то, что моим спутником в поездке по стране был научный сотрудник Академии наук СССР М. Ф. Гатауллин, уже не раз бывавший в Сирии. Свободно владея арабским языком, он по моей просьбе расспрашивал участников событий 1925—1926 годов. Все это, вместе взятое, и побудило меня к попытке воссоздания обстоятельств «легкого и приятного» путешествия Н. И. Вавилова по Сирии.

* * *

Обнаженные трупы, привязанные вместо седоков, раскачивались в такт шагу верблюдов. Лица убитых были обезображены, над кровоточащими ранами густо роились мухи.

— Так будет со всеми, кто восстанет против законных французских властей! — время от времени выкрикивал глашатай, ехавший в автомобиле впереди «каравана смерти».

За автомобилем шагал карательный отряд, только что вернувшийся в Дамаск после шестидневного похода по окрестностям сирийской столицы.

Трупы двадцати четырех партизан до заката возили по улицам, а потом выставили на площади аль-Марджия.

Дамаск как будто притих. Но на следующее утро французскому верховному комиссару Саррайлю доложили о начале всеобщей забастовки. Прошел еще день — и солдаты, пришедшие на рассвете, чтобы сменить караул у ворот Баб аш-Шарки, увидели, что сменять некого.

А спустя еще день Дамаск восстал. Партизаны вошли в город и завязали уличные бои. Французские танки носились на полной скорости, давя и расстреливая всех, кто не успел укрыться. После нескольких ожесточенных стычек французские войска стали отступать. Сам Саррайль, нагрузив добром семь автомобилей, в сопровождении отряда жандармерии бежал в Бейрут. Покидая Дамаск, он приказал проучить восставших. Батареи тяжелых орудий, заранее установленные на высотах ас-Салихийя и аль-Маазе, открыли огонь по городу. Снаряды разрывались на улицах, площадях, во дворах мечетей, в густонаселенных арабских кварталах. Обстрел продолжался двое суток, и ночью зарево пожаров видели за десятки километров.

Все эти события были лишь новой вспышкой кровопролитной борьбы, которая продолжалась в Сирии уже несколько лет. С тех пор как Франция, получив мандат, установила в стране колониальное господство, восстания вспыхивали то на севере, то на юге. В 1925 году они переросли в национально-освободительную войну, охватившую всю Сирию.

Партизаны могли бы удержать в своих руках столицу. Но их командование решило оставить Дамаск, опасаясь, что во время боев погибнут чтимые всеми сирийцами национальные святыни. Отряды партизан отошли в оазис Гуту, кольцом садов окружавший город. Французы, вернувшись в Дамаск, получили приказ «превратить самый древний город мира в самую современную крепость». Схватки в окрестностях Дамаска не затихали всю весну 1926 года. В мае батареи французів снова двое суток обстреливали кварталы бедноты, где, как им казалось, скрывались проникнувшие в Дамаск повстанцы.

Вот эту-то пылающую Сирию и намеревался посетить Николай Иванович Вавилов.

Именно в те дни, когда он хлопотал через посольство в Париже о въездной визе, французы готовили крупнейшую операцию против очага восстания — горной области Джебель-Друз. Карательные отряды сосредоточивались для удара в соседней провинции Хауран, которую Вавилов собирался посетить прежде.

Надо ли говорить, что Николаю Ивановичу в визе отказали!

Но он не был обескуражен отказом: это случалось достаточно часто. В Париже у него нашлись весьма влиятельные друзья. Г-жа де Вильморэн, совладелица знаменитой фирмы, занимающейся селекцией и продажей семян, добилась приема у премьер-министра Бриана. Она с жаром доказывала, что г-н Вавилов целиком поглощен вопросами, имеющими огромное значение для мировой науки, и отнюдь не будет заниматься в Сирии большевистской пропагандой. От Бриана настойчивая парижанка направилась во дворец президента.

— Мой друг, — сказала она Вавилову после возвращения от Раймонда Пуанкарэ, — вам разрешено ехать туда, куда вам угодно. Получайте визы и заходите к нам на прощание.

Чиновники министерства иностранных дел, к которым Вавилов пришел за визой, были изумлены до крайности. В парижской префектуре заподозрили ошибку и не выпустили его паспорт из рук ранее, чем получили подтверждение по телефону, что большевику действительно разрешают въезд в Сирию.

— Вы знаете о событиях? — все же счел необходимым спросить префект.

Да, Вавилов, разумеется, знал. Парижские газеты печатали пространные сообщения о новых операциях против друзов. Николай Иванович беседовал и с нашим полпредом во Франции Леонидом Борисовичем Красным. Вавилов называл превращение Сирии во французскую подмандатную территорию «возмутительной политико-экономической нелепостью». Однако он знал, что должен быть предельно сдержанным и осторожным, не давая французским властям ни малейшего повода к тому, чтобы прервать его поездку.

На пароходе средиземноморской линии, идущем в Бейрут, пассажиров было мало. Всю дорогу в салоне шумели офицеры, провозглашая тосты за скорую победу,

за то, чтобы веревка, наконец, стянулась вокруг шеи Султана аль-Атраша, за то, чтобы осенью все снова собрались в Париже.

На рейде Бейрутского порта разгружались военные транспорты. Грузовые стрелы осторожно переносили по воздуху скорострельные горные пушки. К трапу корабля подошли жандармы.

— Мсье?

Вавилов протянул паспорт. Жандармский офицер не верил своим глазам: как, большевик собирается спокойно сойти на берег страны, куда даже француз не может приехать без особого разрешения властей!?

Пока таможенники занялись багажом, перетряхивая и просматривая каждую вещь, жандармы повели Вавилова в префектуру. Это напоминало арест.

Город заполняли военные. На засаженной пальмами широкой, великолепной Плас де Канон стояла готовая в путь колонна грузовиков с пехотой. Возле телеграфа в Баб Эдрис располагался пост с ручным пулеметом. И это здесь, в Бейруте, за сотню километров от Дамаска!

Наверняка можно сказать, что линия связи между встревоженной появлением большевика бейрутской префектурой и особняком на Ке д'Орсе в Париже, где помещается министерство иностранных дел, получила в эти часы солидную дополнительную нагрузку, прежде чем Вавилов был отпущен и смог поселиться в гостинице.

...Если о поезде можно сказать, что он идет ощупью, то состав из четырех вагонов, отправившийся из Бейрута, двигался именно так. Бронированный паровоз, как бы не решаясь набрать скорость, тяжело, медленно катился по рельсам. На тендере устроились солдаты. Стрелки с карабинами в руках сидели на подножках вагонов.

Вавилова предупредили, что он не должен поднимать шторы на окнах. Когда поезд остановился у перрона узловой станции Рейяк, ученый увидел сквозь узкую щель проволочные заграждения. Не станция, а укрепленный пункт! В вагон вошел французский офицер, посмотрел паспорт Вавилова, напомнил, что во всех населенных пунктах русский должен незамедлительно являться к местным представителям французского командования.

Поезд тронулся дальше. Духота была нестерпимой. Пыль курилась над тянувшимися вдоль дороги развалинами глиняных заборов и хижин. Вавилов знал: их раз-

рушили, опасаясь партизанских засад. Пеньки торчали вместо садов, посаженных когда-то слишком близко к железнодорожному полотну.

В привычный стук колес ворвался новый drobный звук. Пулеметная очередь?

Но ведь Вавилова еще в Бейруте предупредили: поскольку Париж дал разрешение, он может ехать в Хауран, может ехать в Дамаск, однако французские власти ни в коем случае не гарантируют ему безопасность и не берутся ограждать путешественника от возможных прискорбных недоразумений.

Да, трудно было выбрать время, менее подходящее для путешествия по Сирии! Но что же заставило Вавилова спешить с поездкой в эту беспокойную страну?

Хотя с первого взгляда это может показаться почти невероятным, но за долгие столетия человек сумел ничтожно мало узнать о родине своего хлеба насущного. В начале прошлого века Александр Гумбольдт не без горечи говорил, что место происхождения тех растений, которые сопровождают человечество с его раннего детства, покрыто таким же мраком, как и родина большинства домашних животных. «Мы не знаем родины хлебных злаков — пшеницы, ячменя, овса и ржи...» — отмечал Гумбольдт.

Полвека спустя швейцарец Декандоль выдвинул казавшееся весьма логичным предположение: у всех культурных растений должны быть дикие предки, надо хорошенько поискать их, и места находок сохранившихся «дикарей» определяют прародину пшеницы, овса, кукурузы. Привлекательная простотой, гипотеза эта, однако, не получила крепких подпорок опыта: генеалогическое древо некоторых наших кормильцев оставалось без корней, поиски их диких предков оказались безуспешными.

Крупнейший наш ботаник академик В. Л. Комаров справедливо отмечал, что Декандоль собрал солидный фактический материал, но не осветил его никакими обобщающими соображениями: у него не было теории.

Недостаточное, неубедительное, а в значительной мере и ошибочное теоретическое осмысливание вопроса о происхождении культурных растений мешало более быстрому решению многих важных практических задач. Одной из них была интродукция — введение на поля какой-либо страны или области растений из других мест.

Охоту за растениями для этой цели наиболее широко вели Соединенные Штаты Америки. Известно, что Новый Свет при этом заимствовал весьма многое в России.

— Богатство полей Канады, Соединенных Штатов в значительной мере обязано хлебным злакам нашей страны,— говорил Вавилов.

Ему приходилось бывать в Вашингтоне, в главном центре агрономической разведки, которая направлялась департаментом земледелия. Там еще хорошо помнили Марка Карльтона и его путешествия.

Карльтон в своем Канзасе одним из первых заметил, что твердые пшеницы, привезенные в Америку русскими переселенцами-духоборами, куда лучше местных переносят капризный климат штата. В 1897 году Карльтон сам поехал в Россию. Он долго колесил по засушливым местам нашей страны и отовсюду отправлял посылки в Америку. Особенно много было в них «кубанки» и «харьковской красной пшеницы». Американца встречали даже у киргизских юрт в Тургайской степи; там он покупал зерно, которое, по его выражению, могло бы прорасти и дать урожай даже в пекле ада.

Вернувшись в Соединенные Штаты, Карльтон с неутомимой энергией принялся распространять новые сорта. Его крупную фигуру в привезенной из России войлочной мужицкой шляпе видели на тысячах ферм в засушливых штатах.

Вскоре Карльтону не было нужды убеждать кого-либо, кроме разве чиновников из департамента земледелия. Русские твердые пшеницы сами постояли за себя в самые тяжелые годы. Площадь их посевов стала расти с невероятной быстротой. В 1919 году выходцы с полей России заняли треть всех посевов пшеницы в стране.

Когда Вавилов был в Соединенных Штатах, Марк Карльтон, забытый всеми, уволенный из департамента земледелия, доживал последние горькие дни в одном из маленьких городков Перу...

Кроме Карльтона по земному шару путешествовали Хансен, Харланд, Фейрчайльд. Маршрут американца Франка Мейера, изучавшего флору Азии, пролегал по долинам Янцзы и Лены, доходил до сибирской тундры.

Но в исследованиях американцев при всей широте и размахе, как правило, отсутствовала основная, главенствующая идея. Их поиски, их охота за растениями часто

определялись интуицией или преходящими соображениями. Успех или неудача бывали лишь делом случая.

И вот в научных кругах Америки и Европы стали распространяться известия, что в Советской России найден, наконец, тот компас, который способен указать верное, теоретически обоснованное направление поисков исходного материала для селекции. Этот компас — открытие советского профессора Вавилова.

Агроном с большой буквы, патриот своей страны, Вавилов был одержим идеей обновления нашей земли, в частности, путем замены малоурожайных, нестойких против стихийных бедствий сортов другими, более выносливыми. Одно из его любимых выражений «причесывать землю» в широком смысле означало заботу о повсеместном улучшении ухода за землей, о совершенствовании земледелия, о том, чтобы земля была кормилицей и в горах, и в пустынях, и на знойном юге, и на суровом севере.

Природное богатство отечественной флоры Вавилов стремился приумножить за счет тех видов, которые не произрастают в нашей стране. В поисках полезных растений, которые можно было бы переселить на наши земли, он и его сотрудники путешествовали по всему земному шару. В Ленинграде, в возглавляемом Вавиловым Всесоюзном институте растениеводства, были созданы коллекции культурных растений мира, поистине золотые россыпи для селекционеров. Эти коллекции непрерывно пополнялись экспедициями, успех которых определялся прежде всего верно выбранным направлением поисков.

В тот год, когда Николай Иванович отправился в Сирию и другие страны Средиземного моря, на родине печаталась его книга «Центры происхождения культурных растений» — труд, отмеченный премией имени В. И. Ленина. В этой книге содержалась рабочая гипотеза, позднее развитая и дополненная. По существу впервые в истории исследователь, посвятивший себя изучению достаточно старой и весьма сложной проблемы, давал ясный ответ на вопрос не только о том, что искать, но и где искать.

Учение Николая Ивановича Вавилова о центрах происхождения культурных растений, об историко-географических очагах развития культурной флоры, выкристаллизовалось далеко не сразу. Сам Николай Иванович на про-

тяжении всей своей жизни уточнял, развивал, шлифовал его. Сотрудники и последователи Вавилова тоже внесли свою немалую лепту. Поэтому, вероятно, будет правильным говорить здесь не только о том этапе в развитии этого учения, который соответствовал появлению книги «Центры происхождения культурных растений» и экспедициям Николая Ивановича в страны Средиземного моря. Для того чтобы очень кратко и схематично напомнить всю историю вопроса, воспользуемся и трудами тех, кто продолжает развивать идеи крупнейшего ученого.

Вавилов избрал принципиально иной метод, нежели тот, которым пользовался Декандоль. Опорой швейцарца были исторические и лингвистические исследования. Вавилов опирался на ботанико-географический и генетический методы.

Можно считать, что Николай Иванович и его сотрудники стали основателями географии культурной флоры в ее современном понимании. Вавилов стремился установить первичные области распространения культурных растений. Ученый считал весьма важным найти те очаги, где они еще на заре земледелия были введены в культуру из местной флоры или занесенных из других стран видов и форм.

Обобщив все доступные ему материалы (а их было тогда не столь уж много), Николай Иванович первоначально наметил восемь очагов, или центров. Он считал, что для возникновения крупного очага необходимо изначальное богатство местной флоры растениями, пригодными для введения в культуру, сочетающееся с развитием в этом месте древней цивилизации. Другими словами, там должны быть исходный растительный материал и прилежные человеческие руки.

Но всегда ли совпадают эти два условия? Нет. Скажем, древняя земледельческая культура Египта не смогла бы развиваться, если бы ее основой были лишь растения песчаных отмелей или болот, появляющихся после разлива Нила. Еще в доисторические времена в Египет завезли растения с соседних территорий, входящих, по определению Вавилова, в более обширные Средиземноморский и Переднеазиатский очаги.

Границы очагов были лишь намечены, но не окончательно уточнены ученым. Он представлял, что видообразование не ограничивается строго и точно пределами

какой-либо территории. Человек и за пределами очагов находил и находит растения, пригодные для ввода в культуру. Но в пределах очагов окультивирование было особенно массовым, а видообразовательные процессы — особенно интенсивными.

Отсюда ясно, что сам Николай Иванович не мог считать определенные им основные очаги происхождения и расселения культурной флоры чем-то окончательно установленным и неизбылемым.

Он дал мощный толчок научной мысли, побудил ее к дальнейшим исследованиям в новом направлении.

...Итак, едва завершив подготовку к печати своего труда о центрах происхождения культурных растений, профессор Вавилов спешит в страны Средиземноморья. Здесь стык Средиземноморского и Переднеазиатского очагов культурной флоры. Здесь широкое поле для дополнительной проверки теоретических выводов. Здесь страны, давно интересовавшие его. И среди них — Сирия.

Эта страна знала земледелие уже тысячелетия назад. С ней были связаны древнейшие остатки культуры пшеницы и ячменя. О ней же не раз спорили селекционеры.

Именно в Сирии охотники за растениями уже сделали одно из наиболее сенсационных открытий. В 1906 году ботаник Аронсон обнаружил в полупустынных сирийских нагорьях дику пшеницу. Срочно снаряженные Вашингтоном экспедиции принялись собирать колосья для отправки через океан. Засухоустойчивая, неприхотливая «дикарка», растущая едва не на голых камнях, могла, по мнению американских селекционеров, существенно улучшить культурные сорта.

У Вавилова, который еще в 1916 году искал дику пшеницу в Иране, было достаточно оснований сомневаться в чудодейственных свойствах находки Аронсона, поторопившегося с рекламным шумом провозгласить новую эру в селекции главного хлеба земли. Но со щепетильностью истинного ученого Николай Иванович хотел все увидеть на месте своими глазами. Кроме того, верный своему принципу — прежде всего искать растения, пригодные для полей нашей страны, — он намеревался также произвести сборы семян урожайных, скороспелых, устойчивых к почвенной засухе пшениц, выращиваемых сирийцами в нагорьях Хаурана, неподалеку от того места, где Аронсон сделал свою находку.

В общем, Николай Иванович Вавилов считал, что у него достаточно причин не откладывать поездку в Сирию «до лучших времен»!

* * *

По правде говоря, я и не пытался разыскивать в Хауране людей, которые могли встречаться с приезжим из России. Слишком много воды утекло с тех пор, и вероятность того, что кто-либо запомнил русского, собиравшего растения, была практически ничтожной: в тот бурный год совсем другие события волновали жителей этой окраины Сирии.

Хауран, или, как его иногда называют, Хоран, — южная провинция страны. При римлянах это был цветущий край. Со времен империи здесь сохраняются колодцы и вырубленные в базальте водоемы для сбора дождевой воды, а возле незначительного селения Босра путника поражает грандиозный амфитеатр, на каменных скамьях которого двадцать тысяч зрителей неистовствовали во время боя гладиаторов.

Восточнее Хаурана простирается провинция Джебель-Друз. Она получила название от горного вулканического хребта, поднявшегося в ее центре. Племена свободолюбивых друзов, населявшие эти места, сорок лет назад первыми поднялись на освободительную войну.

Я записал рассказы бывших повстанцев. Многие сподвижники Султана аль-Атраша еще живы и охотно вспоминали дни героической молодости. Мне показали фотографию: невысокий усатый сириец в напоминающей халат крестьянской «галабии», в клетчатом платке, прикрывающем не только голову, но и плечи. Толстый «укаль» — шерстяной крученый пшур — поддерживает платок на голове. Сириец скорее добродушен, чем воинствен: у него не видно никакого оружия.

Это и есть Султан аль-Атраш, тот самый Султан аль-Атраш, который летом 1925 года вместе с горсткой односельчан покинул свою горную деревню и прогнал французов из городка Салхада. А когда он подошел к крепости Сувейда, у него уже было целое войско. Французы заперлись в Сувейде, но весь Джебель-Друз оказался у повстанцев.

Раньше друзья враждовали с хауранцами. Ненависть к угнетателям объединила их. А объединившись, горцы

разбили десятитысячный карательный отряд генерала Гамелена. Конники неслись в атаку на броневики. Гамелен едва унес ноги.

А рейд Зейда аль-Атраша, брата Султана! Его люди появились под Дамаском, вызвали там переполох и, пока французы били из орудий по садам в окрестностях города, в два перехода достигли Хаурана. Тут Зейда аль-Атраш внезапно ударил по французским гарнизонам подле горы Хермон, или, как чаще называют ее арабы, Джебель-Шейх, и освободил десятки деревень.

Я виделobeliski, поставленные в память партизанских подвигов. Султан аль-Атраш дожил до освобождения своей родины. Благодарное правительство независимой Сирии выдало ему крупную денежную награду и хотело воздвигнуть памятник при жизни. Только тот, кто знает обычаи мусульман, запрещающие изображения людей даже после их смерти, может оценить, какую честь собирались оказать народному вожаку. Султан аль-Атраш отдал деньги на постройку школы и сказал, что никакого памятника ему не надо, а если этот памятник все же соорудят, то он, Султан аль-Атраш, как опытный партизан, сумеет взорвать его...

Хауран не из тех внешне привлекательных мест, которые радуют глаз. Это довольно угрюмая местность у края аравийских пустынь. Здесь преобладают мрачные, темные тона, какие я встречал еще разве только возле Асуана. Базальтовые глыбы, то почти черные, то серые, угрюмо торчат у дорог и посреди полей. Местами такой же мрачный оттенок имеет и почва. Издалека кажется, что на всхолмленную равнину падают тени облаков. Но небо безоблачно, солнце печет всюду, а «тени» — просто пятна обнаженной земли.

Вот в этих местах и началось знакомство экспедиции Николая Ивановича Вавилова с полями Сирии.

При слове «экспедиция» воображение рисует нам в зависимости от места и времени ее действия то тяжело навьюченный караван верблюдов, то колонну вездеходов, то лагерь в тайге, где среди свежих пней поднимается буровая вышка и чей-то голос бубнит в палатке: «Я — Сокол, я — Сокол, как меня слышите, перехожу на прием...»

Экспедиции Николая Ивановича Вавилова — это чаще всего сам Николай Иванович Вавилов. Один. Один, сов-

мещающий обязанности многих. Далеко не всегда и не всюду его сопровождал даже кто-либо из ближайших сотрудников: надо было жестко экономить валюту.

В переводчиках Николай Иванович нуждался в редчайших случаях. Пробыв недолго в Иране, он изучил иранский язык, а первые дни путешествия по Афганистану начинал с того, что твердил правила фарсидской грамматики, причем по руководствам, составленным на арабском языке.

Николай Иванович хорошо ездил верхом и свободно водил автомашину по самым скверным дорогам и даже вовсе без дорог. Когда-то немецкий поэт и натуралист Адельберт Шамиссо говорил, что лучший головной убор путешественника — докторская шляпа. Вавилов обладал познаниями в медицине, достаточными, например, для того, чтобы врачевать пулевую рану губернатора горной области Афганистана...

В Сирии же Николаю Ивановичу пришлось действовать в духе древнего изречения: «Врачу, исцелися сам!» Приступы малярии были особенно изнурительными в краю, где солоноватая вода редких колодцев не утоляет жажду, где пыльные смерчи проносятся над пустынными нагорьями и солнце, едва успев подняться из-за горизонта, уже раскаляет камни.

Николай Иванович обычно вставал до солнца. У себя на родине он во время летних поездок по опытным станциям института начинал рабочий день в четыре часа утра. В экспедициях иногда допускалась поблажка: подъем в пять, реже в шесть часов. Быстро седлалась лошадь — и в путь.

От хины, которой он пытался сбить приступы, звенело в ушах. Когда начинался озноб, Николай Иванович еще держался в седле. Затем искал тень, ложился на плед. Несколько часов, обливаясь потом, метался, пил противную теплую воду — и снова садился на коня.

Он дорожил каждой минутой работоспособного состояния. Военная обстановка все обострялась. Летняя жара ускоряла созревание хлебов, и это тоже заставляло спешить. Когда Николай Иванович нашел наконец первые стебли дикой пшеницы, колоски уже осыпались, и зерна надо было подбирать с земли.

Они были не столь крупными, как описывал Аронсон. Действительно, на первый взгляд казалось, что «дикарка»

растет едва ли не на голых камнях. На первый взгляд... Однако, присмотревшись, легко было заметить, что она укоренилась в трещинах базальта, куда ветры несли плодородную почву и где дольше держится влага. В таких условиях будет расти и обыкновенная пшеница.

Важно было выяснить, бедны или богаты культурными формами пшеницы крестьянские поля по окрестным нагорьям. Но эти нагорья в районе, занятом повстанцами.

— Попробуйте рискнуть, — неожиданно предложил Вавилов офицер французской заставы. — Друзья опасны только для нас. Вы — русский, вы — большевик. Белый флаг послужит вам пропуском. Но если вас примут за француза раньше, чем вы успеете сказать, кто вы, то...

Выбрав время между приступами малярии, Вавилов, размахивая палкой с белым платком, направился к горному селению. Он, конечно, рисковал. Его встретили недоумением и подозрительностью. Но человек из далекой страны обладал даром располагать к себе сердца. Он улыбался приветливо и открыто, нисколько не принаравливаясь к обстановке, а просто оставаясь самим собой. Ведь вся его жизнь проходила «на людях», в его кабинете всегда было полно званных и незванных, в его ленинградской квартире шумные споры нередко продолжались за полночь. И друзья, настороженные и недоверчивые друзья, должно быть, почувствовали в пришельце с белым флагом какого-то совсем другого, вовсе не похожего на французских офицеров или чиновников, доброжелательного, искреннего человека.

Вавилов рассказал крестьянам, кто он, откуда и зачем приехал. Ему дали проводников, показали самые лучшие посевы: пусть русский увезет отборные зерна к себе в страну, где нет помещиков, а всеми делами управляют рабочие и крестьяне.

Друзья проводили Вавилова до железнодорожной станции. Отсюда его путь лежал в Дамаск.

В вагоне он мог подвести первые итоги. Культурные сородичи дикой пшеницы на окрестных полях не отличались разнообразием сортового состава. Более чем сомнительно, чтобы Сирия вообще порадовала богатством форм главного хлеба земли. находка Аронсона не дала ответа, откуда пошло все поразительное разнообразие видов

пшеницы, возделываемых на полях земного шара. Дикие виды не всегда прямые предки культурных. Сирийская «дикарка» лишь одно из эволюционных звеньев, особый вид, трудный и малоперспективный для селекции. Надо продолжать поиски, нужны экспедиции в Абиссинию, к подножиям Западных Гималаев.

Собранные же на полях возле сирийских горных деревушек образцы замечательной твердой пшеницы, засухоустойчивой, с крупным зерном, с неполегающей соломой, вполне могут пригодиться для «причесывания земли» на засушливом юге Советского Союза. Уроженка нагорий Хаурана может потеснить старые сорта, скажем, на полях Азербайджана.

Поезд приближался к Дамаску. После его посещения предстояла еще поездка на север страны.

* * *

Один журналист рассказывал, как он познакомился с Вавиловым в вагоне поезда, идущего в Ленинград. Еще не зная, кто перед ним, журналист попросил соседа по купе дать для чтения какую-либо из книг, стопкой лежащих на столике. Тот протянул «Георгики» Вергилия на латинском языке, сочинение о народностях Синьцзяна на английском и роман М. Карре «Жизнь Артура Рембо» на французском. Журналист удивился, что собеседник владеет тремя языками (он удивился бы еще больше, если бы знал, что тот может изъясняться не на трех, а на двадцати двух языках и диалектах!).

Журналиста поразили также пометки на полях книг: у Вергилия они касались романского плуга, страницы, посвященные народностям Синьцзяна, имели запись об опытах с мушкой-дрозофилой. Роман, повествующий, как французский поэт, дезертировавший из датской армии, во время своих скитаний попал в Абиссинию и заболел там слоновой болезнью, также испещряли бисерные буквы пометок. Но что это были за пометки! Рембо изнемогал от приступов ужасной своей болезни, а спутник восхищался своеобразием абиссинского ячменя!

В этой, зорко подмеченной журналистом, почти фанатической приверженности главному делу, вероятно, и загадка того, что нередко в путевых записях Николая Ивановича Вавилова опаснейшим приключениям уделяется несколько строк, тогда как описание встреченного в при-

дорожной канаве какого-нибудь растения, заинтересовавшего ученого, занимает страницы.

У Николая Ивановича был свой взгляд на географическую литературу. Эта литература обширна, говорил он, но каждый исследователь видит разное, пропуская факты через фильтр, зависящий от его целей и стремлений.

Факты, касающиеся Сирии, которую наблюдал Вавилов, проходили прежде всего через фильтр биолога, ботаника, охотника за растениями.

Попав в Дамаск, он восхищался географическим положением города, расположенного между пустынных гор, но утопающего в садах, окруженного морем зелени и поясом тучных полей. Здесь путник, истомленный долгим путем через пустыню, находит вождеденное «эльдорадо», слушая журчание воды и наслаждаясь тенью деревьев. Николай Иванович говорит о поливном земледелии оазиса Гуты, о климатических условиях, благоприятных для произрастания плодов, винограда и злаков, а потом замечает как бы мимоходом: «К сожалению, Дамаск был на военном положении, ему угрожало наступление друзов. Окраины города были защищены баррикадами, и выходить далеко за город в окрестности не рекомендовалось властями».

Только и всего. Сдержанность предельная. А ведь на самом деле под Дамаском да и на его окраинах шла ожесточенная партизанская война, не затихающая ни на день. Перестрелка вспыхивала вдруг под крытыми сводами Сук Хамидие, знаменитого дамасского базара; офицерский автомобиль падал в обмелевшее русло реки Барады; с башни ворот Баб-Тума валились камни, раскалывая головы солдат; пылали подожженные склады.

Оккупантов пугали плотные глиняные заборы и узкие извилистые улочки. Саперы получили приказ расчистить широкое кольцо, идя напролом сквозь кварталы окраин. Получились «бульвары», где на перекрестках за колючей проволокой, за баррикадами из мешков с песком дежурили посты. Они проверяли всех, кто хотел выйти из города или войти в него. Если у задержанных находили оружие, их расстреливали на месте.

С середины лета французы начали готовить карательную экспедицию в Дамасскую Гуту. В город был переброшен еще один батальон, и солдаты, не успев страхнуть пыль дорог Джебель-Друза, пошли за большой колонной

танков жечь деревни под столицей. Полторы тысячи крестьян были расстреляны без суда. Но вскоре после того, как каратели вернулись в Дамаск, партизаны захватили подле столицы поезд с боеприпасами, а потом проникли в кварталы бедноты, где встретили полную поддержку. Завязались летучие баррикадные бои, и опять заговорили пушки на высотах...

Вот что скрывалось за фразой о военном положении в Дамаске. И все же Вавилов отважился вопреки запрету властей на короткие вылазки в пригородные поля. Однако главную «жатву» ему пришлось собирать по дамаским зерновым и овощным базарам.

Базары были жалкими. Подвоз почти прекратился. Но кое-где на циновках лежали горки молодого зеленого миндаля, оливки, фисташки, длинные, похожие на огурцы сирийские дыни. Вавилов не расспрашивал продавцов о том, что происходит в окрестностях Дамаска, где действовал неуловимый и грозный Хасан аль-Харрам. Его интересовало, где и как выращен необыкновенно крупный виноград. Он приценивался к зерну, но не удивлялся дороговизне: его волновал лишь сортовой состав сирийских пшениц...

Тут кое-кому в голову, пожалуй, может закрасться мысль: как же так, вокруг идет борьба, сирийцы отважно дерутся за независимость, а русский профессор как ни в чем не бывало бродит по базарам, запуская руки в плетеные сосуды с пшеницей?

Но что же он должен был делать? Неосторожный вопрос, малейшее открытое выражение сочувствия повстанцам дало бы французским властям превосходный повод для немедленной высылки нежелательного чужестранца.

Он вызвал неудовольствие даже тем, что слишком много времени проводил в Арабской академии наук, которую возглавлял сириец Курдали. Десять лет спустя, когда научная общественность чествовала выдающегося советского арабиста Игнатия Юльевича Крачковского, академик Вавилов с трибуны вспомнил о тех днях:

— Вот, товарищи, когда я был в Сирии, то президент Дамасской академии наук — а мы с ним говорили там, конечно, насчет всякой ботаники — вдруг спросил меня, а не знаю ли я в России, в большом городе Ленинграде, одного русского профессора, который знает арабскую лите-

ратуру и арабский язык лучше арабов, и его фамилия Крачковский?

Мягкость, человечность, благородство Вавилова не оставляют сомнения в его сочувствии борющимся сирийцам. Мы не знаем, к сожалению, о чем говорил он с Курдали: уж, наверное, не только «насчет всякой ботаники».

Но о ботанике он действительно не забывал ни на минуту. Из города, переполненного ненавистью и жестокостью, из города баррикад и колючей проволоки уходили в Ленинград посылка за посылкой, и были в них зерна, выращенные на полях сирийских феллахов, зерна, которым суждено было дать всходы на советской земле...

Из Дамаска Вавилов поехал на север, где французам удалось «овладеть положением». Ученый получил форд; в дороге он временами подменял уставшего шофера. Форд был старый: колеса со спицами, тент, натянутый, как на извозничьей пролетке, жестянки с бензином, прикрепленные на подножке.

За сизыми оливковыми рощами, окружавшими Дамаск, началась всхолмленная степь. Овцы шарахались прочь от автомобиля, и библейские пастухи с ненавистью смотрели вслед «французу». Жалкие деревни ютились по горам, сглаженным миллионолетней работой ветра. Над руслами пересохших рек висели мосты; у шлагбаумов французские патрули проверяли документы.

Ближе к городу Хомсу потянулись поля пшеницы. Вавилов останавливал форд, брал образцы. Подле Хомса, на реке Нахр аль-Асы, сохранилась плотина, может быть, одна из древнейших в стране, но путь к ней был закрыт. Город Хама встретил Вавилова полуразрушенными домами: жители, поддержанные бедуинами, год назад восстали против французов, и артиллерия оккупантов дала сто пятьдесят залпов.

Машина бежала дальше на север мимо владений сирийских феодалов. В стороне остались развалины Пальмиры, руины Баальбека, следы могучей цивилизации, то небольшое, что сохранилось на древней земле от великого прошлого. Колонизаторы довели страну до упадка — и это при огромных естественных богатствах!

Вавилов видел, как бьется феллах на своем клочке, в неутолимой тоске по воде раздирая деревянной сохой неподатливую землю. Жнет феллах серпом, молотит так, как молотили далекие его предки во времена Римской импе-

рии, а может быть, и задолго до нее: деревянная доска, в которой укреплены острые камни, волочится по току. Это всюду: и на юге страны, и на севере, возле древнего Халеба, над которым картинно высится цитадель, помнящая крестоносцев.

Вавилов поднимается в горы Средиземноморского побережья. Машина забита снопами, мешочками с семенами пшеницы и ячменя, со стручками дикого гороха. Коллекции дают основание говорить об особой сирийской группе растений. Здесь много и диких форм, которые, вероятно, при исследовании окажутся не родоначальниками культурных, а отщепенцами, представителями своеобразных видов.

Вавилов заканчивает поездку с горькими мыслями о том, что далекое прошлое страны богаче, полнее, интереснее ее последних лет. Сколько нелепости на земле! И вероятно, ни один здравомыслящий француз не скажет, для чего французскому народу нужен сирийский мандат, приведший страну к такому упадку...

* * *

Да, возможно, что путешествие по Сирии действительно следует назвать легким и приятным, если сравнивать его со многими другими маршрутами экспедиций академика Вавилова, которые дали современникам основания ставить его в один ряд с Ливингстоном, Миклухо-Маклаем, Пржевальским.

Николай Иванович говорил, что его жизнь на колесах. Он мало спал, особенно в экспедициях: каких-нибудь три-четыре часа в сутки. Он ни разу не был в отпуске: «Наша жизнь коротка — нужно спешить». Он успел сделать много, очень много, и не его вина, что ему не дали сделать больше, что клеветнические наветы вырвали его из авангарда нашей и мировой науки.

Свой последний экспедиционный день он провел так же, как тысячи других экспедиционных дней: в целеустремленном, упорном поиске.

Лето 1940 года застало академика в Карпатах. По мнению местных ученых, Карпаты едва ли могли сохранить реликтовые культурные растения. Николай Иванович, напротив, предполагал, что как раз в замкнутых горных земельческих районах при тщательных поисках можно обнаружить полбу — древний вид пшеницы. Такая находка

подтвердила бы, что «воротами» распространения пшеницы в Европе из Передней Азии был не только Кавказ, но и Балканы.

Последний экспедиционный день Николая Ивановича Вавилова начался на рассвете 6 августа 1940 года. Он отправился в горы с заплечным мешком.

Ему уже не суждено было самому разобрать свои находки. Но его сотрудники в набитом растениями заплечном мешке нашли зеленый колосющийся куст полбы-двузернянки...

Значение работ Николая Ивановича Вавилова для советской географии, биологии, агрономии было и остается поистине выдающимся. Его научное наследство огромно.

«В результате детальной систематизации растительных форм и сбора их в центрах происхождения,— писала «Правда» в марте 1967 года в связи с выходом избранных сочинений академика Вавилова,— обнаружился поистине неведомый до этого новый мир изменчивости культурных растений — открытие, сравнить которое, вероятно, следует с открытием мира микроорганизмов, представших впервые изумленному взору Левенгука».

И мы снова вспоминаем слова Дмитрия Николаевича Прянишникова о том, что Николай Иванович Вавилов — гений. Осознать это тем, кто работал рядом с ним, мешало то, что он был их современником.

Время устранило эту помеху.



ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗЕМЛЕПРОХОДЦА

«На могиле сохранился деревянный некрашенный крест пепельно-серого цвета, местами истлевший, покрытый плесенью, лишайниками и подгнивший у основания.

В распоряжении следствия имелись материалы допроса бывшего зимовщика З. З. Громадского и сделанные им фотографии могилы и избы Бегичева. Мы сравнили крест с изображением креста на фотографии, сделанной Громадским в 1929 году, и установили полное совпадение контуров.

При осмотре креста на доске, расположенной под второй крестовиной, была обнаружена давно выцарапанная и выветрившаяся надпись «...егичев...».

После наружного осмотра приступили к вскрытию могилы».

Так писал криминалист А. Т. Бабенко, который по поручению Генерального Прокурора СССР должен был до конца распутать весьма сложное дело почти тридцатилет-

ней давности. Поводом для расследования, как указывал А. Т. Бабенко, была опубликованная в одной из центральных газет статья о Никифоре Бегичеве с требованием тщательного расследования причин и обстоятельств его смерти.

Автором этой статьи был автор книги, которую вы читаете.

Я затруднился бы назвать среди многочисленных северных историй, рассказываемых на Таймыре, хотя бы одну, идущую в сравнение с историей жизни и смерти боцмана Бегичева. Его и без того необыкновенные приключения людская молва расцветила многими полулегендарными подробностями. Особенно же много разговоров и догадок вызвала его загадочная смерть.

Впервые я услышал об убийстве Бегичева от капитана М. И. Драничникова, веселого ярославца, перебравшегося с Волги на Енисей. Михаил Иванович командовал путевым пароходом, который каждый год уходил в низовья реки и обставлял там фарватер навигационными знаками. Приведя осенью свой пароход на зимовку в Красноярск, капитан зашел к нам в гости и рассказал историю, о которой «шумят на Севере».

Вот в нескольких словах его рассказ.

Знаменитый таймырский следопыт, всем известный боцман Бегичев, весной 1926 года ушел в тундру с артелью охотников. До лета следующего года о нем никто ничего не слышал. А летом охотники вернулись без Бегичева. Они сказали, что Бегичев «одинжал», то есть заболел цингой, и умер на побережье Северного Ледовитого океана.

Но в Дудинке, откуда артель вышла на промысел, знающие люди по секрету рассказали Михаилу Ивановичу: Бегичев умер не своей смертью, его убил в ссоре один из охотников. Члены артели порешили скрыть это: «зата-скают по следствиям да судам, а мертвого все равно не воротить». Но потом кто-то будто бы проговорился во хмелю...

С тех пор я слышал буквально десятки устных вариантов рассказа о преступлении в тундре и читал несколько печатных. Первый из них появился на страницах газеты «Красноярский рабочий» в 1928 году, после чего было возбуждено следствие по уголовному делу № 24 «О нанесении тяжких побоев и последующих мучительных истяз-

заниях Бегичева Никифора Алексеевича, приведших к его смерти».

К сожалению, материалы следствия не сохранились до наших дней, и А. Т. Бабенко, как он пишет, не смог ознакомиться с ними. У меня сохранились лишь выписки из протоколов дознания, сделанные много лет назад краеведом Е. И. Владимировым.

Судя по ним, все члены охотничьей артели подтвердили версию о цинге. Все, кроме одного — кочевника Манчи. Он показал...

Но лучше я приведу отрывки из давно хранившейся у меня копии письма неизвестного автора, который, видимо, тоже знакомился с материалами следствия и решил написать по этому поводу в газету; однако письмо не было опубликовано. Вот эти отрывки с сохранением стиля автора письма:

«Близилась весна. Заболел цингой член артели Зырянов, а затем начали пухнуть десны и ноги у Бегичева... Вскоре Бегичев почувствовал себя очень плохо и выразил желание поехать на остров Диксон к своим знакомым полярникам, взять свежих продуктов, лимонной кислоты, медикаментов...

Тут проникший в среду артели чуждый интересам кооперативного движения элемент в лице некого Н-ко стал искать случая сорвать поездку Бегичева на Диксон. На этот раз Н-ко, поспорив из-за собачьей упряжки, набросился на больного Бегичева с кулаками, сбил его с ног, нанося удары по груди и голове подкованным болотным сапожищем... Манчи помешал этой дикой расправе... Спустя час избитый до потери сознания Бегичев при помощи Манчи поднялся, свалился на нары... Инициативу в артели взял в свои руки Н-ко. Он запретил артельщикам давать больному воду и пищу... В избе было сыро и душно, а Н-ко вдобавок стал практиковать жарить песцовое мясо в пищу собакам на голой раскаленной железной печке. От горения жиров образовался едкий чад и смрад, и в этом исчадии окончательно задышался Бегичев... Потом Н-ко пустился на новый прием коварства, поставил Бегичеву палатку. Он мерз в ней и терзался целый месяц... В середине мая больному сделалось плохо, он позвал к себе друга Манчи и дал наказ: «Когда ты поедешь домой, говори всем русским, саха, якутам, ненцам, что меня

убил Н-ко и я живой больше не буду. Когда будут хоронить, смотри, чтобы меня не положили в болото»».

Я не знаю, насколько точно это письмо отражает детали, сообщенные Манчи следствию. Но ясно главное: Манчи утверждал, что Бегичева жестоко избили. В этом случае на теле должны были сохраниться следы избиения. Вскрытие могилы могло дать следствию доказательства насильственной смерти либо опровергнуть версию свидетеля обвинения.

Но в те годы Таймыр был дик, и, для того чтобы попасть на берег Северного Ледовитого океана к устью реки Пясины, к мысу Входному, требовалась специальная экспедиция. Следовательно, отправившийся на вскрытие из Туруханска, застрял в пути, просидел в тундре два месяца и вернулся восвояси. 15 октября 1928 года Красноярский окружной суд прекратил дело № 24 за отсутствием доказательств преступления.

В 1936 году во время короткой стоянки морского каравана у мыса Входного я попытался разыскать могилу Бегичева.

На мысу только что начали строить рыбацкий поселок. Возле деревянной вышки триангуляционного пункта были накатаны бочки с соленым муксуном.

Рыбаки слышали о могиле, но никто не видел ее; впрочем, это были новички, приехавшие на промысел с весны. Парторг зимовки Агафонов нехотя согласился пойти со мной в раскисшую летнюю тундру. Бродили мы часа четыре. Я взял с собой капитанский морской бинокль. Но креста нигде не было видно, а то, что мы принимали иногда за могилу, при приближении оказывалось холмиком, каких в тундре много. Мы ни с чем вернулись в поселок.

В том же году журнал «Советская Арктика» напечатал очерк о Бегичеве, выразительно озаглавленный «Последний одиночка». Автором его был полярник и литератор Н. Я. Болотников. С редкой настойчивостью он много лет по крупицам собирал все, что относилось к жизни Бегичева, и ему мы обязаны первой документальной книгой о русском исследователе-самородке. В этой книге описана и смерть Бегичева. Он умирает от цинги.

Но другой неутомимый путешественник по сибирскому северу, мой старый друг поэт К. Л. Лисовский, никак не хотел согласиться с тем, что такой опытный полярник, как

Бегичев, мог погибнуть столь нелепо. И он разыскал в тундре свидетеля, девяностотрехлетнего старика, рассказ которого в общих чертах совпал с давними показаниями Манчи. Только, по свидетельству старика, первый удар Бегичеву Н-ко нанес не кулаком, а тяжелым железным пестиком, которым толкли соль.

Поэт отыскал и могилу Бегичева.

Оказалось, что крест давно подгнил и свалился. К нему была прибита ржавая иконка. Тут же валялась дощечка, на которой, как говорили охотники, когда-то была надпись:

«Под сим крестом покоится тело известного путешественника и инициатора промысловой артели Н. А. Бегичева, скончавшегося 18 мая 1927 г. 53 лет от роду».

От всей надписи сохранилось лишь процарапанное чем-то острым слово «Бегичева».

Для того чтобы удостовериться, что чуть заметный холмик действительно могила следопыта, поэт и помогавшие ему рыбаки начали копать оттаявшую землю. Вскоре показалась крышка гроба...

«Одна из досок гроба, сохранившихся совершенно свежими, немного отстала, — записал поэт. — Мы приподняли ее. Гроб оказался сплошь забитым мутным льдом. Сквозь толстый слой льда еще виднелись очертания тела...»

Значит, вечная мерзлота сохранила труп!

Тайна смерти Бегичева может быть, наконец, раскрыта!

Об этом я, сопоставив результаты многолетней работы двух исследователей, и написал в статье, заинтересовавшей Генерального Прокурора СССР.

К мысу Входному, к могиле Бегичева, вылетели криминалисты.

* * *

Тот, кто хочет узнать о юности Никифора Бегичева, проведенной на Волге, о его службе матросом на военном фрегате «Герцог Эдинбургский», об участии в экспедиции на корабле «Заря», снаряженной Эдуардом Толлем для открытия загадочной «Земли Санникова», может обратиться к уже упомянутой книге Н. Болотникова «Никифор Бегичев».

В ней можно прочесть, как боцман «Зари» Бегичев с примерным мужеством и верностью долгу искал во льдах исчезнувшего начальника экспедиции, прочесть описание

подвига георгиевского кавалера Бегичева, спасшего во время русско-японской войны миноносец «Бесшумный».

Я же упомяну о тех приключениях Никифора Алексеевича Бегичева, которые сделали его человеком-легендой Таймыра. Постараюсь рассказать о том, как припелец, «чужак», человек «с Большой земли» (было такое выражение, родившееся, должно быть, на островных зимовках) стал своим среди аборигенов тундры.

А ведь люди Таймыра не отличались доверчивостью и далеко не каждому открывали душу. По Северу рыскало немало авантюристов, хищников, спаивавших и бессовестно обманывавших «инородцев». Жизнь жестоко учила простодушных кочевников, делала их скрытными и осторожными, заставляла долго присматриваться к новому человеку, пожаловавшему на становище: один шайтан знает, что у него на уме...

Никифор Бегичев появился в Дудинке летом 1906 года — высокий, бравый, с закрученными кверху, по-флотски, кончиками усов.

Было ему 32 года; знал он множество занятных историй; не прочь был пропустить рюмочку. Рассказывал дудинцам, что хотел было осесть на Волге, в родных местах, да заскучал. А приятель написал письмецо: поезжай, мол, на Енисей, просторно, вольно, край нехоженный, зверь непуганый.

Дудинцы, в большинстве люди торговые, полагали, что и приезжий займется тем же выгодным дельцем. Но он был не по купечески щедр на угощения, легко давал деньги в долг и не приценивался к пушнине, на скупке которой богатели торговцы. Вскоре из застольных хмельных разговоров дудинцы поняли, что бывший моряк забрался на Таймыр не столько ради наживы, сколько из любопытства, что пригнал его сюда тот бес, который столько людей заставляет странствовать по матушке-Руси.

В начале зимы Бегичев уехал в тундру. Вернулся он только по весне. Мешки, привязанные к его оленьим нартам, рапирало от песцовых шкурок.

Дудинцы подумали было, что приезжий все-таки «тунгусничал», то есть по торгашеской грязной традиции спаивал кочевников и за бесценок забирал у них пушнину. Так делали многие, и это было не в диво.

Но вернувшиеся из тундры охотники рассказали, что новичок сам ставил ловушки-пасти, сам добывал песка.

Он, оказывается, успел изрядно помотаться по тундре. Кочевники дали моряку имя Улахан-Анцифер — «Большой Никифор». Было похоже, что моряк приживается на Таймыре.

Однажды он грелся в чуме старого Захара Бетту и рассеянно слушал его рассказы, где был мешалась с небылицами. Захар вспоминал прежние времена и, конечно, говорил, что раньше люди были крепче, храбрее, вообще, лучше...

— Ходили, однако, к Шайтан-земле... Теперь кто пойдет? Далеко, бояться идти...

Бегичев насторожился. Что это за земля?

— Я был молодой, сам ходил к ней, с берега ее видел. На ту землю, однако, никто не ходит, там шайтаны своих волков пасут.

Мало ли небылиц рассказывают на Таймыре? Послушать стариков, так в тундре за каждым камнем шайтан.

А Бетту продолжал: плохой остров, много там людей погибло. Большой остров, Шайтан-земля — «Земля дьявола». Хоть и недалеко от берега, как раз против Хатангской губы, да только нет теперь смельчаков, чтобы туда добрались...

Против Хатангской губы? Там на карте — синь, простор.

— Слушай, Бетту, я бы пошел на Шайтан-землю. Да ведь это все выдумка, нет такой земли.

Старик разволновался. Как это — нет? Пусть у него отнимутся ноги, пусть руки отсохнут, если он врет. Есть Шайтан-земля, он сам ее видел с Соляной сопки!

Он, Бетту, такой человек, что врать не будет: ходить на ту землю не ходил, побоялся, а видеть видел. Ходить туда страшно, шайтан напускает на людей своих злых волков.

В начале 1908 года Бегичев опять отправился в тундру. К весне с двумя спутниками он пересек весь Таймыр. Они нашли сопку, о которой говорил Бетту. Морозная дымка размывала дали. В стекле бинокля надо льдами маячила призрачная синеватая полоска. Земля! Взять на нее направление по буссоли было делом нескольких секунд.

Бегичев налегке погнал оленью упряжку через нагромождение льдов.

Так вот она какая, «Земля дьявола»! Голый остров. Множество песцовых следов. Черные камни, торчащие из-под плотного снега. И, что важно, олений мох.

Бегичев вернулся к спутникам. Через две недели с основательно нагруженными упряжками они пересекли пролив.

Новоселы «Земли дьявола» сложили из плавника избушку. Бегичев торопил их: надо обойти остров, начертить его карту.

Как это делается, он представлял не очень точно: два класса церковноприходской школы да курс учебной команды флотских квартирмейстеров — слабоватая подготовка для самостоятельной съемки. Но природная сметка, наблюдательность и страстное честолюбивое желание приобщиться к науке помогли ему еще во время плавания на «Заре» понять суть съемочных работ.

Трое с шагомером и буссолью пошли в обход острова. Шли весь день, ночевали возле речушки.

На рассвете боцман проснулся с неприятным ощущением близкой опасности. Выглянув из палатки, увидел волка. Зверь отбежал на бугор и стоял там, нюхая воздух.

Бегичев выстрелил, но промахнулся и тут заметил другого волка. Испуганный выстрелом, он почему-то бежал прямо к лагерю.

А олени, где же олени?!

Вот тебе и шайтановы волки... Пешком Таймыр не пройдешь. Не медля ни минуты, Бегичев схватил ружье и побежал к обрыву. Следы оленей терялись во льдах пролива.

Одного спутника Бегичев оставил в лагере, а с другим поспешил на поиски. К вечеру Бегичев пригнал стадо. Олени были целехоньки: почуяв волков, они умчались по знакомой дороге в сторону материка.

После этого несколько ночей спали по очереди, оставляя одного караулить оленей, чтобы «шайтан» опять не напустил на них волков. Но звери больше не появлялись. А после долгого дневного перехода так тянет ко сну... И очередной караульщик проспал половину стада.

Олени исчезли, не оставив следов.

Целый месяц трое шли вдоль побережья острова. Был полярный июнь. Крики чаек и кайр, гогот гусей наполняли воздух. Промокшие сапоги разбрызгивали талую воду.

Лед в море, однако, был еще крепок. Бегичев перебрался по нему на соседний небольшой остров, тоже не обозначенный на картах, но не нашел там ничего интересного.

Уже недалеко был мыс, откуда месяц назад они пошли вдоль берегов «Земли дьявола». И вдруг Бегичев увидел нечто, чему не сразу поверил: на приямом берегу кривилась избушка-развалюха.

Так, значит, на острове уже бывали люди?

В избушке было темно. Пахло плесенью. Вспыхнул желтый огонек спички. В полутьме боцман различил старинные алебарды — топоры на длинных ручках.

Стали смотреть внимательнее. В земляной пол были втопты шахматные фигурки странной, непривычной формы, вырезанные из мамонтовой кости.

Выходит, здесь был лагерь неведомых мореходов или промысловиков. Погибли они или ушли на материк? И когда это было?

Бегичев видел алебарды только в музеях. Ими орудовали, пожалуй, еще до Петра Великого. Тогда сколько же избенке годков?

И о другом размышлял Бегичев. Раз здесь в старину жилали русские люди, то что помешает их потомкам обосноваться на острове? Тут ведь не только зверь не пуган, но и земля не бедна. В нескольких местах нашел Бегичев пласты каменного угля, который хорошо горел в походной железной печке; а в горах на острове видел черную густую жидкость, похожую на нефть. Возможно, что в тех образцах горных пород, которые он всюду собирал во время поездок, тоже было что-нибудь ценное. Но в полезных ископаемых боцман разбирался совсем плохо.

При скитаниях по острову еще не раз пришлось Бегичеву вспомнить старого Бетту с его шайтанами. Едва не погубил боцмана внезапный шквал, когда он по очистившемуся ото льда морю вздумал на маленьком долбленом челноке сплавать к острову, открытому весной. В другой раз пошел Бегичев в одиночку по тундре, ища мамонтовую кость, а шайтаны-оборотни приняли вместо волчьего медвежье обличие. Три здоровенных белых медведя словно поджидали его. Первый пошел на охотника, но рухнул, сраженный пулей. Повалился и второй. Третий устрашающе вздыбился, однако Бегичев уложил и его.

В это время один из «убитых» вскопчил с необычайной быстротой — и на охотника. Не отскочи Бегичев с не мень-

шим проворством в сторону, раненый зверь смял бы его. Последняя пуля разmozжила медведю череп.

Когда настала полярная ночь и морозы прикрыли море молодым льдом, Бегичев с товарищами повез на материк добычу: туши диких оленей, песцовые шкурки, мамонтовую кость, образцы пород и растений.

Им не удалось вывезти все это на материк: лед был еще слаб, подул ветер, началась подвижка, открылись полыньи. Спасая жизнь, охотники бросили кладь и налегке едва добрались до берега.

Но груз не пропал. В середине зимы спутник Бегичева разыскал брошенное во льдах пролива.

По тундре, где все в движении, в вечных перекочевках, слух летит со скоростью оленьей упряжки. Тундра с одобрением присматривалась к новичку после первого его удачного песцового промысла. Теперь поход на «Землю дьявола» сделал Улахан-Анцифера героем, достойным рассказов у костра.

И признание пришло не только на Таймыре.

Весной 1909 года Бегичев в черном сюртуке, в галстукe, неумело повязанном на могучей медной шее, ходил по Петербургу. Генерал-лейтенант Вилькицкий-старший, начальник Главного гидрографического управления, принял его, заинтересовался картой открытого острова. Бегичева пригласили на торжественный обед в честь спуска на воду ледокольного судна «Вайгач». Следопыт был всячески обласкан и в Академии наук. Академик Чернышев обещал ему поддержку и помощь.

В Дудинку Бегичев вернулся с бумагой, в которой таймырским властям предписывалось оказывать ему содействие, и с нетерпеливым желанием еще раз побывать на «своем» острове, чтобы основательнее обследовать его.

Многие просились со следопытом: промысел непуганого песка сулил достаток. Бегичев взял прежних спутников и двух новичков.

Весной 1910 года экспедиция благополучно перешла пролив.

Возле старинного зимовья поставили избушку из плавника. Лето минуло незаметно. Охотники мастерили песцовые ловушки. Бегичев разъезжал по острову, нанося на карту месторождения угля, собирая черепа мускусных быков и мамонтовую кость. Ему посчастливилось найти

не только бивни и разрозненные части скелета, но даже кожу и мясо гигантского ископаемого.

Теперь у Бегичева были инструкции Академии наук и кое-какие книги. Он уже умел определять некоторые минералы, мог правильно написать этикетку к каждому образцу.

Осень радовала приметами близкого удачного промысла: песцы шныряли по острову, и оставалось только дожждаться, когда отрастет их зимний белый мех. Охотники заготовили много мяса диких оленей, запаслись топливом. Зима не пугала, ее ждали с нетерпением.

Как-то декабрьской ночью Бегичева разбудил вой. Волки! Они не показывались все лето, охотники забыли о них. Теперь пришла расплата за беспечность. Волки разогнали все оленье стадо.

Долгие поиски ни к чему не привели. Бегичев встретился: надо всем уходить на материк, без оленей в тундре беда.

Но двое, Гаркин и Семенов, заупрямились. Вот еще, уходить от промысла, когда песец сам в руки идет! Можно ведь высматривать ловушки и на лыжах.

Бегичев сердился, упрекал упрямцев в жадности, глупости, но убедить их так и не смог. Темной полярной ночью в самые свирепые морозы он, оставив двоих в избушке, с остальными своими спутниками пешком переправился через пролив на материк.

По весне Бегичев купил вместо оленей ездовых собак, продовольствие и вернулся на остров. Вернулся уже не один, а со своими друзьями-якутами, поборовшими страх перед кознями шайтанов и согласившихся проводить его до «Земли дьявола».

Гаркин и Семенов обрадовались приезду Бегичева. Последнее время они берегли каждый кусок.

Бегичев понял, что эти люди не добьются на Севере многого: ленивы, бездеятельны, беспечны. Плавнику на острове сколько хочешь, они же разобрали и спалили в печке старую избушку, а самую лучшую для охоты пору провалялись на койках.

Бегичев растормошил лентяев, стали бить зверя, ловить рыбу. До осени на острове жили дружно.

С наступлением темной поры Бегичев, объезжая пустые ловушки, понял, что в этот год хорошей добычи не жди: песцы в поисках корма, должно быть, ушли на ма-

терик. Ну что же, как говорится, раз на раз не приходится, надо чинить нарты да за песцами вдогонку...

Но Гаркин с Семеновым в один голос: песцы вернутся, не резон уходить без добычи. Начались ссоры. Властный, не терпящий возражений, Бегичев горячился, стучал кулаком по столу. Все чаще в спорах брань заменяла доводы.

Было ясно, что не только на промысел песка, но и на охоту надежды плохи. Значит, придется подчистить запасы до последней крошки.

Однако двое твердили свое: «перебьемся». Бегичев в сердцах крикнул, что, в конце концов, он за них в ответе, ведь это он привез их на «свой остров».

Тогда Гаркин протянул ему заранее написанное письмо. В нем говорилось, что купеческий приказчик Ефим Гаркин и дудинский охотник Николай Семенов, находясь в здравом уме и твердой памяти, по своей доброй воле остаются на острове и если что с ними случится, то они ни в чем Н. А. Бегичева винить не будут.

Но Бегичев все же настоял, чтобы Гаркин поехал с ним на материк и пополнил запасы провизии. Так и сделали.

Кто знает, может, неудача на острове, а может, все тот же беспокойный дух бродяжничества погнал Бегичева прочь с Таймыра.

Лето он провел в разъездах. Побывал и в родном Цареве, и в Нижнем, и в Астрахани, и в Москве, и в Петербурге, метался в поисках нового дела, которое бы захватило целиком. Но поздняя осень застала его в лодке, плывущей вниз по Енисею. И вот итог его исканий: «Я решил вернуться опять на старое место к берегам Ледовитого океана, где себя чувствовал независимым и совершенно свободным гражданином».

Он добрался до Дудинки уже зимой и узнал, что Гаркин и Семенов с острова не возвращались. Обеспокоенный, готовый узнать худшее, Бегичев при первой возможности в одиночку перебрался через пролив.

Еще издали он увидел, что зимовье занесено снегом по самую крышу.

«Я зашел в избу, но в ней было очень темно,— записал в тот день Бегичев.— Окна были забиты снегом. Я наткнулся на койку, где лежало что-то твердое. Я вышел и принес свечу, зажег ее. Открыл одеяло — там ле-

жал мертвый Гаркин, а Семенова не было. На столе лежал дневник».

Это были записи Гаркина о событиях на острове.

Охотники, оставшись одни, упустили лучшее время промысла. Их терзали голод и цинга. Идти на материк в темную зимнюю пору они побоялись. Первым умер Семенов. Он упал в снег возле пустой песцовой ловушки. У Гаркина не было сил похоронить товарища.

Гаркин еще долго боролся с голодом. Он варил старые кости песцов и оленей, грыз распатавшимися зубами сухие ремни из моржовой кожи.

«Все надежды потеряны, если не придут люди, хотя бы вы, милый Никифор Алексеевич»...— читал Бегичев.

Последняя запись была сделана 19 марта:

«Я ожидаю конца существования».

Несчастный умер всего за несколько дней до приезда Бегичева.

Следопыт навсегда покинул «Землю дьявола», которая обозначена теперь на всех картах как остров Бегичева, и вернулся в Дудинку.

Слух о событиях в Сибири с опозданием на два года дополз до Петербурга. Журнал «Вокруг света» напечатал статью «Трагедия Полярного круга». Статья начиналась так: «Летом 1913 года русская экспедиция под руководством инженера Бегишева...»

Видимо, простой боцман в роли исследователя не устраивал автора статьи. Для занимательности он превратил Гаркина и Семенова в золотоискателей и выдумал какого-то японского лоцмана Котцу, китобоя и авантюриста, который будто бы вероломно покинул их. На этом острове Гаркин с Семеновым били соболей и куниц, добыли полпуда золота, открыли таинственный «лагерь шестидесяти мертвецов»...

Когда журнал попал в Дудинку, «инженер Бегишев» был далеко от нее. Перед ним бурлила половодьем широкая река, не нанесенная на карты. У берега сгрудились олени упряжки. Улахан-Анцифер в мучительном раздумье смотрел на мутные волны.

Надо было разведать переправу. Во что бы то ни стало. Любой ценой.

Бегичев шел на помощь кораблям экспедиции Северного Ледовитого океана «Таймыру» и «Вайгачу», затертым льдами возле побережья. Там ждали пополнения за-

пасов продовольствия. Больные и те, без кого можно было обойтись на зимовке, надеялись выбраться на материк. Бегичев пообещал выручить моряков. И вот теперь эта река...

А, была не была! Бегичев выбрал двух сильных оленей, связал веревкой. Стал раздеваться, переступая босыми ногами по замерзшей за ночь глине. Взял в зубы нож. Погонщик оленей кочевник Прокофий отпрянул в сторону, забормотал в страхе:

— Улахан-Анцифер ум кружал! Совсем ум потерял, беда!

Кто же, как не сумасшедший, будет раздеваться на ветру, от которого и в оленьей малице дрожь пробирает!

Бегичев погнал в воду оленей. Прыгнул следом за ними, ахнул, задохнулся. Судорога свела тело. Успел схватиться за веревку. Олени плыли через реку, испуганно кося на него глазами. Только бы не разжалась окоченевшая рука!

На середине реки олень запутал веревку на рогах, потянул другого, тот начал захлебываться. Бегичев ударил ножом по туго натянутой веревке. Олени повернули назад к стаду. Бегичев поплыл один.

Через полчаса он, весь синий, стуча зубами, пригнал унесенный ветром на другой берег каяк и велел начинать переправу.

5 июля 1915 года со стоящего среди льдов судна «Эклипс» заметили вдаль долгожданные олени упряжки.

«Эклипс», которым командовал друг Нансена, бывший капитан «Фрама» Отто Свердруп, минувшим летом безуспешно искал следы исчезнувших во льдах экспедиций на «Св. Анне» и «Геркулесе». Теперь судно дало приют людям с «Таймыра» и «Вайгача», пришедшим сюда в ожидании Бегичева.

Улахан-Анцифер на головной упряжке неся к «Эклипсу». Оттуда салютовали винтовочной пальбой. Бегичев едва не валился с ног: шутка ли, сорок семь дней тяжелой дороги!

Когда «Эклипс» передал по радио на «Таймыр» о приходе санной партии, оттуда дважды запрашивали, точно ли, что прибыл именно Бегичев?

Вскоре караван, забрав пятьдесят моряков экспедиции Северного Ледовитого океана, повернул на юг,

Конечно, Бегичев совершил подвиг, посильный лишь человеку, знающему Север, имеющему надежную опору в тундре. Только Улахан-Анцифер смог по весне, перед началом весенних перекочевок, нанять сотни оленей у своих приятелей, а приятели у него были на каждом становище. Только Бегичев, с его упорством, с его верой в себя, мог совершить бросок к океану через весеннюю тундру, когда пурга внезапно сменяется оттепелью с дождем, снег раскисает, плотный туман скрывает все вокруг, ручьи на глазах превращаются в речки, а речки — в бурные реки. С сотворения мира на них никто не строил мостов, и единственный способ переправы — гнать оленей в ледяную воду вместе с деревянными нартами...

Да, Бегичев совершил подвиг!

Но запись в его дневнике о прибытии на «Эклипс» сдержанна. Вилькицкий-младший, командовавший экспедицией, поздравив по радио Бегичева, попросил затем, чтобы тот привез на «Таймыр» и «Вайгач» почту. Было похоже, что Вилькицкому это казалось простым делом: еще каких-нибудь триста километров, только и всего.

Бегичев попросил Свердрупа передать на «Таймыр», что не может выполнить просьбу Вилькицкого: по дороге надо пересекать большую разлившуюся реку Таймыру. Вилькицкий радиовал: Бегичев должен привезти почту. Рассерженный Бегичев сказал Свердрупу:

— Я же не пришел развозить почту, а пришел спасать людей.

Видимо, эти слова были переданы по радио Вилькицкому, и тот перестал настаивать...

Мне не удалось найти свидетельств самого Свердрупа относительно похода Бегичева. Но на «Эклипсе» находился представитель морского ведомства доктор Тржеметский. Его дневники сохранились. Вот несколько записей, взятых подряд из описания «важнейших событий за 1915 год».

12 июня. Убит первый гусь.

20 июня. Принесены первые гусиные яйца.

5 июля. Рано утром пришел с частью оленей Бегичев и привез почту. Вечером умер кочегар 1-й статьи Мячин (транспорт «Вайгач»).

7 июля. Кочегар Мячин похоронен с отдаением воинских почестей на мысе Вильда. На его могиле поставлен большой крест, сделанный из плавника.

Похоже, что и доктор Тржемеский не оценил по достоинству того, что сделал Бегичев.

А у Бегичева началась долгая волокита с отчетом и с расчетом. Бегичев истратил на экспедицию много своих денег, все обошлось дороже, чем он думал сначала. Чиновники же из Петрограда докучали назойливыми придирами: почему он, Бегичев, бросил в тундре износившиеся нарты, ведь это все-таки казенное имущество?

И получилось у Бегичева: ни славы, ни денег. Правда, губернатор пообещал представить его к званию почетного гражданина города Енисейска...

Вероятно, годы, потянувшиеся после похода к «Эклипсу», были самыми тяжелыми и пустыми в жизни Бегичева. Нельзя сказать, чтобы он бедствовал, но прежнего достатка не было. Были деньги «на жизнь» и не было для того, чтобы отправиться в давно задуманный поход за хребет Бырранга. А к неудачам материального свойства прибавилось обострение душевного разлада, существо которого можно было бы выразить так: «От своих отстал, к чужим не пристал».

Простолюдин, он в северных скитаниях — сначала на «Заре», потом в снегах Таймыра — сталкивался с людьми «высшего круга». Ледяное безмолвие сглаживает социальные различия. Ему не пришлось испытать холодной отчужденности, плохо скрываемого пренебрежения к «выскачке», которое выпало на долю рыбацкого сына Георгия Седова в среде кастового морского офицерства Петербурга. В столице боцман был недолгим гостем. На Таймыре же самым высоким чином был туруханский пристав Кибиров, и скорее он нуждался в Бегичеве, чем Бегичев в нем.

Но разве о дружбе с подобными людьми мечтал Улахан-Анцифер? Он видел себя открывателем и первопроходцем, о котором говорят в Географическом обществе, вспоминают в Академии наук... Его честолюбие и прежде никогда не удовлетворялось почтительными поклонами дудинцев. А тут подошли дни, когда о бывшем боцмане стали забывать даже соседи.

Пока он без настоящего дела сидел в Дудинке, начались важные события. Всех взбудоражила депеша об

отречении царя. Из Туруханского края потянулись обозы: ссыльные торопились «в Россию». Трехцветный флаг над дудинской почтовой конторой сменился красным. Все говорили о революции, говорили по-разному, а Бегичев слушал и ни в чем не мог разобраться по-настоящему.

Когда в Сибири началась гражданская война, Улахан-Анцифер не примкнул ни к одному из лагерей. А ведь он мог рассчитывать на покровительство самого «верховного правителя»! Хотя во время экспедиции на «Заре» между морским офицером Колчаком и боцманом не раз происходили крупные стычки, Бегичев спас Колчака от неминуемой гибели в трещине среди льдин, и тот обещал никогда в жизни не забыть своего спасителя...

Но Бегичев не пошел к колчаковцам. Не пошел он и к красным. А когда на Севере окончательно утвердилась Советская власть, присматривался к новым людям без особого дружелюбия. И конечно, не потому, что они прижали «тунгусников» и посадили в кутузку пристава.

«Вина» их была в том, что они забыли его, Никифора Бегичева, Улахан-Анцифера, георгиевского кавалера, обладателя золотой медали за экспедицию на «Заре», открывателя «Земли дьявола». Забыли, будто и нет его вовсе, будто ничего не сделал он полезного на Таймыре и никому теперь не нужен.

Красные флаги полоскались на мачтах пароходов, привозивших в Дудинку соль, порох, отпечатанные на оберточной бумаге брошюры. Приезжали из Красноярска люди с мандатами, уходили в тундру искать уголь, учить ребятишек, ловить укрывшихся на дальних становищах колчаковских карателей. Жизнь шла своим чередом, странная, не похожая на прежнюю.

Шла мимо окон домика, где пил неразбавленный спирт боцман Бегичев.

* * *

Бегичев знал капитана Альфреда Каулина, известного на Енисее тем, что он любил класть за щеку противную никотиновую горечь, накопившуюся в мундштуке трубки. Добрые люди удивлялись странной привычке и вкусу капитана гидрографического бота «Иней» и посмеивались над ним.

Поздней осенью 1920 года матрос с «Инея» прибежал к дому, где жил Бегичев. Он попросил боцмана срочно

прийти на судно. Недоумевая, зачем он мог понадобиться Каулину, Бегичев пошел к пристани.

На «Инее» его ждал представитель комитета Северного морского пути. Бот, убегавший от ледостава, оказывается, специально зашел в Дудинку. У представителя комитета было важное дело к Бегичеву.

Год назад Руал Амундсен, дрейфовавший возле берегов Таймыра на судне «Мод», послал двух своих спутников, Кнудсена и Тессема, к устью Енисея, на остров Диксон. Они должны были доставить туда научные материалы экспедиции. Однако норвежцы исчезли в тундре. Посланная на розыски из Норвегии шхуна «Хеймен» ничего не нашла. Что если теперь попытаться Бегичеву?

— Поищу, — сказал Бегичев.

Он торжествовал в душе: о нем вспомнили, он нужен, он еще покажет, на что способен!

Пока Наркоминдел уточнял с Министерством иностранных дел Норвегии вопросы, связанные с поисками спутников Амундсена, помолодевший Бегичев вел тонкие дипломатические переговоры с владельцами оленей: ведь пока что он не знал ни сроков найма, ни условий оплаты.

Наконец пришла радиограмма, подтверждающая, что поиски должны начаться ближайшей весной. Были в радиограмме особенно дорогие Бегичеву строки о предстоящей экспедиции: «Примите участие как в организации, так и в выполнении ее по примеру 1915 года. Со стороны Совета республики вам будет оказано содействие».

И снова, как в 1915 году, Бегичев собрал оленей — огромное стадо, пятьсот животных. Снова была весенняя тундра. Сначала караван проделал долгий путь до Диксона. Отсюда вдоль побережья океана с Бегичевым пошли капитан зимовавшей у острова шхуны «Хеймен» и матрос, знавший русский язык.

Дневник похода — хроника нарастающих трудностей: «Олени падают»; «Холодно»; «Идем по водянистому снегу»; «Олени бредут в нем по брюхо»; «Бросили 9 оленей»; «Дров нет»; «У нас пали все олени»...

До места, где Тессем и Кнудсен должны были по уговору с Амундсеном оставить письмо о своем походе, экспедиция шла пятьдесят дней. Это был памятный Бегичеву мыс Вильда, возле которого в 1915 году стоял «Эклипс».

Где норвежцы могли спрятать письмо? Конечно, в сло-

женном из камней гурии. Там действительно оказалась жестянка с запиской:

«Два человека экспедиции «Мод», путешествуя с собаками и санями, прибыли сюда 10 ноября 1919 года... Мы находимся в хороших условиях и собираемся сегодня уходить в порт Диксон.

Петер Тессем. Пауль Кнудсен».

С тех пор время могло стереть все следы. Поисковому отряду предстояло теперь медленно, очень медленно возвращаться к острову Диксон, заглядывая по пути в каждую бухту, на каждый мыс, на каждую косу. Норвежцы могли пробираться вдоль самого берега, могли срезать углы через тундру, могли идти по морскому льду. Нужно было каждый раз чутьем угадывать их выбор. Малейшая оплошность, малейший промах — и отряд пройдет в двадцати шагах от какого-либо предмета, оставленного, брошенного или потерянного норвежцами. Пройдет, не попав на след. Поэтому с каждого места стоянки расходились пешком в разные стороны, «прочесывая» тундру.

Первой находкой были сани. Норвежцы почему-то бросили их. Пока было ясно, что Тессем и Кнудсен прошли именно здесь. Чутье не обмануло Бегичева.

Между тем у поисковой партии кончился хлеб. Последнюю банку консервов растянули на два дня. Оставалась надежда на ружье.

Коса у мыса Приметного привлекла внимание Бегичева. Он медленно пошел вдоль нее. Наткнулся на следы костра. В нем были обгоревшие человеческие кости. Здесь же валялись оправа от очков, пуговицы, патроны, остатки карманного барометра, монета.

Пришли на косу капитан и матрос «Хеймена», молча сняли шапки.

Один из двух, посланных с «Мод», погиб здесь. У другого, должно быть, не было сил долбить вечную мерзлоту. Он сжег труп товарища, чтобы тот не стал добычей песцов.

Но кто погиб у мыса Приметного — Тессем или Кнудсен?

Что было причиной трагедии?

Куда побрел отсюда тот, кого пощадила смерть?

Розыски продолжались до зимы, когда снежный саван надолго прикрыл тундру. Поисковый отряд прошел по Таймыру, как потом подсчитал Бегичев, 2346 верст!

Капитан и матрос «Хеймена», подружившиеся с Бегичевым, погостили у него в Дудинке, а потом вернулись в Норвегию. Шхуна ушла еще раньше. Норвежское правительство заявило, что дальнейшие поиски беспредельны.

Но Бегичев думал иначе. Ему хотелось довести дело до конца. Весной 1922 года он становится проводником геологической экспедиции Н. Н. Урванцева, спустившейся по реке Пясине к морю и исследовавшей побережье Таймыра. Когда экспедиция двигалась по направлению к Диксону, Бегичев пользовался каждым случаем, чтобы поискать следы последнего пути второго норвежца.

Куски ткани под грудой плавника на пустынном берегу обнаружил не Бегичев, а другой участник экспедиции. Но Бегичев понял, что они означают: здесь побывал норвежец!

И действительно, вскоре удалось найти не только брошенные норвежцем вещи, но и два пакета с письмами Амундсена, ради доставки которых Тессем и Кнудсен покинули «Мод».

Но если норвежец решился бросить даже их, значит, он был в очень тяжелом состоянии. И должно быть, его останки где-то совсем близко...

Искали весь день.

Искали и следующий день, медленно продвигаясь к теперь уже совсем близкому Диксону.

Нашли норвежские лыжи и спальный мешок. Значит, норвежец бросил все и...

Казалось просто непостижимым, что он мог куда-то исчезнуть буквально в нескольких километрах от цели. И если даже он погиб где-то здесь, то почему никто из зимовавших на Диксоне так и не обнаружил его труп?

На Диксоне, куда пришла экспедиция, Бегичев должен был ждать парохода в Дудинку. Чтобы не терять времени, он охотился возле острова.

...Скелет смутно белел в береговой расщелине. Бегичев увидел его с лодки.

Это были останки Тессема.

Имя было выгравировано на крышке золотых часов, лежавших в кармане полуистлевшего вязаного жилета, прикрывавшего скелет. На пальце блестело кольцо с надписью: «Паулина». Так звали невесту норвежца.

Тессем погиб вблизи радиостанции Диксона. Если бы не полярная ночь, он должен был бы видеть ее мачту!

В дневнике Бегичева о скелете сказано: «Он лежал в 4-х шагах от моря на каменном крутом скате. От Диксона (радиостанции) в 3-х верстах». Бегичев не попытался объяснить причину гибели норвежца и отметил лишь, что закончил свою миссию по розыску погибших.

«Не было сомнений, что несчастный матрос в полном истощении сил свалился почти у самого места своего спасения и здесь погиб от холода и голода», — считает известный полярник профессор Р. Л. Самойлович.

Н. Я. Болотников полагает, что Тессем увидел огни радиостанции, ускорил шаги и, не заметив обрыва, сорвался на прибрежные камни.

Мы можем лишь строить догадки и предположения. Но каждый, кому приходилось побывать у высокого серого креста из плавника, особенно остро чувствовал трагическую нелепость смерти смельчака.

Теперь на Диксоне памятник Тессему — каменная глыба с его именем, вокруг которой столбики поддерживают тяжелую якорную цепь. И на этом же острове увековечена память Бегичева. Скульптор запечатлел следопыта в движении, в порыве. Улахан-Анцифер шагает навстречу ледяному ветру, откинувшему полы его «парки». Он видит что-то там, далеко впереди, за снежной пеленой — может быть, «Землю дьявола»...

Когда в Норвегии узнали о находке останков Тессема, газеты вновь вернулись к обсуждению причин трагедии на побережье океана. Однако они не смогли прибавить ничего нового и ограничились легкими упреками в адрес Амундсена, в опубликованных дневниках которого была датированная летом 1920 года запись: «Сообщение о том, что никто не имел никаких вестей от Кнудсена и Тессема, может объясняться только тем, что телеграф на Диксоне не работает; оснований беспокоиться за них нет».

Норвежское правительство поблагодарило советские власти за блестящие результаты поисков спутников Амундсена. Бегичев получил в награду именные золотые часы, присланные на Таймыр из Осло.

Эти часы Никифор Алексеевич взял в последнюю свою экспедицию, когда во главе первой на Таймыре охотничьей кооперативной артели «Белый медведь» отправился к мысу Входуному.

А летом следующего года, как уже упоминалось, охотники вернулись в Дудинку без Бегичева. Они сообщили местным властям, что Бегичев умер от цинги и похоронен на берегу океана.

Тундра не поверила. От цинги?! Новички уцелели, вернулись здоровыми и невредимыми, а Улахан-Анцифер погиб? Ох, что-то тут неладно!

И вскоре возникло уголовное дело № 24 «О нанесении тяжких побоев и последующих мучительных истязаниях Бегичева Никифора Алексеевича, приведших к его смерти».

После того как дело прекратили, молва не умолкла. Следствие возобновилось. Однако снова не удалось произвести вскрытия, на котором настаивал и сам подозреваемый, и другие члены артели, запятнанные слухами о соучастии или укрывательстве.

Снова и снова «Н», «Н-о», «Н-ко» появлялся в очерках и рассказах о Бегичеве то как убийца, сумевший замести следы, то как изувер, с дьявольской изобретательностью подстроивший все так, что незначительная болезнь Бегичева стала роковой. И ни для кого на Таймыре не было секретом, что своими «Н», «Н-о» и «Н-ко» авторы намекают на здравствующего совхозного бухгалтера, бывшего члена артели «Белый медведь» В. М. Натальченко.

Три десятилетия под подозрением... И не только Натальченко, но и те, кто, по распространенной версии, видел и не заступился, знал правду, но малодушно солгал следствию...

Осенью 1955 года на Таймыр вылетел из столицы самолет. На мысе Входном московских криминалистов ждали работники краевой прокуратуры. Были еще раз допрошены подозреваемые, собраны показания свидетелей, в том числе вдовы Бегичева. Затем приступили к вскрытию могилы.

Труп опознал один из людей, лично знавших Бегичева. Оказавшееся в кармане брюк удостоверение, выданное Бегичеву союзом кооператоров, исключило последние сомнения.

Началось судебно-медицинское исследование. Оно продолжалось потом в Москве с применением новейших достижений криминалистики.

«Мы стали проверять все известные и вероятные вер-

сии о насильственной смерти Бегичева, — пишет А. Т. Бабенко. — Ни одна из них не подтвердилась объективными данными исследования.

Таким образом, судебно-медицинское исследование полностью исключило версию о насильственной смерти и пришло к выводу, что смерть Бегичева наступила от авитаминоза (цинги)».

Последняя страница биографии полярного следопыта обрела достоверность. Отпали подозрения, почти тридцать лет тяготевшие над членами артели «Белый медведь». Пусть этих людей последние годы незаслуженно обвиняла лишь молва — публичное признание их невиновности после кропотливой, доказательной работы специалистов было делом нужным и гуманным. Ради всего этого, безусловно, стоило снаряжать экспедицию к одинокой могиле на берегу Северного Ледовитого океана!

* * *

Осенью 1967 года я снова побывал в знакомых местах на Таймыре. Дудинка теперь город, и только с помощью старожилов мне удалось возле нового здания речного вокзала найти то место, где стоял домик Бегичева. Зато в Дудинке появилась улица, названная именем следопыта, так много сделавшего для исследования Таймыра. На этой, еще только застраиваемой улице, где таблички по стенам зданий призывают: «Граждане, берегите дома, не допускайте нарушений вечной мерзлоты!», находится лоцмейстерская, и проводники морских караванов уходят отсюда в дальние рейсы.

В Дудинке мне посчастливилось встретиться со старожилом, знавшим Бегичева. Весной 1926 года Иван Гаврилович Ананьев, тогда молодой человек, заведующий факторией, покинул Дудинку вместе с членами бегичевской артели «Белый медведь». Они доехали до Пясинского озера, и здесь Ананьев повернул к себе на факторию, а Бегичев с товарищами отправился дальше.

Я снова услышал рассказ об Улахан-Анцифере, о его отзывчивости, о том, как, охотясь со своим другом Оло-то, он неизменно отдавал тому все шкуры добытых диких оленей: «У тебя семья большая, тебе всех одевать надо». Бегичев запомнился Ивану Гавриловичу таким, каким он был в начале своего последнего путешествия: крепким, бодрым... А потом Ананьев увидел Улахан-Анцифера

двадцать девять лет спустя сквозь мутный лед во вскрытом на мысе Входном гробу...

— Ведь вот сколько лет прошло, а спросите любого дудинца, спросите кого хотите в тундре — всяк Бегичева знает. Запомнился он народу, наш Никифор Алексеевич! А поезжайте в Норильск — то же самое.

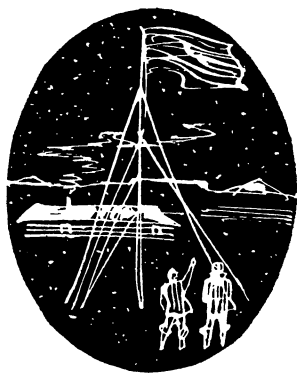
И прав был Иван Гаврилович! В шумной «столице Таймыра» улица Бегичева, как и улица Нансена, пересекает тот ее район, где идет особенно бурная стройка нового общественного центра с высотными зданиями.

В превосходном Доме техники среди экспозиций, рассказывающих об истории Норильска, Никифору Алексеевичу Бегичеву уделено особое место. Здесь нет упоминаний об открытом им острове, о собранных палеонтологических и геологических коллекциях, о походах через тундру, об участии в полярных экспедициях. Здесь оценен лишь вклад Бегичева в создание крупнейшего заполярного центра индустрии. Рядом с портретом следопыта крупные золотые буквы на стене напоминают о важном этапе норильской истории, об открытии, имевшем жизненно важное значение:

«1922 год. Исследователи Н. Бегичев, Н. Урванцев, Б. Пушкарев, Д. Базанов провели замеры Пясинской водной системы.

Путь от Северного Ледовитого океана до реки Норильской был открыт».

Этот путь в первые годы норильской стройки стал главной транспортной артерией, без которой не смог бы так быстро расти город, известный теперь всему миру.



ФЛАГИ НАД ОСТРОВОМ

Да, это оказалась именно та деревня Лазарева!

...Была весна 1930 года. Наша изыскательская партия высадилась на берегу Амура, в старинной казачьей станице Михайло-Семеповской. Я должен был начинать топографическую съемку в Лазаревой, потом перебраться в соседнее большое село Бабство, через которое проходила знаменитая «колесуха» — бывший каторжный тракт, забытый и заросший.

Бабство? Странное название! Но оказалось, что в нем увековечил свою фамилию казачий офицер Бабст. И Лазарев был казачьим сотником.

В Лазаревой дома были крыты тускло-серебристым рифленным железом, что свидетельствовало о достатке жителей. Поговаривали, будто кое-кто в деревне тайком промышлял контрабандой; но большинство лазаревцев жило охотой.

Охота в Приамурье тогда была фантастической: дикие фазаны забежали в лопухи за огородами, и крик их, похожий и непохожий на петушинный, раздавался вдруг

среди дремотной тишины. Я решительно ничего не знал о фазаньих повадках, расспрашивать же охотников по молодости стеснялся и долго высматривал дичь на деревьях, куда в дневную пору фазана едва ли заманишь...

В горнице, где я поселился, из украшенной бумажными розами рамки глядели усатые brave казаки в мундирах Амурского войска. На стене висели пашки в потертых черных ножнах. Хозяин, старый, припадавший на правую ногу вояка («царапнуло на русско-японской»), не считал меня стоящим человеком. Он видел, что в седле я сижу, «как пес на заборе», — и это в краю, где мальчишек с четырех лет приучают к коню!

Потом старик немного оттаял, узнав, что я, выросший в городе, верхом езжу впервые в жизни и что Лазарева — первое место моей самостоятельной работы.

Выяснилось, что мой хозяин хаживал в тайгу с Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым. Я, понятно, набросился на старика с расспросами: автор «Дерсу Узала» был кумиром изыскателей, по его книгам мы, сибиряки, еще до отъезда на Дальний Восток заочно проходили курс уссурийской таежной жизни. Но старик в ответ только невнятно бурчал: было похоже, что знаменитый путешественник за какие-то прегрешения отчислил его из экспедиции.

Я спросил, не ходил ли с Арсеньевым еще кто из лазаревцев? Оказалось, ходил парнишка Гошка Ушаков, только он сызмальства подался из родной деревни в Хабаровск и домой давненько не наведывался...

И вот тридцать семь лет спустя я сижу на Суворовском бульваре в доме, который москвичи знают как Дом полярника. На его фасаде мемориальная доска: здесь жил выдающийся исследователь Арктики Георгий Алексеевич Ушаков.

Пока Ирина Александровна, вдова полярника, ворошит старые папки и перелистывает бумаги, я разглядываю кабинет. Пашка на стене, не простая казацкая, а в дорогих ножнах — партизанский трофей. Акварельный рисунок угрюмого острова во льдах; это, конечно, остров Ушакова, открытый во время высокоширотной экспедиции «Садко», в которой участвовал Георгий Алексеевич.

Масса книг. Вон Нансен, Лондон, Франс, Скотт... Часть книг вместе с хозяином путешествовала на собачьих упряжках, качалась в каютах кораблей ледового

плавания. Их страницы хранят следы тюленьего жира, копоты, сырости.

На полу огромный, по грудь человеку, глобус, подаренный исследователю за границей в тот год, когда он был уполномоченным правительственной комиссии по спасению челюскинцев. Ушаков летал в их ледовый лагерь, вывез в Ном больного начальника экспедиции Отто Юльевича Шмидта. Возле Северной Земли, исхоженной Ушаковым, на глобусе по-немецки написано ее прежнее название: Земля кайзера Николауса II.

Сквозь стеклянную дверь виден могучий бивень монтажа, загроздивший балкон. И еще моржовые клыки, охотничьи доспехи, медвежья шкура...

— А, вот, пожалуйста! — Ирина Александровна протягивает старую анкету. — Видите: «учился в Бабстовской школе». Значит, это действительно та самая Лазарева!

Я знаю, что теперь в тех краях все по-другому: отличные дороги, большие поселки, все распаханно, все обжито. Но тогда...

Фазаны на огородах? Пустяки! Возле лавчонки Дальторга видел я охотника со свежей, еще не выделанной шкурой тигра. В Долгом болоте, левее дороги из Лазаревой в соседнее село Архангельское, водились кабаны, особенно нахальные и свирепые по весне. В таежных падах Даурского хребта били медведей.

Лазаревцы стреляли диких коз, не соскакивая с седла, зимой надолго уходили на промысел, спали в снегах. В общем, жизнь их учила многому, что позднее так пригодилось лазаревскому парнишке.

Я не был достаточно хорошо знаком с Георгием Алексеевичем, хотя и встречался с ним как в Арктике, так и в Москве. Он не отличался разговорчивостью и, как мне рассказывал один из его друзей, мог, придя к близкому человеку, весь вечер просидеть в уголке над заинтересовавшей его книгой. Он неохотно давал интервью, и журналисты предпочитали более словоохотливых людей.

Уже на склоне жизни выяснилось, что у него незаурядный литературный дар. Написанная им книга «По нехоженой земле» выдержала несколько изданий, была переведена на многие языки. Повесть о том, как удалось впервые обследовать необитаемую Северную Землю, принадлежит, по-моему, к числу лучших книг о делах в Советской Арктике.

Открытая экспедицией Северного Ледовитого океана в 1913 году, в канун долгих лет войн и разрухи, Северная Земля терпеливо ждала людей науки. После первого полета Нобиле на дирижабле «Италия» в 1928 году, когда наблюдатели не увидели с воздуха никаких признаков суши, за рубежом даже стали раздаваться голоса, что Северная Земля — такой же миф, как Земля Джиллеса, Земля Петерманна и другие «земли», слишком поспешно нанесенные на карты и медленно исчезающие с них после более тщательных разведок.

И вот для обследования самого северного у берегов Евразии архипелага отправилась четверка отважных: начальник экспедиции Георгий Ушаков, руководитель научных работ, известный полярник, геолог Николай Урванцев, радист Василий Ходов, промышленник Сергей Журавлев.

Это была, вероятно, последняя крупная полярная одиссея, совершенная в лучших героических традициях конца XIX и начала XX века, когда смельчак, упрямо ведущий сквозь пургу собачью упряжку, оставался еще главной собирательной фигурой исследователя арктических пустынь.

Да, в 1930 году, когда началась экспедиция на Северную Землю, дирижаблы уже плавали под Арктикой, первые самолеты садились на ледяные поля, арктические станции форпостами науки выдвигались к высоким параллелям. Но нехоженный архипелаг сначала нужно было просто разведать, протоптать первые тропы там, где еще не ступала нога человека.

Экспедиция Ушакова — Урванцева провела на Северной Земле два года. Люди, уходя во тьму полярной ночи и в сыкотную ростепель короткого полярного лета, прочертили архипелаг труднейшими санными маршрутами. Тридцать семь тысяч квадратных километров нехоженных земель были точно положены на карту.

Когда читаешь описание невероятно трудного семисоткилометрового похода Ушакова и Урванцева, осознаешь, что он во многом выдерживает сравнение со знаменитым походом Нансена и Иохансена на юг от неведомой Белой Земли. Это сравнение, понятно, не умаляет подвига великого норвежца. Оно говорит лишь о том, что нашлись достойные продолжатели дела, прославившего Нансена.

Выдающийся научный подвиг на Северной Земле не сразу оценили полной мерой. В свое время тут немалую роль сыграло то, что Николай Николаевич Урванцев, с 1919 года самоотверженно отдававший себя исследованию полярных окраин Сибири, был оклеветан. В литературе о первопроходцах Северной Земли некоторое время упоминались трое вместо четырех: замалчивалось имя человека, который осуществлял общее научное руководство при исследовании нехоженной земли.

К счастью, все это давно позади. Николай Николаевич Урванцев вернулся к любимому делу. За достойный вклад в развитие науки, за свои исследования в Арктике он награжден Золотой медалью Географического общества — той медалью, которой до него были удостоены Пржевальский, Семенов-Тянь-Шанский и Обручев.

Изданная еще по горячим следам событий книга Н. Н. Урванцева «Два года на Северной Земле», а также последнее издание книги Г. А. Ушакова дают яркую выразительную картину подвига в Арктике. Эти первоисточники помогут читателю по достоинству оценить дела и дни четырех полярников.

Но если говорить о Георгии Алексеевиче Ушакове, то мне кажется даже более примечательной, нежели исследование Северной Земли, начальная страница его полярной биографии. Я имею в виду те годы, когда он был начальником острова Врангеля.

Разговаривая с людьми, давно и близко знавшими Георгия Алексеевича, я, к сожалению, так и не смог установить, были ли ему в молодые годы известны подробности жизни Нансена среди эскимосов Гренландии. Но можно предположить, что, принимая в 1926 году важное решение, повернувшее его жизнь, как компасную стрелку на север, молодой Георгий Ушаков в чем-то следовал примеру молодого Фритьофа Нансена. И уж, конечно, тут было влияние Арсеньева с его любовью к природе и особенно к людям, выросшим среди природы, умеющим понимать ее, к людям прямодушным, бесхитростным, далеким и от благ, и от бед, приносимых цивилизацией.

Для двадцатисемилетнего Нансена, как мы помним, зимовка в поселке эскимосов была вынужденной. После блистательного похода через ледниковый купол ему пришлось остаться в Гренландии из-за невозможности покинуть ее до весны, до прихода судна. Готхоб, где он с

товарищами прожил шесть месяцев, был старым поселком со сложившимся бытом и постоянной колонией европейцев.

Ушаков же, которому едва исполнилось двадцать пять лет, добровольно отправился на практически необитаемый остров. У него не было никакого полярного опыта. Вместе с эскимосами, высадившимися на пустынный берег, он должен был начинать с поисков места для жилья, с возведения крыши над головой, с добычи зверя. И провел Ушаков на острове Врангеля не одну зиму, а три долгих года.

Мы знаем далеко не все об этой своеобразной полярной робинзонаде. Дневники Ушакова за время жизни на острове в свое время не были опубликованы. Не сразу удалось найти ту их часть, которая долго считалась утерянной. Сохранились лишь черновые наброски плана так и не написанной Георгием Алексеевичем большой книги о трех островных зимовках. А ведь эти зимовки не только важная веха в биографии полярника, но также памятный эпизод истории закрепления прав нашего народа на земли в Северном Ледовитом океане и впечатляющая страница летописи борьбы за нового, советского человека в Арктике.

Известный в свое время летчик, ныне заслуженный пенсионер, сказал как-то об Ушакове:

— Знаете, что в нем было главным? Партийный человек. Люди это чувствовали в нем, верили ему. И он верил людям. Вот почему у него и получалось на Врангеле как падо. А слышали вы историю с квартирой Кони?

История была такой. Когда Ушаков после полярной экспедиции приехал с отчетом в Ленинград, ему дали временное пристанище в пустовавшем доме незадолго перед тем скончавшегося видного русского юриста А. Ф. Кони. Дом был передан на попечение Академии наук: там имелось много уникальных вещей и ценнейшая библиотека.

И никому даже в голову не могло прийти, что Ушаков, добрейшая душа, жил в доме не один, а вместе с подобранными на улицах беспризорными ребятишками. Более того, отлучившись по срочному делу в Москву, он оставил им ключи от квартиры. Он знал, что ребята не обманут его: он верил людям.

Ушаков принадлежал к поколению, юность которого

совпала с революцией, с гражданской войной. В семнадцать лет, весной 1918 года, он записался в отряд Красной гвардии. Когда интервенты заняли Приморье, вступил в партизанский отряд Петрова-Тетерина. В отряде были преимущественно шахтеры и крестьяне Сучана.

Летом 1919 года отряд, выполняя план, разработанный Сергеем Лазо, напал на интервентов, занимавших станцию Сица, и сумел прервать сообщение по Уссурийской железной дороге. Когда позднее партизанские отряды объединились, Ушаков сражался в рядах 4-го народно-революционного полка на Амурском фронте. Он участвовал в освобождении Владивостока, стал инструктором Владивостокского губревкома...

В мирные дни Ушаков сменил несколько занятий. Его направили было заведовать музеем; он заскучал там, перепросился на политпросветработу среди шахтеров. В разгаре нэпа Ушакова определили в Дальторг: партия в те годы призывала коммунистов учиться торговать.

Торговать он, кажется, так и не научился: не успел.

Важность правительственного задания, которое в 1926 году получил Ушаков, станет ясной, если вспомнить кое-что об истории острова, названного именем побывавшего возле него в 1824 году Ф. П. Врангеля и ставшего почти столетие спустя местом трагедий и авантур.

* * *

В душной, жаркой яранге, где от табачного дыма слизились глаза, капитан Роберт Бартлетт записал на странице дневника, датированной 6 апреля 1914 года:

«Годовщина открытия Северного полюса. В Нью-Йорке клуб ученых и исследователей, наверное, чествует Пири».

Роберт Бартлетт, «капитан Боб», шел к полюсу тогда, пять лет назад, рядом с Робертом Пири.

Он мог бы разделить с Пири — и по справедливости должен был бы разделить — честь достижения полюса, как делил с ним все трудности пути к заветной точке. Но перед решающим броском Пири неожиданно оставил «капитана Боба» в последнем предполюсном лагере, взяв с собой Мэтью Хенсона.

Бартлетт был белым, известным капитаном, а Хенсон — негром, слугой. Имя Хенсона неизбежно должно было затеряться рядом с именем великого Пири. И оно

действительно затерялось, как и имя капитана Бартлетта, делившего с Пири все, кроме славы...

В 1913 году Роберт Бартлетт стал капитаном «Карлука», на котором знаменитый полярный исследователь Стефанссон снарядил под флагом Канады экспедицию для обследования той части Полярного бассейна, которая лежит севернее Аляски. Она отправилась на поиски неведомых земель, существование которых считалось вполне вероятным.

«Карлук» покинул берега Аляски в середине лета, вошел во льды, и вскоре стало ясным, что дальнейшее продвижение судна едва ли будет успешным. В сентябре определилась неизбежность зимовки. Тогда Стефанссон вместе с небольшой партией охотников решил дней на десять покинуть судно, чтобы пострелять оленей на островах Аляски: надо было думать о пополнении запасов продовольствия.

Едва охотники покинули судно, как поднялся сильный ветер. «Карлук», до той поры стоявший среди неподвижных льдов, начал дрейфовать вместе с ними. Бартлетт велел сгрузить на лед часть продовольствия и построить на льду снежные хижины на случай, если судно будет раздавлено при сжатии.

Когда на дрейфующем «Карлуке» встречали новый 1914 год, далеко на горизонте обозначилось голубое облако. Оно могло быть островом Врангеля или островом Геральда.

Записи капитана Бартлетта отличаются безыскусственностью и благородной сдержанностью. Они скупо и точно рассказывают о гибели «Карлука». При сильной подвижке льдина пропорола борт судна; «Карлук» стал погружаться, Бартлетт по старинному обычаю остался на судне до конца:

«Вода побежала по палубе и хлынула в люки. Я взобрался на поручни и, когда их края сравнялись со льдом, соскочил.

Это случилось в 16 часов 11 января 1914 года.

Синий канадский флаг развернулся на верхушке главной мачты, коснулся воды, и судно скрылось».

Бартлетт уже дважды переживал кораблекрушения. Его запись после гибели «Карлука» оптимистична. В ней сказано, что люди имеют удобное крепкое жилище на льдине, достаточно пищи и топлива, у них есть и настоя-

чивость, и мужество, и надежда на счастливую жизнь, после того как им удастся добраться домой.

Он знали: путь к дому лежал через остров Врангеля. Потерпевшие кораблекрушение должны были перебраться туда до того, как начнутся опасные весенние подвижки льдов.

Выпущенная впоследствии книга капитана Бартлетта о последнем рейсе «Карлука» и дальнейших злоключениях его команды начинается фразой:

«Не все из нас вернулись обратно».

Может быть, правильнее было бы сказать: «Многие из нас не вернулись обратно».

В тот день, когда «Карлук», проводив партию Стефанссона, начал дрейф, на нем было двадцать белых, два эскимоса и одна эскимоска с двумя маленькими девочками.

Из двадцати белых обратно на материк вернулись девять. Остальные погибли.

А ведь после того как судно скрылось под водой, ничто, казалось, не предвещало столь трагического исхода. «Карлук» затонул не так уж далеко от земли, которую моряки отчетливо различали даже при сумеречном свете. В «лагере кораблекрушения» было достаточно собак, чтобы не только добраться до нее, но и постепенно перевезти туда все необходимое. Среди канадцев были достаточно опытные моряки, и руководил ими энергичный «капитан Боб», искушенный в полярных плаваниях и походах.

Но беда была в том, что не все люди с «Карлука» оказались на высоте в нравственном смысле. Несчастье не сплотило их. Разьедающий индивидуализм стал причиной неоправданных потерь.

Бартлетт и здесь предельно сдержан в оценках. Вот что пишет он по поводу эгоистического решения четырех членов экспедиции покинуть лагерь, чтобы, не обременяя себя заботами о других, побыстрее добраться до острова Врангеля:

«Я советовал не торопиться и подождать, пока условия, которые по мере усиления света улучшались с каждым днем, будут вполне хорошими для отправки всей партии.

Они отнеслись с недоверием к моим словам и решили идти своим путем. В конце концов я сказал:

— Если вы подпишете документ, освобождающий меня от ответственности, я дам согласие. Кроме того,— добавил я,— если кто-нибудь из вас захочет вернуться в лагерь и присоединиться к остальной партии и если вам понадобится помощь, я сделаю все, что в моих силах».

Четверка ушла и погибла...

Трупы другой четверки, отправившейся к острову Врангеля, были обнаружены десять лет спустя на острове Геральд.

До острова Врангеля благополучно дошли только те, кого повел сам капитан Бартлетт.

Как настоящий полярник, он долго и тщательно готовился к этому походу. Хотя переход был сравнительно короток, капитан по примеру партии Пири, шедшей в свое время к полюсу, устроил промежуточные стоянки, куда предварительно забросил продовольствие и топливо. Причины этих предосторожностей станут понятны, если прочесть запись капитана Бартлетта по поводу льдов, окружавших остров Врангеля:

«Мне приходилось видеть непроходимые льды во время наших полярных экспедиций, но такие льды я видел впервые».

Партия капитана Бартлетта дошла до Ледяной косы острова в середине марта. Люди быстро построили три хижины. У них был запас хороших продуктов по крайней мере до середины лета, и Бартлетт решил, что ему следует пойти через пролив Лонга на материк. Он рассчитывал пробраться оттуда на Аляску. Там с ближайшего пункта, где есть телеграф, капитан надеялся вызвать к острову Врангеля судно, которое сняло бы потерпевших кораблекрушение.

Бартлетт пошел вдвоем с молодым эскимосом Катактовиком. Любопытна инструкция, оставленная капитаном своему заместителю Монро. Перечислив то, что нужно будет сделать на острове, чтобы благополучно дожждаться судна, капитан Бартлетт добавил весьма важный пункт: «Пожалуйста, поддержите хорошее настроение в лагере».

По дороге к матерiku капитану пригодилась вся его двадцатилетняя полярная тренировка. Берег Сибири он увидел на тринадцатый день похода во льдах. На семнадцатый день они вступили на побережье, и почти тотчас Катактовик увидел след саней.

А затем была душная яранга чукчей и запись в дневнике о годовщине открытия Северного полюса...

Дальнейшее путешествие капитана Бартлетта и его спутника вдоль побережья Сибири не изобиловало приключениями. Но по меньшей мере два обстоятельства бросаются в глаза при чтении записей капитана.

Первое из них — радушие и отзывчивость тех, с кем свела судьба двух путешественников. «Никогда мне не приходилось сталкиваться с таким благородным гостеприимством, и никогда я не испытывал большей благодарности за сердечность приема, — вспоминает Бартлетт. — Это было, как я потом узнал, типичным образцом подлинной человечности этих простых добрых людей».

И второе — путевой дневник невольно уже одним перечнем встреч показывает, кто в те годы хозяйничал на далекой окраине русской земли. Среди первых русских, встреченных Бартлеттом, оказался купец Караваяев. К удивлению капитана, он, как и многие другие люди на побережье, говорил по-английски. Ему часто приходилось иметь дело с иностранными торговыми гостями, осевшими на чужой земле.

Местные жители знали, что такое доллар. И что такое обман — тоже. По дороге к американскому купцу Ольсену, обосновавшемуся в Колючинском заливе, Бартлетт слышал от чукчи на сносном английском языке:

— Белый человек обещал дать вещи за песцовые шкуры — не дал. За медведя не дал! Белый человек ничего не дал! Белый человек уехал. Вернуться забыл.

На мысе Сердце-камень Бартлетт встретил норвежца мистера Волла. В поселке Эмма — австралийского купца мистера Карпендаля. Там же — мистера Томсона, у которого был торговый склад. А всего на северо-восточной окраине России вели крупные торговые дела почти три десятка иностранных предпринимателей.

В бухте Эммы Бартлетта принял на борт корабль «Герман», чтобы быстрее доставить на Аляску. Вечером 27 мая 1914 года капитан вступил на американскую землю. Скорее дать телеграмму в Оттаву, морскому управлению Канады о тех, кто ждет на острове! Но...

«Я отправился на телеграф, являвшийся военной станцией армии Соединенных Штатов. У меня осталось очень мало денег, а сержант отказался отослать телеграмму в Оттаву без оплаты депеши. Я не ожидал этого. Сотни

милъ я прошел, чтобы добраться до телеграфа, и теперь столкнулся с таким препятствием!»

После того как известие о бедственном положении людей с «Карлука» дошло до Оттавы, канадское правительство попросило о помощи Россию. Ледокольный пароход «Вайгач» пошел к острову Врангеля, пытался пробиться сквозь льды, но сильно помял корпус и сломал винт.

Позднее обстановка переменилась и шхуне. «Король и крылья», которая направлялась для торговли к побережью Сибири, удалось снять канадцев с острова.

В море их на корабле «Медведь» встретил капитан Бартлетт.

— Все, все здесь? — крикнул он, когда суда сблизились.

— Нет, — ответили ему, — Маллох, Мэмэн и Брэдди умерли на острове.

И Бартлетт подвел печальный итог: «Вернулось девять белых из двадцати...»

Казалось бы, вся история с гибелью «Карлука» могла стать поводом лишь для размышлений о том, что в Арктике всегда надо быть готовым к неожиданностям и к жертвам.

«Капитан Боб» отнюдь не считал, что вынужденная высадка его группы может иметь какие-либо последствия для судьбы острова. Но мировая война, а затем революция и гражданская война в России показали некоторым деятелям подходящим поводом для того, чтобы предпринять кое-какие авантюры на нашем крайнем северо-востоке и, в частности, сменить флаг над неоспоримо русской землей в океане. Среди таких деятелей оказался даже Вильялмур Стефанссон — организатор экспедиции «Карлука».

В последующие годы этот выдающийся полярник стал другом Советского Союза, сотрудничал с нашими учеными и во время «холодной войны» подвергался за это травле. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь: во времена, к которым относится наш рассказ, Стефанссон говорил, что остров Врангеля необходим Великобритании для развития ее воздушных путей, как база дирижаблей и аэропланов.

И в 1921 году, когда голодавшей России было не до защиты северных владений, некий Аллан Крауфорд в со-

провожении канадцев и эскимосов высадился на остров Врангеля. Высадившись, он немедленно поднял на каменистом берегу британский и канадский флаги. Затем составил документ, в котором упомянул, что остров служил приютом для оставшихся в живых членов экипажа бригантины «Карлук».

На этом основании, говорилось в бумаге, «я, Аллан Редьярд Крауфорд, уроженец Канады, британский подданный... объявляю этот остров, известный под именем острова Врангеля, состоящим в настоящее время под владением его величества Георга, короля Великобритании и Ирландии, доминионов в пределах морей, императора Индии и пр., и пр., и пр., и являющимся частью Британской Империи...

Боже, храни короля!»

Крауфорд положил этот странный документ внутрь сложенного из камней гурья 16 сентября 1921 года.

А два года спустя судно, которое доставило к острову сменный оккупационный отряд, нашло там эскимоску Аду Блекджек, находившуюся на грани душевного заболевания. Крауфорд бросил ее на зимовке с безнадежно больным канадцем, а сам с остальными пытался выбраться к побережью Сибири.

Но у Крауфорда не было опыта и воли Бартлетта: ни он, ни его спутники так и не увидели материка...

* * *

Летом 1924 года северо-восточные окраины нашей земли стали свидетелями гонок двух кораблей.

Трудно представить место, менее подходящее для таких состязаний, чем негостеприимные арктические воды с многолетними льдами. Однако именно среди этих льдов и находилась цель, к которой стремились корабли.

Они стартовали в разных, далеко отстоящих друг от друга портах. Их команды говорили на разных языках. У них было разное снаряжение. Но и на том и на другом судне главным грузом, который они стремились возможно быстрее доставить к месту назначения, был флаг своего государства.

Собирая материалы для рассказа об этих гонках, я пользовался воспоминаниями очевидцев, извлечениями из хроники города Номы, а также сообщениями сотрудников музея в городе Магадане, которые заинтересовались

историей двух экспонатов: бутылки с запиской на английском языке и значка, где эмалевая красная звезда восходила над выгравированной картой северо-восточных окраин Советского Союза.

...В июне 1924 года канонерская лодка «Красный Октябрь» получила по радио приказ о возвращении из лимана Амура. Через несколько дней она появилась на владивостокском рейде. Небольшой корабль с довольно высокой трубой и двумя мачтами мало напоминал военное судно. Любой мальчишка во Владивостоке знал, что еще недавно канонерская лодка была портовым ледоколом «Надежный», который зимой прокладывал кораблям дорогу в гавань.

На корабле состоялось короткое совещание. Начальник будущей экспедиции Борис Владимирович Давыдов, невысокий, худощавый моряк с коротко подстриженными усами, уже немолодой, но весьма бодрый и подвижный, собрал командный состав «Красного Октября» и сообщил о полученном из Москвы правительственном задании. Задание было нелегким. Кто-то спросил, когда канонерка должна выйти в поход.

— Через месяц, — ответил Давыдов. — Мы должны через месяц покинуть Владивосток.

Спорить с Давыдовым было трудно. Он принадлежал к старой гвардии русских полярников. Выпускник Военно-Морской академии, превосходный гидрограф и астроном, Борис Владимирович участвовал в экспедиции Северного Ледовитого океана, которая в 1910—1915 годах на кораблях «Таймыр» и «Вайгач» выполнила обширнейшую программу исследования полярных окраин России. Давыдов свыше двух с половиной лет командовал «Таймыром». Он, таким образом, совмещал в себе ученого-гидрографа и полярного судоводителя, а сверх того слыл весьма энергичным и целеустремленным человеком.

Через три дня после возвращения «Красного Октября» ремонтники уже стучали молотками на корабле, готовя его к дальнему рейсу. А вскоре грузчики принялись таскать в трюмы всякую всячину — муку, бочки с рыбой, доски, канаты, инструменты.

Продовольствия брали на четырнадцать месяцев. Продукты наскребли не без труда, и притом такие, что придирчивый полярный исследователь наверняка забраковал бы большую часть мешков и бочек. Теплое обмундирова-

ние можно было назвать полярным с большой натяжкой. Не первосортным был и уголь. Но страна только начинала вставать на ноги, а на Дальнем Востоке, как известно, интервенты оставались особенно долго.

20 июля 1924 года канонерская лодка «Красный Октябрь», дымя высокой трубой, покинула Владивосток и взяла курс на север, к острову Врангеля.

От цели плавания ее отделяли пять с половиной тысяч километров.

* * *

Прекрасно снаряженная шхуна «Герман» покинула свой порт двумя днями раньше «Красного Октября».

От цели плавания — острова Врангеля — ее отделяли всего тысяча двести километров.

«Герман» стартовал из Номы, городка на побережье Аляски.

Странной была судьба этого городка! Он вырос во время аляскинской «золотой лихорадки», талантливо и ярко описанной многими романистами. Его не раз посещали и русские путешественники.

В начале века на шхуне «Самоа» там побывала небольшая экспедиция русских специалистов по добыче золота. «Я увидел нечто необычное, — вспоминал один из них. — Весь берег на много миль в длину представлял собой настоящий лагерь. Палатки, палатки, палатки, сколько тысяч этих палаток — трудно и сказать. На рейде целый лес мачт всевозможных пароходов, барок и шхун. Вот и весь Ном, золотой город, выросший за несколько месяцев».

Впрочем, была в Номе и настоящая улица с домами, наскоро сколоченными из досок. По ней среди густой толпы золотоискателей носились собачьи упряжки. «В кабаках под хрипкое пение довольно отвратительных певиц, иногда разукрашенных синяками на лице, публика играет в карты, кости, рулетку. Доллары ручьями льются из одного кармана в другой».

Но к тому времени, когда Ном провожал шхуну «Герман», золотоискатели давно покинули его улицы. Он стал тихим городком с деревянными мостовыми, с магазинчиками, торгующими пушниной, с небольшими аккуратными домиками, завезенными сюда в разобранном виде на кораблях.

Почти все в этом городе принадлежало Карлу Ломену, «оленному королю». И не только в Номе, но и в окрестной тундре, где кочевники пасли огромные стада мистера Ломена.

Проводы шхуны были для жителей Номы таким развлечением, которым не следовало пренебрегать. В рейс шхуну «Герман» должен был повести капитан Лэн — опытный полярник. Снарядил экспедицию «оленный король».

Проводы «Германа» были впоследствии описаны в местной еженедельной газете, также принадлежавшей мистеру Ломену. «Король» напомнил капитану Лэну: «Герман» должен пробиться к острову любой ценой, поскольку мистер Ломен откупил права на этот остров у канадцев, а он не из тех людей, что бросают деньги на ветер. На острове непуганые песцы и белые медведи, там хороший промысел моржей и тюленей, и, наконец, там будут пастись стада северных оленей, принадлежавших мистеру Ломену.

— Над островом должен развеяться звездный флаг — и вы водрузите его! — сказал на проводах шхуны «оленный король». — Я верю, что капитан Лэн сумеет опередить большевиков!

Быстроходная шхуна покинула гавань Номы и взяла курс на запад.

* * *

Канонерская лодка «Красный Октябрь», зарываясь в зеленые волны, миновала воды Японского и Охотского морей, вышла в Тихий океан, прошла вдоль берегов Камчатки и приблизилась к крайней северо-восточной оконечности страны. В бухте Провидения ей предстояло в последний раз запастись углем и пресной водой для плавания в Северном Ледовитом океане.

Канонерка была хорошим и ходким, но чрезвычайно прожорливым судном. Топки ее четырех котлов поглощали неимоверное количество угля. Топливом забили не только трюм, но и каждый уголок корабля, каждый свободный метр палубы. От угольной пыли нигде не было спасения. Суп на столе кают-компаний цветом мало отличался от желудевого кофе.

Перегруженность корабля топливом тревожила Давыдова: прочный стальной пояс, защищавший нижнюю часть

борта от ударов льдин, осел глубоко под воду. Ледокольный корабль на некоторое время превратился в обыкновенный пароход.

Пока канонерка стояла в бухте Провидения, Давыдов из разговоров с местными жителями узнал, что четыре года назад сюда приходило американское охранное судно. Непрошенные гости бродили по берегу с фотоаппаратами, что-то записывали, собирали образцы камней, расспрашивали, богаты ли окрестности пушным зверем. Корабль исчез так же внезапно, как появился, и с тех пор здесь его не видели.

В бухте Провидения состав экспедиции на «Красном Октябре» пополнился тремя чукчами. На борт приняли также собачьи упряжки.

10 августа до отказа загруженный корабль обогнул скалистый выступ мыса Дежнева. Льдов не было. На судне занялись научными работами. Трал «прощупывал» неровности дна. С больших глубин доставали рачков и водоросли.

Плавание продолжалось без помех до полудня 12 августа, когда канонерка взяла курс прямо на остров Врангеля. Вскоре появились льды. Сначала вдоль бортов «Красного Октября» плыли отдельные льдины. Их становилось все больше. В сотне метров от корабля они сливались уже в сплошное белое поле.

Густой дым повалил из трубы канонерки. Корабль с разгону врезался во льды, давил, топил, подминал их. Но торосистые льдины, не один год плававшие в океане, были для него почти непреодолимым препятствием.

Давыдов не покидал мостика. Конечно, можно продолжить штурм. Но имеет ли он право рисковать запасами угля, которые и так тают с катастрофической быстротой? Не благоразумнее ли лечь в дрейф и подождать, пока переменится ветер и ослабит плотность преграды?

Корабль замер среди зеленовато-белой массы. Ветер и подводные течения медленно потащили его сначала на север, потом на юг. Это продолжалось три дня. Настроение на судне упало: ведь так недолго и зазимовать.

Ветер не менял направления и лишь спланивал поля и глыбы. Давыдов решил лечь на обратный курс и попытаться, идя вдоль кромки льда, найти брешь в преграде.

Канонерка пробилась к выходу из западни. Но дальнейший поход вдоль кромки не дал ничего утешительно-

го: в сплоченном, тяжелом льду не было лазейки. И что хуже всего — лед дрейфовал к югу. Значит, с каждым часом ширина перемычки между кораблем и целью похода не уменьшалась, а увеличивалась.

Ждать перемены обстоятельств? Или, рискуя застрять на зимовку, таранить тяжелые льды? Давыдов медлил с решением.

Возможно, он представил себе, что где-то недалеко вот так же ищет прохода во льдах судно под чужим флагом, стремясь во что бы то ни стало прийти к цели раньше советского корабля. Отрывисто звучат слова команды, мечется по мостику капитан, сосущий трубку с душистым английским табаком...

— Будем пробиваться, — приказал, решившись, Давыдов.

Он не был, безусловно, уверен в способности корабля преодолеть такие льды. Ему доложили также, что запасы топлива крайне ограничены и риск, таким образом, весьма велик.

— Действуйте, — сказал Давыдов. — Если кончится уголь, будем жечь переборки.

Машины заработали на полную мощность. В отвесах пламени кочегары, обливаясь потом, без усталости подбрасывали уголь в топки. Канонерка дрожала, в салоне звенели стаканы, судовой колокол звонил сам собой, пока ему не подвязали язык. Казалось, котлы не выдержат давления и взлетят на воздух.

В корпусе судна появились вмятины. Огромные торосы нависали над палубой корабля. Вот-вот они совсем остановят его, зажмут, стиснут...

Начальник экспедиции не спал двое суток. Он стоял на мостике с синими кругами под глазами, но с тщательно выскобленными бритвой щеками.

Утром на третий день туман, только что отсвечивающий изнутри бледным сиянием льдов, вдруг потемнел. Хороший признак! Он сулил чистую воду.

«Никогда нельзя было представить себе, что канонерская лодка «Красный Октябрь» была бы в состоянии прокладывать себе путь среди таких нагромождений крупных обломков полей и громадных торосистых многолетних льдин», — писал впоследствии в отчете о плавании Б. В. Давыдов.

Утром канонерка пробилась к темной полынье. И почти одновременно с мостика увидели каемку береговых скал.

Это был остров Врангеля.

«Красный Октябрь» вошел в бухту, удобную для стоянки.

На ближайшем холме всю ночь ухали взрывы. Летели вверх комья вечномерзлой земли. На заре над островом установили высокую мачту.

Весь личный состав экспедиции выстроился на гребне холма.

В торжественной тишине на мачту был поднят железный алый флаг с вырезанными на нем буквами: «СССР». Радостным «ура», повторенным трижды, моряки приветствовали советский флаг над русским островом.

Недалеко от подножия мачты установили медную доску с краткой надписью на русском и английском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Гидрографическая экспедиция Дальнего Востока, 19 августа 1924 года».

Теперь, когда главная задача была выполнена и исторические права Советской страны на остров еще раз закреплены, «Красный Октябрь» медленно двинулся вдоль южного берега. На острове, несомненно, хозяйничали хищники. У валявшихся на берегу трупов моржей были отрезаны головы. Видимо, неизвестные забирали только моржовый клык, выбрасывая все остальное.

В бухте Сомнительной моряки наткнулись на небольшие землянки из плавника и развешанные для просушки шкуры белых медведей. В землянках было пусто. Впрочем, записка на английском языке, вложенная в бутылку, сообщала, что обитатели землянок находятся неподалеку.

Едва моряки вернулись на корабль, как из-за мыса показалась шлюпка. В тишине безветренного дня еще издали слышались оживленные голоса людей, гребущих к кораблю. Они изо всех сил работали веслами. Человек, сидевший у руля, с крайне довольным видом размахивал шляпой.

Шлюпка была уже недалеко, как вдруг ее рулевой испуганно вскрикнул, а остальные резко затормозили веслами: порыв ветра распрямил над канонеркой красный флаг. Непрошенные гости острова увидели, что судьба свела их с теми, кого им меньше всего хотелось встретить.

Шлюпка повернула назад. Гребцы налегли на весла с удвоенной силой. Поздно! Сигнал с канонерки заставил их вернуться к борту корабля.

И вот они стоят перед советскими моряками. Один в шляпе, с белой повязкой на глазу. Он нервно кутается в меховой воротник короткой куртки. Его спутники-эскимосы растеряны до крайности.

— Ваше имя? Национальность? — спрашивает Давыдов у человека с белой повязкой.

— Чарльз Уэллс из города Номы. Американец.

— По какому праву вы промышляете на советской земле? Разве у вас есть разрешение советских властей?

Американец разыгрывает изумление. Как? Это советская земля? Тут какое-то недоразумение! Разве не здесь жили люди из экипажа раздавленной льдами канадской шхуны «Карлук»? А в 1921 году здесь же высадился молодой канадец Крауфорд со спутниками и поднял британский флаг. И разве русские не знают, что господин Менкензи Кинг, всеми уважаемый премьер-министр Канады, заявил тогда же, что остров Врангеля — новое владение короля Георга?

Правда, лично он, Чарльз Уэллс, думает иначе. Он считает, что остров Врангеля — американская территория, поскольку на ней находится сейчас четырнадцать жителей Аляски, высадившихся здесь со шхуны «Дональдсон» в прошлом 1923 году. Они ожидают прихода шхуны из Номы, на которой господин Карл Ломен...

Давыдов, выслушав американца, напомнил ему, чей флаг по праву должен развеваться над островом. Всякий, кто останется здесь без разрешения советских властей хотя бы только ради промысла, будет рассматриваться как хищник.

— Вы и все, кто с вами находится на острове, будут взяты на борт корабля, — сказал Давыдов. — Мы не считаем вас и тем более эскимосов ответственными за совершенные действия. Эскимосы — невольные исполнители чужих распоряжений. Ответственными являются люди, пославшие вас. Орудия лова и добыча будут конфискованы согласно международным законам. Все ли вам ясно?

— Да, сэр. — Убедившись, что ему не грозит ничего страшного, американец повеселел и первым поднялся по трапу на борт канонерки.

Если бы «оленный король» Аляски мог видеть это, он надолго потерял бы душевное равновесие. Но что было бы с Карлом Ломеном, если бы он, кроме того, узнал, что в это самое время капитан Лэн на «Германе» безнадежно застрял у маленького островка. Там он и поднял американский флаг, предназначенный для острова Врангеля: не пропадать же флагу зря!..

Осенью в канадских и американских газетах появились заголовки: «Советы подняли свой флаг над островом Врангеля», «Красное судно вывезло американца и эскимосов с острова Врангеля», «Русская экспедиция достигла цели».

Позднее выяснилось, что к острову шел не только капитан Лэн. Газета «Таймс» 18 октября 1924 года сообщила: «Охранный крейсер «Бэр», моторные шхуны «Герман» и «Серебряная волна», три американских судна, тщетно пытались пробиться к острову Врангеля этим летом».

* * *

В 1925 году советским властям стало известно: Канада собирается снарядить новую экспедицию к острову Врангеля. Потом появилось сообщение газеты «Аляска уикли»: Карл Ломен не успокоился, он намерен сделать «официальную заявку» на тот же остров.

Советское правительство решило послать в Арктику людей, способных не только подтвердить, но в случае необходимости и отстаивать права на территорию, над которой поднят красный флаг.

Бориса Владимировича Давыдова уже не было в живых: он умер вскоре после возвращения экспедиции «Красного Октября». Дальневосточный краевой комитет партии поручил организацию новой экспедиции коммунисту Георгию Ушакову. Ему было, как уже упоминалось, двадцать пять лет. Усы не делали его старше. До той поры он не провел в Арктике ни одного дня.

Во Владивостокском порту слух о назначении «мальчишки» встретили удивлением и неудовольствием. После всеми уважаемого Давыдова, настоящего моряка и полярника, какой-то Ушаков!

Дело не клеилось с самого начала. В порту не было судов, пригодных для нового рейса к острову. Дальторг повел переговоры о покупке шхуны «Мод», на которой ходил вдоль берегов Сибири Руал Амундсен. Владельцы

запросили непомерную цену, хотя судно без дела проставало у причалов Номы. Дальторг согласился уплатить.

Тогда цена подскочила вдвое. Дальторг снова телеграфировал согласие и объявил набор команды. Владельцы шхуны тянули с окончательным ответом, а потом сообщали: «Мод» продана торговой компании Гудзонова залива, действующей на американском севере.

Не означало ли это, что кое-кому решительно не хотелось, чтобы советская колония высадилась на острове Врангеля?

Ушаков, которому взялся помогать опытный капитан П. Г. Миловзоров, принялся искать сколько-нибудь подходящее судно у причалов владивостокской бухты Золотой Рог. Среди ветеранов, изрядно потрепанных за годы интервенции и разрухи, выбрали пароход «Ставрополь». Бывалые люди качали головой, сходясь на том, что эту посудину при сжатии льдов может раздавить, как раздавило «Карлук».

Пока капитан Миловзоров занялся ремонтом «Ставрополя», Ушаков отправился в Шанхай и Японию, чтобы закупить кое-что из недостающего научного оборудования и снаряжения. На пути к японским берегам жандармы долго и нудно не то расспрашивали, не то допрашивали его. Интересовались родственниками до седьмого колена, спрашивали, не воевал ли «уважаемый господин большевик» с подданными японского императора, а если воевал, то где именно и в рядах какой именно части. Ушаков отмалчивался, отшучивался. Неожиданно его спросили:

— Есть бог или нет?

— Японская жандармерия так хорошо осведомлена обо всем на свете, что, конечно, знает это лучше меня, — ответил Ушаков.

Потом, уже в порту Хакодате, он случайно прочитал на бумажке, прикрепленной к конторке купца, свою фамилию. Рядом с иероглифами на английском языке были описаны его приметы. Купец пробормотал, что слышал радиопередачу из Владивостока и вот записал на всякий случай...

Бумажку, видимо, разослали по всем портовым лавкам. Но если бы даже кое-кто из купцов сплошал и не запомнил, какие именно товары купил русский, то шпик, по пятам сопровождавший Ушакова, исправил бы эту оплошность.

Книги специального характера Ушаков заказал в Ленинграде. Почему-то в смете забыли о библиотеке, и пришлось тратить свои деньги. Кое-что удалось достать во Владивостоке. Здесь же Ушакова снабдили приборами для научных наблюдений.

Нашлись бывалые люди, советчики во всем, что касалось жизни на Севере. Среди них оказался и бывший купец Караваяев, с которым встретился когда-то капитан Бартлетт. Не все советы, как впоследствии убедился Ушаков, были полезными. Это лишний раз доказывало, что даже на Дальнем Востоке слабо знали крайние северо-восточные районы страны.

Когда 15 июля 1926 года «Ставрополь» покинул Владивосток, особоуполномоченный Далькрайкома по управлению островом Врангеля и соседним островом Геральд имел под своим управлением лишь доктора Савенко с супругой. Остальных колонистов Ушаков должен был завербовать среди северных охотников по дороге к «своим владениям».

Первым присоединился к экспедиции промышленник Скурихин. Дело было в Петропавловске-на-Камчатке, где «Ставрополь» брал уголь. Скурихин пришел по срочному вызову в обком партии и, выслушав предложение Ушакова, сказал достаточно неопределенно:

— Хорошо, я подумаю.

Несколько часов спустя гроыхающая телега с домашним скарбом остановилась подле паровозного трапа. Скурихин успел за это время сдать в аренду домик, продать корову и вообще вполне подготовиться к долгой жизни на острове Врангеля с женой и дочкой.

Пожалуй, можно вспомнить лишь один случай подобных молниеносных сборов: моряк Бернт Бентсен во время стоянки «Фрама» в Тромсе зашел поглазеть, что за человек Нансен, а несколько часов спустя его матросский сундучок уже был затиснут под койку в каюте корабля, направляющегося к Северному полюсу. Но норвежец-то был перекаати-полем, одиноким морским бродягой...

Главные надежды Ушаков возлагал на эскимосов, промышлявших в бухте Провидения.

Будь это в наши дни, охотников, пожалуй, пригласили бы на корабль и начальник в обстоятельном докладе обрисовал бы задачи будущей колонии. Но в 1926 году маленький народ в основном жил еще по общественным за-

конам патриархально-родового строя. Эскимосы верили колдовству шаманов, считали волка, ворону и лисицу священными животными, лучшим лакомством признавали сырую кожу кита, одевались в одежду из звериных шкур, украшали лица татуировкой и пуще всего на свете боялись злых духов «тугныгат» во главе с всесильным чертом. К тому же многие северяне с трудом понимали русскую речь, и посему самый яркий, насыщенный удачно подобранными цитатами доклад не произвел бы на них должного впечатления.

Первая встреча Ушакова с эскимосами, казалось, не сулила ничего хорошего. «Ставрополь» пришел в бухту Провидения светлой летней ночью. Едва Ушаков прыгнул со шлюпки на сонный берег, как из стоявшей у воды юрты выскочили две перепуганные девочки и понеслись по отмели. За ними следом появился старик. Он бежал, занеся над головой острый гарпун, каким эскимосы бьют морского зверя. Еще мгновение и... Но тут Ушаков подставил преследователю ногу.

Вскочив, взбешенный старик замахнулся гарпуном, целя в грудь обидчика. Тот побледнел, но остался недвижимым, смотря не на смертоносное острие, а в глаза старику. И рука опустила оружие...

Старого эскимоса звали Иерок. Девочки были его дочерьми. Бутылка спирта едва не стала причиной трагедии.

Утром Иерок с опущенной головой поднялся на «Ставрополь». Ушаков не стал читать ему морали. Он сделал вид, что вообще ничего не случилось, и просто рассказал старому охотнику, куда и зачем идет корабль. Может, Иерок тоже попытает счастья?

А через час возбужденные эскимосы обсуждали важную новость: Иерок собирается покинуть бухту, он уходит на новые места с большевиком, который одним взглядом остановил занесенную для удара руку.

Иерок едет? Но раз такой уважаемый охотник решил, то чего же мешкать другим? И двинулись на «Ставрополь» молодые и старые с нехитрым своим скарбом. В большинстве это были бедняки. Ничто особенно не связывало их к поселку в бухте Провидения.

К сожалению, и здесь, и у мыса Чаплина, где «Ставрополь» принял на борт три семьи чукчей, родственные связи потянули в будущую колонию людей, которых Уша-

ков с удовольствием оставил бы на материке, например шамана Аналько или лодыря и тунейдца Старцева. Однако без них отказывались ехать другие, очень нужные, работающие люди.

Когда «Ставрополь» взял курс на остров Врангеля, на его борту набралось пятьдесят пять будущих колонистов — русских, эскимосов, чукчей. Среди них был учитель Иосиф Павлов, согласившийся поехать старшим промышленником. Уроженец холодной окраины России, женатый на эскимоске, прекрасно знающий языки и обычаи северных народов, он стал другом и помощником Ушакова. (Когда уже незадолго перед войной Георгий Алексеевич узнал, что Павлов умер, что умерла и его жена, он взял к себе на воспитание их сына Володю. Володя переехал с острова Врангеля в Москву, вырос в доме Ушакова и, став связистом, уехал работать в родную Арктику.)

В 1926 году ледовая обстановка в Чукотском море была как будто специально заказана для рейса «Ставрополя». Капитан Миловзоров искусно использовал проход в тяжелых льдах, найденный после недолгого маневрирования, и провел судно в бухту Роджерс.

«Угрюмо встретил нас остров. Его суровый вид, плохая слава, безжизненность и могилы погибших оккупантов наводили на тяжелые мысли. Пароход «Ставрополь», завезший нас на остров, выгрузив продукты и снаряжение, 15 августа 1926 года покинул о. Врангеля. С этого дня всякая связь с материком была утеряна. В течение трех лет только один раз нас навестили гидропланы. Все эти три года мы были предоставлены самим себе и могли рассчитывать только на свои силы...

Полное незнакомство с необитаемым до нас островом, с его природой и условиями жизни сделали первый год существования колонии самым тяжелым».

Так писал Георгий Алексеевич Ушаков сразу после возвращения с острова.

Первый год...

Они высадились на песчаной косе бухты Роджерс, красной в лучах незаходящего ночного солнца. Пока ставили палатки, пока усаживали ездовых собак, яростно бросавшихся на невиданных «зверей» — коров, пока разжигали первые костры из плавника, Ушаков на маленьком самолете, который до поры до времени стоял на корме «Ставрополя», облетел свои владения.

Летчик Кальвиц снижал самолет над бухтами, вел его вдоль речных долин, удивляясь, как расходится действительное их расположение с обозначенным на старых картах. Ушаков с удовольствием разглядывал лежбища моржей, сулившие богатую добычу охотникам. Но успеют ли они заготовить мясо? Ведь полярное лето, едва начавшись, уже кончается.

Расчетливый эгоизм требовал задержать «Ставрополь», чтобы команда и специально нанятые еще во Владивостоке плотники помогли достроить маленький поселок, высвободив охотников. Но Ушаков слышал столько рассказов о том, как быстро меняется в арктических водах ледовая обстановка! И он решил, что поступит по совести, отпустив корабль.

Действительно, вскоре после того как на горизонте растаял пароходный дым, крепкий ветер нагнал густой лед, который неминуемо зажал бы «Ставрополь».

Массы движущегося льда отпугивали и охотников. Отдаленный рев моржей слышался там, куда можно было добраться лишь по сталкивающимся, крошащимся льдинам. Никто не спешил рисковать жизнью.

Положение складывалось тревожное. Того, что заготовили в первые дни, могло хватить ненадолго. А без запасов мяса — голод.

Эскимосы ждали, что будет делать умилек. Это емкое слово, которое означало и начальника, и вожака, и кормчего, вообще того, кто должен решать и кто за всех в ответе, быстро приклеилось к Ушакову.

Умилек мог приказывать. Но он решил убеждать. Убеждать терпеливо, не жалея времени и слов.

В его дневниках есть записи разговоров с Иероком и другими эскимосами. Это долгие и трудные разговоры. Стройная цепь логических доказательств, увы, не всегда побуждала собеседника к действию.

Ушаков убеждал Иерока: без мяса худо, без мяса пропадем, надо ехать на охоту. Иерок соглашался со всеми доводами, но не двигался с места.

Тогда Ушаков сам взял ружье, Иерок — тоже. Вдвоем пошли к лодке. За ними без лишних слов — Павлов. За Павловым — еще пять смельчаков.

Моржи были у кромки ледового пояса. Льдины вздымались на штормовой волне. Одна перевернулась возле лодки. Вода забурилась воронкой, снова вытолкнула ледя-

ной столб, который тут же с треском и звоном рухнул набок, обдав охотников каскадом брызг.

Недаром, однако, Иерок считался лучшим рулевым побережья. Как некогда Нансен, Ушаков убедился в поистине поразительном умении эскимосов приноравливаться к буйству стихий.

Нансен, выходя на промысел, был наблюдателем, гостем. Результаты охоты, конечно, интересовали его, но не больше. Ушакова же само положение умилека делало ответственным и за промысел, и за благополучие всей колонии. Трагическая участь отряда Аллана Крауфорда, который не сумел вовремя заготовить моржовое мясо, не оставляла Ушакову никаких иллюзий относительно того, что позднее можно будет поправить дело.

В первую поездку с Иероком добыча не была обильной — два самца. «Две моржовые туши могли стоять жизни восьми человек, — признавал потом Ушаков, — но недостаток мяса зимой привел бы к еще большим жертвам».

Однако, как бы ни была важна добыча, Ушаков добился смелым выходом в бурное море гораздо большего: его молчаливо признали в охоте на моржей равным эскимосу.

Конечно, у него еще не было умения. Но все видели, что русский начальник не прячется за спины других, а первым идет туда, где опасно.

Он укрепил свое право быть умилеком. Он, по общему признанию, «умел жить». Эскимосы, язык которых в отличие от цивилизованных европейцев не знает бранных слов, распалившись, в гневе, пускают в ход лишь одно крайне оскорбительное выражение: «Клахито пых ляхе» («Слабый, не умеющий жить»).

От первой победы иногда еще очень далеко до окончательной. Ушаков и Павлов понимали, что для удаchi промысла печего всем тесниться вокруг бухты Роджерса. Остров велик, нет зверя в одном месте — ищи в другом. И, предприняв разведки, Ушаков нашел лежбища моржей возле удобных для жилья мест в других частях острова.

Но никто не захотел переселиться туда. Почему?

Потому, видите ли, что места уже заняты. Кем же? Чертом Тугнагако. По каким-то приметам эскимосы определили — конечно, не без помощи шамана Аналько, — что этот черт облюбовал себе местечко именно там.

Как им хотелось отделаться от него при отъезде на остров! Они тогда даже лица намазали сажей, чтобы Туг-

нагако не узнал, кто именно уезжает. Но провести Тугнагако не так-то просто, он тоже перебрался на остров. С ним шутки плохи! Он бы и в бухте Роджерса натворил бед, да, как видно, побаивается большевика...

Ушаков убеждал, доказывал, высмеивал робких, пытался сыграть на самолюбии храброго Иерока — все тщетно. А показать пример, бросить надолго поселок и переселиться на новое место он не мог. Дело зашло в тупик, победа осталась за Тугнагако...

Расплата за суеверия не заставила себя долго ждать. Она пришла в темную пору, когда лютовали морозы, когда остров хлестали метели и об охоте нечего было и думать. Люди еще могли обходиться без привычного мяса, но собаки отказывались глотать вареный рис и дохли одна за другой.

Как только выдался подходящий день, Ушаков с Иероком, Павловым и молодым эскимосом Таяном погнали упряжки на север. Надежда была на медвежатину. Но следы зверей неизменно приводили к опасной перемычке молодого льда. Он дымился паром полыньи и, как видно, сильно подмывался течением.

Охотники, идя по следам медведей, останавливались перед ним раз, и два, и три. Наконец Ушаков рискнул.

«Через пять минут я уже по плечи окунулся в холодную воду и тщетно пытался достать ногами дно. Быстрое течение тянуло под лед, и я с трудом боролся с ним. Таян помог мне выбраться из «ванны», но через пятнадцать метров от него самого на поверхности льда осталась одна голова. Однако он успел выхватить свой нож и, по рукоятку воткнув его в лед, легко держался, пока я не подошел на помощь. Вытащив его из воды, я тут же снова провалился сам».

Запись в дневнике Ушакова отмечает, что он провалился пять раз, Таян — четыре. Медведи же, за которыми они гнались, не стали поджидать неудачников и ушли восвояси.

Одежда охотников на морозе превратилась в ломкий ледяной панцирь. До жилья им надо было добираться семьдесят километров.

После зимних поездок и купания Ушаков перенес тяжелейшее воспаление почек — болезнь, которая на острове Врангеля стоила жизни двум спутникам капитана Барт-

летта. Ушаков выжил, но последствия болезни с тех пор мучили его до последнего дня.

Старого Иерока испытания тяжелой зимы свалили с ног. Иерок умирал от воспаления легких. Сам тяжело больной, Ушаков припелся в его юрту. Старик бредил, звал умилека на охоту, мешая русские и эскимосские слова:

— А, умилек... Компания... Таяна мы возьмем... Сыглагок... Сыглагок...

Ушаков чувствовал неотвратимость близкой потери. На его глазах из жизни уходил друг. «Вспомнилось, как он в темную бурную ночь, заставшую меня с Таяном и Анакулей на байдаре в бухте Роджерс, собрал всех охотников и отправился на поиски... Яркими картинками пронеслись сцены на совместной охоте и длинные вечера в палатке, проведенные около сооруженной им же жировой лампы».

В полночь Иерок умер.

Черт забрал Иерока. Черт свалил с ног большевика. Черт оказался сильнее.

И однажды к больному Ушакову пришел встревоженный Павлов: эскимосы намереваются по льдам уйти на материк, потому что тут, на острове, им все равно не будет житья от злого Тугнакако.

Уйти, не зная дороги?! Уйти почти на верную гибель?

Ушаков велел созвать всех к себе. Он был красноречив и убедителен, уговаривая охотников выйти на промысел. Эскимосы и чукчи отрицательно качали головой.

Оставался единственный довод.

Ушаков встал пошатываясь и велел запрягать собак. Его долго отговаривали, не пускали. Он сел на нарты, тронул упряжку, оглянулся, надеясь, что другие потянутся за ним. Он увидел лишь неподвижно, молча стоящих людей, скованных страхом.

Собаки вынесли упряжку на свежий медвежий след. Ушаков уложил зверя с первого выстрела. Забрав кусок мяса, он, еле живой, растянулся на нартах и пустил упряжку по старому следу. Он никогда потом не мог вспомнить, как ехал домой: сознание помрачилось, слабость мешала повернуться, чтобы посмотреть дорогу.

В тот день умилек одержал решающую победу в маленьком островном мире. Эскимосы и чукчи увидели, что даже больной большевик оказался сильнее черта, сумев отнять у него жирного, вкусного медведя.

С тех пор тому, кто заикался о бегстве на материк, стали говорить, что он не умеет жить.

Нансен в свое время несколько идеализировал патриархальный быт эскимосов. Он говорил полусерьезно, что только у эскимосов видел настоящий коммунизм.

Роберт Пири шел к полюсу в сознании «величия белого человека». В записях Роберта Бартлетта есть заметка: эскимос попросил перо, чтобы написать письма друзьям. «Я дал ему перо, так как знал, что у нас их было много, и подумал: «Что сказал бы Пири?» Он не поверил бы, что эскимос хочет писать. В его представлении жители льдов — эскимосы не были способны к умственной деятельности».

Ушаков был терпелив и мудр в завоевании душ порученных ему людей. Просто удивительно, как этот в сущности очень молодой человек не срывался, не взрывался при столкновении с вредоносной косностью, с бессмысленной боязнью черта, с кознями шамана, попытавшегося вернуть свое бывшее влияние.

Ушаков не идеализировал патриархальную отсталость, но и не осуждал ее с высоты превосходства. Он не впал в священный ужас, узнав, что за два года до поездки на остров Врангеля двое молодых эскимосов убили отца. Убили любя. Убили, повинувшись отцовскому приказу и варварскому древнему обычаю эскимосов. Впрочем, не только эскимосов. Этот обычай был известен многим племенам и народам. Егор Петрович Ковалевский узнал о нем в Африке.

Старик, тяготившийся жизнью, просил близких помочь ему перейти в лучший мир. Иногда он приносил себя в жертву, надеясь умиловить злые силы. Так было и в тот день, когда отец и двое сыновей оказались на унесенной штормом льдине...

Большевик жил не рядом с эскимосами, а среди эскимосов, вместе с ними. Остров Врангеля стал их землей и его землей. Они вместе были готовы защищать эту землю, когда в водах возле нее неожиданно появилось судно под чужим флагом.

...Три года провел Ушаков на острове Врангеля. В ночь на 28 августа 1929 года ледорез «Литке» с помятым правым бортом, с поврежденным форпиком и изрядной течью после многих попыток пробился к бухте Роджерс. На бор-

ту была смена зимовщиков во главе с полярником А. И. Минеевым (впоследствии он написал обильно насыщенную фактами интересную книгу об острове Врангеля).

В минуты прощания на палубу «Литке» поднялось всего шестеро старых зимовщиков во главе с Ушаковым. Ни один эскимос, ни один чукча не хотел покинуть процветающую колонию, и, наверное, это было еще важнее, чем уточнение карты, чем дневники метеорологических наблюдений, чем трехлетнее изучение острова.

* * *

Может быть, описания борьбы с суевериями эскимосов и чукчей, со злополучным Тугнагако острова Врангеля покажутся сегодняшнему читателю преувеличенно значительными и слишком экзотическими.

Он, читатель, знаком с газетными сообщениями о том, что на Чукотке начато строительство атомной электростанции. Ему, возможно, попадались рассказы и очерки чукотского писателя Юрия Рытхэу, в том числе и очерк о встрече с канадским писателем Фарли Моуэтом, автором книги о жизни племени канадских эскимосов, вырачительно озаглавленной «Отчаявшийся народ». Рытхэу и Моуэт в 1967 году вместе путешествовали по нашему Северу. Канадец, знакомясь с культурой и литературной жизнью северян, восклицал: «Такое у наших эскимосов невозможно!»

Эскимосский певец и танцор Нутетеин выступает на сцене Кремлевского театра. Эскимосы-капитаны водят морские шхуны, эскимосы-педагоги учат ребят, эскимосы-хирурги делают сложные операции. Это будни, это давно уже никого не удивляет, кроме иностранцев.

Путешественник, приехавший сегодня на остров Врангеля, узнает, что, к сожалению, нужного ему человека нет в поселке, он занят инвентаризацией местных белых медведей. Остров стал основным их поставщиком для зоопарков. Медвежат вывозят на материк. Недолгое воздушное путешествие до Москвы они переносят хорошо.

В колхозе «Рассвет Севера» приезжему покажут огромные олени стада и не забудут добавить, что здешний олень, по общему признанию, самый крупный и упитанный в мире: так хороши островные пастбища! (Карл Ломен — «оленный король» — знал им настоящую цену еще в те годы, когда снаряжал шхуну «Герман».)

На одной из сессий член Президиума Верховного Совета СССР, уроженка Чукотки Анна Дмитриевна Нутэтэгрынэ рассказала о далеких северных островах, между которыми проходит государственная граница и международная линия перемены дат. Это не только граница, но и водораздел двух миров. По обе его стороны живут представители малых северных народов — и какая разница в их судьбах!

— Народности американской Аляски, — сказала женщина с Чукотки, ставшая государственным деятелем, — отстали от нас — чукчей, эскимосов, юкагиров, эвенов — на целую вечность.

И она привела цитату из газеты «Нью-Йорк таймс», признающей, что самые ужасные трущобы в Соединенных Штатах — на арктическом побережье Аляски, на берегах Берингова пролива. Люди живут там в жалких хижинах, сделанных из толя и выброшенных морем бревен. Среди местного населения, индейцев и эскимосов, самая высокая в стране детская смертность и самый высокий процент больных туберкулезом.

А сообщение газеты дополняет признание американского сенатора Эрнста Грюнинга о том, что эскимосское и индейское население его страны находится в состоянии экономической депрессии, страдает от бедности и безработицы. «Они, — пишет сенатор об эскимосах и индейцах, — быть может, самые забытые люди из всех, живущих под флагом Соединенных Штатов».

И Анна Нутэтэгрынэ, которую во время ее поездок с группой депутатов Верховного Совета СССР в Париж и Токио называли «губернатором Чукотки», женщина, рожденная в хижине на берегу океана, с семи лет помогавшая отцу бить нерпу и ставить ловушки на песцов, женщина, хорошо знающая прошлое и настоящее своего народа, могла сказать с глубокой убежденностью:

— Всего несколько десятков километров отделяют нас от Аляски — от вчерашнего дня, но какая глубокая пропасть лежит между Советской Чукоткой и другим берегом Берингова пролива!

Вчерашний день — вера в черта, дымная яранга, груз суеверий. Сегодняшний — трибуна в зале заседаний Верховного Совета страны. Вчера — глухая, забытая окраина. Сегодня — атомная электростанция.

Но потому-то все это и стало возможным, что люди, подобные Георгию Алексеевичу Ушакову, выполняя долг коммуниста, в отдаленнейших уголках нашей земли с первых лет Советской власти боролись против нелепостей полудикой жизни, против сковывавших человеческую личность предрассудков, против всего устаревшего, заскорузлого, боролись за новые отношения между людьми.

...В квартире Дома полярников на Суворовском бульваре лежит в папке грамота, подписанная М. И. Калиным. Она начинается личным обращением: «Уважаемый товарищ Георгий Алексеевич!»

Грамота перечисляет заслуги Ушакова на острове Врангеля и заканчивается словами «...постановил наградить Вас орденом Трудового Красного Знамени».

Этот орден хранится среди семейных реликвий. Он не похож на те ордена, которые теперь сверкают по праздникам на пиджаках и кителях заслуженных людей. Орден, врученный Ушакову Михаилом Ивановичем Калиным, — образца первых послереволюционных лет. На нем под красным знаменем по голубому эмалированному полю надпись: «Герою Труда».

Летом 1965 года на Северной Земле, там, где когда-то впервые высадилась экспедиция Ушакова, был поставлен гидрографический знак — издалека различимая с океанского простора усеченная пирамида.

Но это не просто знак. Это памятник.

В нем замурована урна с прахом Георгия Алексеевича Ушакова. Такова была его последняя воля.



ПОДНЯЛСЯ ПЕРВЫМ

Есть на земном шаре место, где природа словно решила сбить с толку географа.

Оно расположено рядом с Индией, но тут иногда столь же холодно, как в Арктике, а среди тысячи с лишним здешних ледников некоторые уступают лишь покровным глетчерам Антарктиды и Гренландии. Здесь не бывает теплого лета, и только один месяц в году можно не опасаться морозов.

В этом уголке нет песчаных пустынь, и, однако, влаги здесь еще меньше, чем в Сахаре или Каракумах. Снег, выпавший ночью, днем не тает, а испаряется: необыкновенно сухой воздух впитывает влагу, как губка.

Солнце светит здесь так ярко, как нигде на земном шаре, и человек, рискнувший загорать в течение часа, может получить страшные ожоги. Но достаточно с солнцепека, где термометр показывает больше двадцати градусов тепла, сделать несколько шагов в тень — и ртуть опустится до черточки, показывающей пять градусов холода.

Эта особенность уголка земного шара, о котором идет речь, наводит мысль на сравнения с теми условиями, в которые попал космонавт Леонов, покинувший кабину «Восхода-2»: с освещенной солнцем стороны космического корабля — жара, с теневой — стужа.

В краю, о котором наш рассказ, очень трудно, почти невозможно долго бегать: непривычный человек начинает задыхаться, пробежав всего десяток шагов. Кипяток там не очень горяч, вода кипит уже при восьмидесяти градусах: настолько разрежен воздух и невелико давление.

В странном краю не растут обычные деревья и травы. Здесь можно встретить сухие, хилые кусты с необычайно толстыми корнями и серо-голубоватыми ветвями или яркие цветы, поднимающиеся совсем невысоко над землей, мохнатые, с массивными, словно отлитыми из какого-то сплава листьями.

А животные! Одно из них обладает широченной, могучей грудью. Похоже, что это создание позаимствовало от многих, хорошо известных человечеству видов всего понемногу. У него рогатая голова быка, пышный хвост лошади, теплая шерсть козы. Но оно не ржет, не мычит, не блеет. Кутас — так называется это животное — хрюкает.

Наука предполагает, что этот горный край за последние тысячелетия рос вверх. Силы, действующие внутри земного шара, подняли его и без того высокие хребты и плоскогорья, возможно, еще на пятьсот — восемьсот метров. Подъем горной страны продолжается и в наши дни.

Безусловно, многие читатели давно уже могут назвать край, о котором идет речь. Да, это Памир, «крыша мира».

Плоскогорья Памира в среднем на 4 тысячи метров выше уровня моря. Горную страну расчленяют бездонные ущелья. Хребты поднимаются здесь на совсем уже невысказанную высоту.

Памир издавна притягивал ученых и путешественников. Его отроги еще семь веков назад видел неутомимый Марко Поло. Экспедиции Федченко, Северцова и других выдающихся наших ученых открыли Памир для русской науки.

В советское время началось исследование его наименее доступной части. Она находилась в центре Западного Памира, где медленно течет величайший в стране ледник Федченко и где на головокружительной высоте сходятся вечные снежные хребты.

Изучить ее нужно было не только для того, чтобы стереть «белое пятно» с географической карты. Памирские ледники питают реки, орошающие хлопковые поля таджиков. Здесь зарождается погода, от которой зависят урожаи во многих районах, далеких от Памира. Изучение памирских хребтов тесно связывалось с бурным расцветом хозяйства нашей Средней Азии. Наконец, нужно было осваивать и самые плоскогорья, помочь горцам в борьбе с жестокой природой.

Первая большая экспедиция на Памир была снаряжена Советским правительством в 1928 году. Ее участники прошли ледник Федченко. Они достигли места, откуда был виден стык хребта Петра Первого с неизвестным хребтом, которому дали название хребта Академии наук.

Несколько лет экспедиционные отряды продолжали работы на «Крыше мира».

В многотрудном исследовании Памира участвовали Н. И. Вавилов, Н. П. Горбунов, А. Е. Ферсман, О. Ю. Шмидт, Д. И. Щербаков. Ученым, среди которых были любители горного спорта, помогали лучшие альпинисты-спортсмены.

Горовосходителями руководил Николай Васильевич Крыленко, доктор государственных и правовых наук. Старый большевик, он еще в годы эмиграции поднимался на вершины Альп со швейцарскими альпинистами.

Перед учеными и альпинистами высились в синеве неба ослепительно белые пики. Один из них массивной пирамидой возвышался над всеми другими. Далекий, недоступный, загадочный, он, казалось, обладал какой-то притягательной силой.

Был ли то пик Гармо, который удавалось видеть с другой стороны, из долины реки Гармо, или экспедиции удалось открыть новую, еще неизвестную вершину?

И как пробраться к этому пику? Что за хребет венчает он? Как вообще расположены в этом месте гряды заоблачных гор и могучих ледников, «завязанные» в сложный узел?

Возникла трудная географическая задача — загадка узла Гармо.

Альпинистские отряды, исследующие узел Гармо, словно магнитом притягивал пик, высоту которого удалось определить с помощью геодезических инструментов. Он превосходил все другие вершины Советского Союза.

Три группы смельчаков начали поиски путей к нему. Они шли с разных сторон. Одна группа поднялась довольно высоко к северному плечу пика, другая разведала восточное ребро, третья на северо-западе уткнулась в отвесную стену скал и льда. Ни одна группа не достигла цели.

Но когда исследователи собрались вместе и нанесли на карту свои маршруты, то выяснилось, что они поднимались... к двум разным вершинам!

Высочайший пик страны не был пиком Гармо. Это действительно была новая, неизвестная вершина, расположенная там, где к хребту Академии наук примыкал хребет Петра Первого. Пик Гармо остался в стороне.

Загадка была разгадана. Горный узел Гармо лег на карту. Внимание исследователей было обращено на новый пик, гору гор, высочайшую вершину страны, которая теперь обозначена на всех картах как пик Коммунизма. Ее высота оказалась равной 7495 метрам!

Нужно было найти пути подъема по скалам и ледникам горного исполина и попытаться достигнуть его вершины.

Штурм пика назначили на 1933 год.

Двух участников этого драматического восхождения, из которых один почти дошел до вершины, а другой поднялся на нее, уже нет в живых. Но есть подробные дневники штурма, и они позволяют представить, как все было.

* * *

ТПЭ, специальный отряд № 29...

В сборнике, посвященном экспедициям Академии наук СССР, работавшим в 1933 году, свыше трехсот страниц. Отчет о деятельности ТПЭ, Таджикско-Памирской экспедиции, занимает в нем неполных двенадцать страниц. Деятельности же специального отряда № 29, штурмовавшего величайшую вершину страны, отведено 18 строк.

Таким был размах исследовательских работ в стране. Кроме того, возможно, деятельность отряда № 29 по традициям академического отчета и не заслуживала большего места.

За скобками нашего повествования останется та огромная работа, которую проделали сотни людей, для того чтобы снарядить отряд горовосходителей. Сама по себе доставка этого снаряжения как можно ближе к пику по су-

ществу была равнозначной труднейшему экспедиционному походу.

Месяцы ушли на устройство базового лагеря, промежуточного лагеря, выразительно названного «Чертов гроб», на расчистку троп для подходов к пику, на разведку ледников и морен, на первые рекогносцировочные подъемы, завершившиеся выбором мест для лагерей «3900», «4600» и «5600», где цифры означают высоты над уровнем моря. Повторяем, все это и многое другое остается за пределами нашего повествования, которое начнется прямо с каменной морены на полдороге между лагерями «4600» и «5600» в полдень 29 июля 1933 года, первого дня атаки пика.

...Медленно сняв с плеч тяжелые рюкзаки, двое альпинистов сели на камни. Один из них, плотный, корепастый, широкоплечий, вынул карманный анероид:

— На такой высоте, Даниил Иванович, летчики действуют уже в кислородных масках, — сказал он спутнику.

Высоко на склоне задымилось белое облачко. Оно не поднималось вверх, а, быстро увеличиваясь, катилось вниз. За ним сорвалось еще одно. Донесся глухой грохот лавин. Альпинисты молча проследили, как снежные потоки, увлекая за собой тяжелые камни, пересекли их будущий путь.

Подошла вторая группа, за ней — носильщики. Таджики и киргизы, горцы, привычные и к холоду, и к разреженному воздуху, и к ходьбе по крутым склонам, на этот раз были сильно утомлены. Здоровенный, сильный Ивай словно подкошенный повалился в снег:

— Плохо... Дальше куда?

— Вон туда, видишь? А потом — туда, еще выше!

Коренастый альпинист показал на ребро пика, полузакрытое облаками. Ребро чернело отвесными скалами, нависшими над пропастями.

Нет, наверно, Евгений шутит! Как можно туда подняться? Разве у людей есть крылья?

— Даниил Иванович! — вполголоса сказал спутнику Евгений Абалаков. — Боюсь, наши ребята не дотянут до «пять шестьсот».

Даниил Гуцин пожал плечами. Вообще-то они молодцы, но кто знает...

Носильщики заговорили на своем гортанном языке, временами поглядывая на страшные ребра скал. Там, навер-

ху, «тяжелый воздух», он давит грудь, им нельзя дышать. Да что говорить — Евгений с Данилой сами убедятся в этом, если попробуют подниматься выше.

Носильщики плохо понимали русский, а альпинисты знали лишь несколько слов на их родном языке — мало-мало для того, чтобы рассказать, каким именно путем разведчики уже поднимались на ребро.

Привал кончился. Потянулись дальше. Снова ухнула лавина, снежная пыль долго носилась в воздухе. Сверху нависали тяжелые снежные языки.

Может, лишь сознание опасности помогало носильщикам преодолевать все усиливающиеся приступы горной болезни — острую головную боль, сильную одышку, рвоту. Потом, когда опасное место осталось позади, двое упали и не смогли встать.

А ведь это было только начало, до вершины оставалось больше двух километров, и путь к ней был неведом.

Наконец лагерь «5600». Носильщиков отправили вниз. Крохотная площадка, на ней три палатки, таких маленьких, что в них можно забраться только ползком. Там легкие спальные мешки из шелка с прослойкой гагачьего пуха.

Вечереет. Внизу плывут облака. Солнце садится за дальние хребты.

Абалаков сосредоточенно рассматривает ребро пика. Закат резко подчеркивает черными тенями все выступы, неровности, впадины. Если бы под рукой была глина, Абалаков мог бы тут же вылепить макет ребра. Зорким, цепким глазом художника и скульптора он отмечает то, что может пригодиться завтра.

Потом вынимает блокнот и делает набросок. Путь будет дьявольски тяжелым! На ребре торчат шесть «жандармов» — шесть острых, крутых выступов. Они стоят друг за другом, словно башни — грозные, кроваво-красные в лучах заката. А под ними черные пропасти почти отвесных скалов.

Утром трое альпинистов, связавшись одной веревкой, идут к первому «жандарму». Они продвигаются медленно, осторожно, экономя силы.

Впереди Абалаков. Прежде чем сделать шаг, надо убедиться, что камень, на который станет нога в подбитом пластинчатыми гвоздями башмаке, надежен, что он не сорвется в пропасть.

Далеко не везде можно идти всем троим сразу. Пока один ползет впереди, двое других, став поустойчивее, «страхуют». Если идущий первым сорвется, «страхующие» удержат его на веревке.

Следом за первой тройкой продвигается вторая. Она должна закрепить пройденный путь: сбросить ненадежные камни, вбить в скалы крючья и протянуть кое-где веревки, чтобы легче было идти носильщикам.

В этой тройке идет молодой инженер, весельчак Коля Николаев. Тройка проходит второй «жандарм» в опасное время: солнце сильно пригревает, можно ждать камнепада. Быстрая смена температуры разрушает горные породы. Достаточно солнцу нагреть остывший за ночь склон, чтобы растаял лед, цементирующий камни, и иной раз они срываются вниз даже от порыва ветра.

Николаев — отличный скалолаз. Он замыкает тройку. Веревка? Она только стесняет. Отбросив ее, привычными, точными движениями преодолевает Николаев второй «жандарм».

Рука альпиниста ищет зацепку. Камень, который она ощупывает, еле держится. Эх, не надо было его трогать...

Вот отрывки из дневника Евгения Абалакова, который, пробираясь по гребню, услышал снизу крик:

«— Несчастье!!!

— Что такое?

— Разбился Николаев!

...Его сшибло камнем, когда он чистил дорогу, убирая шаткие камни. Так, с огромным камнем в руках и полетел он вниз, стукнулся о скалы, камень снова сшиб его, и он полетел по снегу уже как тряпка... И так донизу, иначе говоря, километр по стене...»

Беда непоправима. Горе придавило оставшихся. Молча смотрят они вниз, туда, где еще клубится снежная пыль над могилой их веселого товарища.

Тщетны поиски тела. Его поглотила бездна. Должно быть, оно попало в одну из трещин, тут же засыпанных лавиной.

— Ваше счастье, что вы не видели, как он погиб, — говорит на привале альпинист Харлампиев, шедший с Николаевым. Его непрерывно бьет дрожь. Он надломлен и едва ли сможет идти дальше.

В эту ночь никто не спит.

Ищут и на следующий день. Тела нет.

«Подавленные, ослабевшие идем обратно. Камень с жужжанием летит мимо. Стая воронов с криком кружится над скалой. Прощай, друг!» — записывает Абалаков.

В ледовом лагере, где все собрались вместе, ни смеха, ни шуток. И неясно, что делать дальше: Николаев погиб, двое альпинистов еле держатся на ногах. Весь тщательно разработанный план штурма сломан. Раньше думали, что подготовительная группа поможет основной штурмовой группе сберечь силы. Теперь подготовительной группы больше не существует.

Отложить штурм? Отступить? Потерять товарища — и отступить?

...Снова ползут альпинисты и пять наиболее крепких носильщиков мимо первого, потом мимо злополучного второго «жандарма». Еще свеж в памяти крик Николаева. Носильщики пугливо косятся на край бездны.

Новый лагерь разбит на подступах к третьему «жандарму». Высота — 5900 метров. В ночной тиши грохот, все ближе и сильнее. При свете луны клубятся снежные облака чудовищной лавины. Воздушная волна едва не срывает палатки.

Третий «жандарм» изрядно изгрызан временем. Обломки то и дело со свистом летят вниз.

Еще день — позади остается четвертый «жандарм».

8 августа предстоит брать пятый, едва ли не самый трудный. Если удастся преодолеть и его, путь к вершине будет разведан.

Пятый упрямо торчит отвесной глыбой. Обойти его нельзя. И при кажущейся монолитности он еще ненадежнее, чем второй: глыбы — как живые, они шатаются, готовые сорваться каменной лавиной.

Абалаков приклеился к холодной стене, замер в неустойчивом равновесии. Перед ним отвес. Медленно, осторожно он забивает в трещину камня крюк, защелкивает на нем «карабин» — кольцо с внутренним замком — и пропускает через него веревку. Другой конец веревки в руках Гущина.

Абалаков пробирается дальше, шарит по стене ногой. Нога повисает, не встречая никакой опоры. Тогда он, сняв рукавицу, медленно ощупывает стену. Пальцы движутся, как при игре на рояле. Абалаков сердится: эти беспомощные движения свойственны обычно начинающим альпи-

нистам, лезущим вслепую, без заранее продуманного плана.

Он снова тянется вверх и вправо. Ага, вот чуть заметный выступ. Отлично! Теперь немного подтянуться, потом передвинуть ногу... Готово!

Гущин больше не видит Абалакова: тот скрылся за выступом скалы. Только тонкая веревка медленно ползет за ним. Вдруг грохот камней. Гущин вздрагивает, напрягается, ожидая рывка веревки.

Нет, веревка недвижна.

— Женья! Же-е-ня! — кричит обеспокоенный Гущин.

— Страхуй! Попробую еще! — доносится к нему из-за выступа.

Должно быть, Евгений сбрасывал опасные камни.

Веревка кончается. Гущин собирается предупредить Абалакова, но слышит из-за стены крик, очень похожий на «ура».

А минуту спустя Абалаков уже появляется над ним, на вершине пятого «жандарма»:

— Победа!

Он спускает Гущину веревку. Пятый «жандарм» взят. Шестой как будто не внушает особых тревог. Его можно будет преодолеть с ходу.

Путь по ребру разведан, вбиты крючья, протянуты веревки, на пятом «жандарме» укреплена веревочная лестница.

Вечер теплый, светит яркая желтая луна. Тишина: ни одной лавины.

Утром они начинают спуск вниз, в лагерь на леднике. Там нетерпеливо ждут известий. Теперь короткий отдых — и на штурм!

Он несомненно будет труднее, чем представлялось сначала. Погиб полный сил альпинист Николаев, на которого возлагали большие надежды. Не все получилось так, как нужно и с подготовкой пути. В высокогорном лагере очень скуден запас продовольствия. Носильщики пока не смогли подняться выше «5900». Мало надежд, что они преодолеют эту высоту в дальнейшем. Значит, альпинистам придется идти с особенно тяжелой нагрузкой. Ведь к вершине надо поднять автоматические метеостанции, которые будут посылать радиосигналы о погоде. А вес станции — два пуда!

В довершение всего они, не успев начать последний штурм, теряют еще одного...

Носильщики, ушедшие вперед, чтобы как можно выше поднять палатки, продукты и облегчить тем самым подъем главной штурмующей группы, вернулись обратно с больным на руках. Джамбай Ирале, скромный, застенчивый паренек, совсем плох: у него тяжелое воспаление легких.

Тщетно врач экспедиции пытался спасти больного: через день у ледникового лагеря появилась свежая могила...

* * *

В дни, пока шла упорная, тяжелейшая работа, пока подготавливалось все то, что должно было принести победу при последнем напряжении духовных и физических сил, уже определилось в сущности, кто способен на наибольшее.

Евгений Абалаков был человеком, как будто специально созданным для покорения гор.

Иногда делят восходителей по особенностям их стиля на высотников, хорошо действующих там, где других валит с ног горная болезнь, и на альпинистов, специальность которых — преодоление самых сложных препятствий. Различают еще скальников, особенно уверенно форсирующих скалы, и ледовиков, для которых ледопады легко преодолимое препятствие.

Евгений Абалаков был тем феноменальным альпинистом, который как бы соединял в себе все эти условные категории.

Отменное физическое здоровье сочеталось у него с душевным. Ровный, спокойный характер, дружелюбие и готовность помочь товарищу располагали к нему людей.

Он никогда не рисовался. Читать его дневники — наслаждение. Они просты, безыскусственны, честны. Только очень здоровый, очень сильный человек мог в тяжелейший день 29 августа записать: «Настроение у меня чудесное — ору песни».

«Орать песни» — выражение, сразу выдающее коренного сибиряка. Оно распространено от Урала до Забайкалья.

Очерк самого Евгения Абалакова о его пути к горным вершинам начинается фразой: «Я вырос в сибирском городе Красноярске». К этому очерку приложен автопортрет: лобастый мальчишка с упрямо сжатыми губами.

Этого мальчишку я знал. Мы жили на одной улице и учились в одной школе.

Мне кажется теперь — я готов даже утверждать это, — что уже тогда, в школьные годы, братья Абалаковы как бы готовились стать тем, чем стали.

Женя и его брат Виталий жили за три дома от моего. А школа наша — ее называли почему-то «губсоюзовской» или «кооперативной» — находилась далеко, возле базарной площади.

Коренастые, плотно сбитые братья всегда ходили вместе, быстрым, ровным шагом, в лютые морозы не спускали уши у шапок и носили не теплые валенки, как все мы, а башмаки. Оба были круглолицыми, и не помню уж кого прозвали Луной — Женю или Виталия.

У школы была железная пожарная лестница на крышу — место состязаний во время большой перемены. Мы подтягивались по ней на руках, кто сколько мог, перехватывая холодные, тонкие перекладыны. Иным удавалось добраться до середины лестницы. Абалаковы поднимались на руках под крышу второго этажа.

Оба будущих знаменитых альпиниста были знаменитыми «столбистами». Так у нас называли тех, кто бесстрашно лазил по отвесным гранитным скалам Столбов, грозно поднимавшихся среди тайги неподалеку от Красноярска. А на каникулы братья Абалаковы уходили в Саяны, стреляли зверя и птицу, рубили плоты для сплава по горным речкам — и вся школа завидовала им...

Так разве же не эта жизнь смолоду среди сибирской природы, жизнь, закаливающая тело и волю, подготовила парней из нашего города к штурму вершин?

На Кавказе братья Виталий и Евгений Абалаковы впервые появились среди признанных, бывалых альпинистов в 1931 году. И в этом же году о новичках заговорили, как о покорителях трудной вершины Дыхтау.

Чудес не бывает, в альпинизме — тем более. Просто красноярские Столбы, эта школа сибиряков-скалолазов, пополнила ряды горновосходителей лучшими своими питомцами.

Евгений Абалаков говорил землякам-красноярцам:

— Ребята, на Столбах — наша школа. Здесь у нас всеу началось.

Заслуженный мастер спорта СССР Виталий Абалаков на своей книге «Основы альпинизма», подаренной им

красноярским друзьям-скалолазам, написал: «Столбы — место игр у родного гнезда. Но когда вырастают цепкие когти и крепкие крылья — пора в дальние полеты во славу родного края!»

В 1932 году братья Абалаковы прошли по гребню через вершины и седловины знаменитой Безингийской стены, траверс которой до той поры удавался лишь наиболее опытным иностранным альпинистам.

Несколько месяцев спустя братья Абалаковы и Даниил Гущин пошли в группе альпинистов на зимний штурм Эльбруса. Это было первое в стране восхождение на одну из трудных вершин Кавказа в неблагоприятную пору шквальных ветров и снежных лавин.

Не все вынесли тяжесть похода. Оставалось уже совсем немного до цели, когда один из участников штурма, Алексей Гермогенов, скончался на руках товарищей.

С его телом они начали спуск. И вот что произошло дальше, по описанию очевидцев:

«Абалаков провалился в трещину и потащил за собой тело Гермогенова. В последнюю минуту Гущину удалось схватить Абалакова за руку. Однако силы его были подорваны бессонными ночами и недоеданием, Гущин медленно заскользил к провалу...

Друзья считали, что одному обязательно нужно остаться наверху, иначе их никто не найдет. Быстро скользнула вниз перерезанная веревка, и Абалаков вместе с телом Гермогенова полетел в трещину. Во время падения ему удалось зацепиться за выступ и удержаться на нем. Так они и провели ночь: Гущин — на краю трещины, Абалаков с мертвым товарищем — на выступе внизу».

Таков был человек, которому всего на третий год большой альпинистской практики предстояло штурмовать высочайшую вершину страны.

* * *

22 августа 1933 года, 9 часов утра. Первая запись в штурмовом дневнике. Ледниковый лагерь покидает головная штурмующая группа — Абалаков и Гущин. С ними трое носильщиков.

Второй день штурма. Группа поднялась до лагеря «5900». Палатки, оставленные здесь, сползли в трещину. Пока их доставали, пока вырубали площадку в ледяной

стене над пропастью, стало смеркаться. Тускло блестели во тьме ледники. Нигде ни огонька. Только горы и небо.

Третий день. Надо разбить лагерь за шестым, еще не преодоленным «жандармом»: ведь следом за первой идет вторая штурмующая группа, для которой надо обязательно освободить место ночлега в лагере «5900».

Утром носильщики едва поднимаются. Их мучит горная болезнь. Они и так сделали почти невозможное для людей, не имевших навыков в альпинизме. И Ураим Керим, и Закир Прен, и Нишан-Раби, и другие их товарищи честно делили с альпинистами все трудности, все опасности.

Абалаков и Гушин прощаются с проводниками и вдвоем карабкаются на пятый «жандарм». Тяжелые рюкзаки оттягивают плечи.

Около трех часов дня двое перед шестым «жандармом». Как всегда, Абалаков впереди. Гушин «страхует».

Высота 6200. Абалаков продвигается вперед с предельной осторожностью, и все же на особенно крутом склоне его нога внезапно теряет точку опоры. Камень вырывается из-под нее, увлекая за собой другие.

Абалаков слышит болезненный крик Гушина и чувствует, как ослабла веревка. Сердце падает куда-то, сразу не хватает воздуха.

Нет, Гушин жив! Он держит над головой руку. Кровь часто капает с нее на снег. А веревка перебита камнем как раз посередине.

Забыв всякую осторожность, бросив рюкзак, Абалаков поспешно скользит вниз:

— Ранен?

Лицо Гушина искажено болью. Камень рассек ладонь до кости, рваная рана обильно кровоточит. Абалаков перевязывает ее и вопросительно смотрит на Гушина:

— Может, вниз?

Тот сердито хмурится:

— Дойду...

Нельзя терять ни минуты, скоро темнота накроет горы. Они могут либо вдвоем спуститься, либо вдвоем подняться. Обязательно вдвоем. Это закон гор.

Когда альпинисты выходят на ребро за шестым «жандармом», солнца уже давно нет. Альтиметр показывает 6400 метров. Они находятся почти на 1400 метров выше вершины Казбека, на 800 метров выше Эльбруса.

Выбирать место для ночлега некогда. Абалаков вбивает

в скалу крючья, привязывает к ним рюкзаки. Устанавливать палатку нет сил. Они ложатся, подстелив ее под себя. Площадка мала для двоих, до края меньше шага. Если Гушин во сне будет ворочаться от боли, то...

Абалаков привязывает Гушина, привязывается сам.

Он вспоминает изречение, которое любят повторять на Памире: «Путник, помни, что твоя жизнь — как слеза на реснице».

Гушин стонет, просит разрезать бинт. Абалаков пробует — не получается: все слиплось, в темноте не поймешь, где окровавленный бинт, где запекающаяся рана.

Наконец Гушин засыпает. Звезды усеяли холодное черное небо. Тишина, звенящая тишина. Одиночество над бездной.

Но разве они одни? Вторая партия сегодня, наверно, ночует в лагере «5900». Ниже, у ледника, остальные, тревожащиеся за товарищей. И есть на свете далекая Москва. Есть в Москве люди, которым чертовски важно, чертовски нужно, чтобы электромонтер Гушин и скульптор Абалаков вернулись здоровыми и невредимыми.

На следующий день Абалаков, занятый расчисткой более удобного места для лагеря и укреплением палатки, услышал вдруг знакомые гортанные голоса. То были носильщики! Собравшись с силами, они все-таки рискнули подняться выше лагеря «5900». Пользуясь крючьями и веревочной лестницей, эти чудесные парни, облегчив труд штурмующих групп, принесли метеостанцию и продукты.

26 августа — день встреч. В лагерь — отныне он называется «6400» — подтягиваются альпинисты второй группы. Среди них Николай Петрович Горбунов, начальник экспедиции, не раз уже бывавший на Памире.

Он здесь старше многих: ему за сорок. Высокий, чуть грузноватый, он сильно измотан подъемом, но старается не подавать виду.

Николай Петрович представляет поколение, много повидавшее, много испытавшее. Его подпись стояла на важнейших документах первых лет революции следом за подписью Владимира Ильича Ленина. Член партии с 1917 года, Николай Петрович был первым секретарем Совета Народных Комиссаров. Потом заведование научно-техническим отделом ВСНХ, затем польский фронт, реввоенсоветы двух армий, снова Совнарком, Госплан, Академия наук... Альпинизм — его увлечение, отдых.

Альпинисты расселись возле палаток. Их лица покрыты белой мазью, защищающей от солнечных ожогов. В темных очках, обросшие бородами, исхудавшие, они мечтали о похлебке, пахнущей дымом.

Но в царстве вечных снегов нет топлива для костра. Да и похлебку варить не из чего. Продуктов поднято совсем мало. Сейчас, когда придется особенно тратить силы, завтрак, обед и ужин будут состоять из нескольких ложек манной каши, сваренной на кубиках сухого спирта, пяти-шести галет и двух кусков сахара. Оставалось еще пять банок консервов, но их берегут для последнего этапа подъема.

27 августа Абалаков и Гущин, забрав метеостанцию, решают поднять ее как можно выше, чтобы потом вернуться к остальным.

Записи Абалакова:

«Через каждые 25—30 шагов отдых. В горле пересыхает. Дыхание частое. Охватывает чувство какой-то подавленности: кругом снежная пустыня, метет, клубятся облака... Даниил Иванович плетью висит на ледорубе или валится в снег».

28 августа. «Бурная ночь. Опасались, как бы не сорвало палатки. Туманное утро, туманное настроение».

Все чувствуют слабость. Абалаков помогает другим, уже не первый день взваливая на себя двойную тяжесть, подносит в трудных местах чужие рюкзаки.

29 августа штурмующая группа разбивает лагерь «6900». В разреженном воздухе мучительно трудно дышать, двигаться, рюкзаки словно наполняются свинцом.

Ночью дует резкий ветер. При свете спички Абалаков смотрит на термометр: двадцать градусов мороза.

30 августа не остается сомнений, что идти к вершине могут только трое. Рука Гущина распухла под окровавленным бинтом и невыносимо ноет. Есть опасность гангрены. Другой альпинист обморозил ноги. Третий свален горной болезнью.

Трое больных, часто останавливаясь и отдыхая, отправляются вниз. Трое — Евгений Абалаков, Николай Горбунов, Александр Гетье — остаются в лагере «6900», готовясь к последнему броску.

Они пытаются прежде всего повысить поднять метеостанцию. Но как мучигелен теперь каждый шаг для обес-

силевших людей! Они месят глубокий снег, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание.

Нет, станция для них — непосильный груз. Придется установить ее по дороге к вершине. Эта работа совершенно изматывает альпинистов. Они едва добираются до палатки.

31 августа — ветер, снег, туман.

Утром 1 сентября начинается вьюга, жестокая памирская вьюга. Идти вперед нельзя. Пошли проверить, как работает станция. Но станция совсем не работает. Ее приносят в палатку и разбирают негнувшимися, обмороженными пальцами. Проверяют и снова устанавливают.

Снежная буря неистово бушует над вершиной высочайшего пика Советского Союза весь день и следующую ночь. Воет ветер, почти не смолкает грохот лавин и камнепадов. Термометр опускается до сорока пяти градусов ниже нуля.

В двух тесных, маленьких палатках, придавленных, заваленных тяжелыми сугробами снега, задыхаются трое. Двое уже не в состоянии двинуть рукой. Третий крышкой от кастрюли начинает рыть коридор в снегу. Палатка может стать могилой, без доступа воздуха гибель неминуема. Абалаков делает еще одно усилие, отгребает последний слой снега.

В снежную пещеру врывается свежий воздух, влетает сухой колючий снег. Почти мгновенно заледеневают спальные мешки. Зато можно дышать.

Наступает 3 сентября — шестой день в лагере «6900». Погода проясняется. Выглядывает солнце. По ослепительным ледяным полям гуляет крепкий ветер. Снег, срываемый им, развевается белыми космами.

Сегодня последний шанс достичь вершины. Завтра будет поздно: продовольствия больше нет.

Гетье остается в палатке: он уже и сегодня не может встать.

Двое бредут по пояс в снегу. Десять шагов — остановка, десять шагов — остановка. Они связаны веревкой, в руках у них ледорубы со стальным «клювом» и лопаткой.

Горбунова мучает одышка. Он садится в снег:

— Посмотрю ногу, не чувствую ничего.

Носки примерзли к обмороженным пальцам.

Двое идут дальше. Горбунов останавливается все чаще, его силы на исходе.

Солнце спешит на запад, а они прошли так мало. Вершина еще далека. Горбунов падает на лед.

Вдвоем им не дойти.

Более сильный и молодой должен идти к вершине один, без «страховки», без товарищеской помощи в трудную минуту. Другого выхода нет.

Абалаков достает блокнот. Пока пальцы еще слушаются, он пишет записку и вкладывает ее в пустую консервную банку. Эта банка будет оставлена под грудой камней на вершине. А теперь — вперед!

Он то идет, то ползет. Ветер усиливается. Белые смерчи пляшут на гребне, жесткий снег больно режет лицо.

Что это? Трещина!

Огромная, зияющая. У самой цели.

Но в одном месте пласт слежавшегося снега белеет над бездной. Выдержит ли он тяжесть тела?

Абалаков ложится, распластывается, вытягивает перед собой ледоруб, осторожно ползет.

Теперь надо преодолеть острый, как нож, вершинный гребень. Абалаков оставляет рюкзак в трещине, чтобы забрать на обратном пути. Ветер все крепчает. Он словно хочет сдуть человека с гребня.

Остаются лишь вершинные скалы. И тут странное чувство овладевает Абалаковым. Вдруг у него не хватит сил для этих последних метров? Ему кажется, что вершина вот-вот ускользнет куда-то.

Почти на четвереньках взбирается он на вершинную скалистую площадку — и падает на камни, обнимая их руками.

Вот она, победа!

Но отдыхать нельзя. Он встает, пошатываясь, и собирает камни для тура, под который будет положена консервная банка с запиской. Смотрит альтиметр: почему-то 7700 метров. Набрасывает схемы, зарисовывает расположение хребтов, отлично видимых с этой самой высокой точки страны.

Он ходит по площадке и вдруг замечает, что на облаках, далеко внизу, мечется огромная тень. Это его тень, отбрасываемая на облака заходящим солнцем! Он взмахивает руками — и синий человек на облачной вате повторяет движение.

Так стоит он на вершине, невысокий, коренастый, и его гигантская тень простирается над покоренной «крышей мира»...



МОРЯК РЕЧНОГО ПЛАВАНИЯ

Имени этого человека нет в летописях путешествий и открытий. Боюсь, что его не имели в виду даже в тех случаях, когда, перечисляя основных исследователей какого-либо края, обрывали список словами «и др.».

Уже сама профессия моего героя как будто предопределила это: не географ, не геолог, не гидрограф, не ботаник — речной капитан. «Отдать швартовы!», «Полный вперед!», от пристани к пристани — что же тут исследовать, что открывать?

Но разные бывают реки и разные капитаны.

Я был мальчишкой, когда капитан поразил мое воображение густейшими косматыми бровями и редкой в те первые послереволюционные годы фуражкой с золотым шитьем. Да и не только мое. Многие ребята в Красноярске играли в капитанов на тополевым бульваре над Енисеем, где пахло пароходным дымом и подвыпившие матросы поднимали пыль широчайшими брюками клеш.

Город жил рекой. Самолеты тогда были редкостью. Север огромного края получал все, что ему нужно, по реке.

Весной в Красноярске загружались караваны и следом за льдом уходили вниз по Енисею. Их провожали шумно и весело. С утра на набережной пиликали гармошки, толпились люди, грузчики бегали по пружинящим сходням. Пароходы, перекликаясь, ставили под погрузку баржи.

Осенью, совсем перед ледоставом, возвращался с севера из низовьев главный рыбацкий караван. Снова весь город собирался к реке. На берегу потом еще долго, до первых морозов, торговали поштучно золотистой сельдью копчушкой.

Тех, кто трудится на реке, в городе знали и уважали. Работать на речной флот шли охотно. Мальчишки мечтали водить корабли. Это увлечение продолжалось до тех пор, пока в стране не начались знаменитые арктические перелеты. Шлем летчика вытеснил в ребячьих мечтах капитанскую фуражку.

Когда в 1936 году я с удостоверением специального корреспондента поднялся на борт теплохода «Красноярский рабочий» и увидел на мостике знакомую с детства фигуру, увидел сурово сдвинутые густейшие косматые брови капитана Мецайка, воспоминания детства разом нахлынули на меня...

«Красноярский рабочий», полуморское судно, шел лидером транспортной экспедиции. Она должна была выйти по Енисею в Карское море, сделать вдоль берегов Таймыра переход до устья реки Пясины и подняться вверх по ней как можно ближе к тому месту, где тогда только что начинали строить Норильск.

Поход этот для речных судов был делом весьма рискованным. Капитана-наставника Константина Александровича Мецайка, как знатока северных рек, назначили одним из руководителей всей операции.

Мы вместе провели пять экспедиционных месяцев. Мальчишеское обожание не выветрилось у меня, и в первое время я робел, не решаясь расспрашивать старого капитана. Помню, мне почему-то хотелось увидеть его с трубкой. Но капитан Мецайк не курил.

Не искал он успокоения в табаке и той жестокой ночью, когда морские льды раздавили у нас в караване железную баржу. Стараясь справиться с волнением, он без конца пил горячий черный чай.

Под утро, когда напряжение стало спадать, капитан рассказал мне, как однажды чуть не погиб во время ава-

рии. С этого началось. Потом еще не раз долгими осенними ночами слушал я его рассказы. А то, что не рассказал он, досказали другие: капитана Мецайка на Енисее знали все.

С тех пор прошло немало лет. Приезжая в родные края, я непременно заглядывал в дом на берегу Енисея. Последний раз застал капитана за сборами. На рассвете он уходил в плавание. В раскрытом небольшом чемодане, аккуратно застеленном газетами, лежали мореходные таблицы, шерстяные носки, меховая шапка, жестяные коробки с любительским чаем.

Константину Александровичу предстоял очередной рейс на север. Это была шестьдесят третья навигация капитана Мецайка.

За шесть десятков лет трудовой жизни капитан встречался со многими из тех, чьи имена знакомы вам.

Исследователь и краевед, открыватель по натуре, по духу, он немало сделал для познания и освоения одной из наших величайших рек, где воздвигнута теперь плотина мощнейшей гидростанции мира.

* * *

Если ты родился у моря, если оно кормило твоего деда и кормит отца, то будущее твое наполовину уже определилось. В море тебя позовут не романтические книжные истории — просто оно станет твоим рабочим местом.

Отец будущего капитана был капитаном. Он ходил на пароходе «Мурман» из гаваней Кольского полуострова к берегам Норвегии, в Архангельск, на Новую Землю. Зимой пароход ремонтировался в порту Владимира и капитан неотлучно находился там, а семья жила в городе Кола. Когда у капитана родился сын, жена получила депешу: привези без промедления, хочу видеть. Двухнедельного Костю укутали в меха и на оленях помчали через тундру.

Летом в бухту кольского порта, где дымил заводик для вытопки китового жира, приходили парусники рыбаков и зверобоев. Бросали якорь и норвежские суда: в те годы северяне-соседи вели оживленную поморскую торговлю, начавшуюся бог знает в какие далекие времена. В роду капитана прадед был из обрусевших норвежцев, и от него пошла странная, непривычная поморам фамилия.

Маленький Костя, отправляясь в плавание со своим одноклассником Сашей Суцихиным на огромном сундуке с при-

данным матери, во все горло распевал матросские песни. Это зимой, а летом друзья торчали в старом ялике, связанном к пристанской свае.

В десять лет Костю взяли плавать на промысловое суденышко, в двенадцать определили юнгой на сторожевой крейсер «Вестник». В шторм раздавалась неуставная команда:

— Чижей наверх!

Чижами капитан прозвал юнг за тонкие ребячьи голоса. Он утверждал, что без подзатыльника из юнги ничего путного не выйдет и что, чем дольше держать чижей в черном теле, тем полезнее для дела.

— Чижам койки? — свирепел он. — А может, еще перины? А не угодно ли им дрыхнуть на бочках? Или на палубе?

Конец прошлого столетия совпал с началом «золотого века океанографии». Вернувшийся из экспедиции на «Фраме» Фритьоф Нансен стал одним из организаторов Международного совета по изучению морей. В совет входил адмирал Макаров.

Русская океанография делала быстрые успехи. Возникла идея постройки первого в мире судна, специально приспособленного как для морского промысла, так и для научных исследований. Профессор Николай Михайлович Книпович, которому деятельно помогал Нансен, сам наблюдал за постройкой корабля. Его называли «Андреем Первозванным», и Книпович отправился на нем для океанологической съемки Баренцева моря.

Вот на этот-то корабль Константин Мецайк и был зачислен матросом II статьи. По совместительству его определили учеником к молодому ихтиологу Исаченко. Исаченко участвовал в студенческих выступлениях; однажды казаки исполосовали его нагайками. На корабле он слыл вольнодумцем. Мецайк получал от него брошюры, которые можно было читать в тиши по ночам без свидетелей, а днем прятать понадежнее.

«Андрей Первозванный» был в море круглый год, за исключением двухнедельной стоянки в Архангельске. В любую погоду корабль должен был каждый месяц повторять рейсы по Кольскому меридиану до 75° северной широты, поворачивать отсюда к Белужьей губе на Новой Земле и затем возвращаться к Кольскому заливу.

Через каждые тридцать миль делалась станция: выме-

тывался трал, измерялись скорости течений и температура воды на разных глубинах. Станция отнимала семь-восемь часов, и уж тут шторм не шторм, а пока вся программа не выполнена — никому ни минуты отдыха!

На «Андрее Первозванном» Мецайк ходил до тех пор, пока страшный ураган не выбросил судно на камни. Он успел к этому времени окончить курс мореходки и получить диплом штурмана малого плавания; после аварии судна Мецайк вместе с частью команды «Андрея Первозванного» перешел на корабль «Св. мученик Фока».

Это был барк с двухмачтовым парусным вооружением и слабой машиной. Он ходил на промысел зверя в Горле Белого моря, возил грузы в Вардё. Тот, кто захотел бы узнать более раннюю историю «Св. мученика Фоки», а заодно получить лишнее подтверждение того, что мир действительно тесен, должен был бы прочесть описание путешествия молодого Фритьофа Нансена на зверобойном судне «Викинг». В 1882 году, когда «Викинг» ходил на промысел, будущий «Св. мученик Фока» плавал под норвежским флагом, назывался «Гейзером» и уже в те годы не считался новым судном...

Во время одной из стоянок Мецайк познакомился с молодым офицером Георгием Яковлевичем Седовым. Тот после возвращения с Дальнего Востока занимался гидрографией. Седов расспрашивал Мецайка о льдах, ветрах, течениях, о работе научно-промысловой экспедиции. У Мецайка сложилось впечатление, что Седов не был удовлетворен своей службой и искал какого-то большого, интересного дела. Однако об экспедиции к Северному полюсу речь тогда не заходила. Седов понравился Мецайку. И если бы штурман оставался на «Св. мученике Фоке» до 1912 года, когда корабль был арендован для экспедиции Седова, он, возможно, тоже отправился бы к полюсу. Но к тому времени в жизни Мецайка произошли неожиданные перемены. Началось с того, что после удачной летней навигации он поехал в Петербург в училище, выпускающее штурманов дальнего плавания. Но пробыл там недолго: тяжелая болезнь вынудила бросить учение. Оставшись «на мели», Мецайк дал телеграмму в Архангельск. Ответ был неутешительным: «Фока» продан шкиперу Дикину, стоит пока на приколе, работы в порту нет.

Тогда Мецайк отправился на Черное море. Но год выдался тяжелым, холодным. Лед покрыл одесскую га-

вань, безработные моряки скитались по набережной, подрабатывая на очистке улиц от снега.

Сначала штурман был «на жестком декокте», потом на «декоkte с распятием», наконец, на «декоkte с распятием и крестом». Последнее выражение определяло ту степень нужды безработного моряка, когда у него не оставалось шести копеек на обед в портовой «обжорке».

В конце концов штурмана взяли матросом на пароход «Нептун». Судно ушло в дальний рейс, его трепали штормы у побережья Африки, оно побывало во многих европейских портах и после плавания в теплых водах оказалось на Балтике.

У кромки льдов, преградивших вход в Финский залив, скопилось десятка полтора пароходов, тщетно пытавшихся пробиться к Петербургу. Когда на выручку пришел ледокол «Ермак», суда, стараясь обогнать друг друга, стали тискиваться в пробитый им канал.

Тут-то бельгийский пароход «Клемантис» и ударил в борт «Нептуна». Тревожные, захлебывающиеся свистки понеслись над заливом. Мецайк на всю жизнь запомнил отвратительный тупой удар, потрясший судно, скрежет металла, белое, искаженное лицо старика, капитана «Клемантиса».

В пробоину можно было въехать на тройке. «Нептун» быстро погружался. Мецайк успел забрать из каюты лишь свою любимую картину ««Св. Фока» во льдах», подаренную художником Писаховым.

«Клемантис», сам сильно помятый, принял моряков тонувшего судна и поспешил прочь. Столб пара взвился над морем, воздушная волна ударила в уши: взорвались котлы, свечой взлетела труба.

О судебном процессе, начатом владельцем погибшего «Нептуна», Мецайк узнал уже в петербургском «морском доме» — на старом, запрыколенном паруснике, где бедовали безработные моряки. Снова «жесткий декокт», письма, на всякий случай разосланные знакомым во все концы империи, тоскливое безделье, и вдруг...

— Вам перевод, сто рублей.

Сто рублей?! Откуда? Из Красноярска, из Сибири, от ихтиолога Исаченко, которому он помогал на «Первозванном». И телеграмма:

«Если по-прежнему без дела, немедленно приезжайте

Красноярск для замещения должности капитана экспедиционного судна».

Красноярск был тогда типичным провинциальным городом. Обыватели называли его «Ветропыльском». Мецайк приехал ночью, и извозчик долго вез его по тряской булыжной мостовой.

Утром приезжий вышел на бульвар. С тополей летел пух. Мимо набережной несла воды могучая, сердитая река. За Енисеем поднимались горы, синие, лиловые, а у горизонта расплывчато-серые. Вершина, напоминавшая потухший вулкан, венчала цепи хребтов. Штурману сказали, что это Черная сопка.

Вечером Мецайк видел, как в горах горела тайга. Золотистые змейки ползли по хребтам. Пахло гарью. Сопка в зареве лесных пожаров казалась ожившим вулканом.

Неделю спустя штурман повел в низовья реки «Омуля» — двухмачтовое парусное судно с керосиновым мотором. Было в нем кое-что привычное, морское, например глубоко сидящий киль.

Когда «Омуль» скользил между острыми камнями бешеного Казачинского порога, штурману вспоминались буруны у скал Мурмана. Его потянуло к морю. Как это люди могут всю жизнь ходить по такой чертовой реке? Нет уж, увольте!

«Омуль» остановился в Енисейске, в городе, заложенном еще землепроходцами, потом внезапно разбогатевшем в годы «золотой лихорадки», понастроившем множество церквей, а затем как бы впавшем в спячку. Из Енисейска штурман отправил телеграммы друзьям в Петербург: его предупредили, что дальше до самого океана телеграфа нет и человек, идущий в низовья, надолго пропадает для цивилизованного мира.

Под Енисейском река разлилась вширь на два километра. Тайга вышла к самой воде. Изредка с «Омуля» видели лодки, идущие против течения за верховым, привязавшим бечеву к седлу. Деревеньки стояли высоко по крутоярам, и штурман с удивлением узнал, что в паводок вода едва не достает до них.

Потом «Омуль» шел лабиринтом островов, и один из них, мрачный «Дядя», разбросал вокруг себя подводные острые камни. У Мецайка была единственная карта Енисея, составленная полтора десятка лет назад гидрогра-

фической экспедицией. «Дядя» там не значился. Как же здешние капитаны умудряются водить суда?

В Осиновском пороге колоссальные массы воды втискивались в узкое горное ущелье. «Омуль» несло прямо на скалу, торчащую посредине реки. Скала была похожа на судно, форштевнем режущее волны; голая сосна, расщепленная молнией, напоминала сломанную корабельную мачту.

Лоцман Лазарев, известный всему Енисею, спокойно стоял у руля, направляя судно прямо на «Кораблик» — так называлась грозная скала. В последние секунды он чуть повернул штурвал — и сильная отбойная струя отбросила «Омуль», словно щепку. Мецайк, сняв морскую фуражку с золотым шитьем, вытер пот...

В деревне Сумароковой, где «Омуль» сделал остановку, штурмана окружили крестьяне: пусть начальник ответит, когда, наконец, им вышлют награду.

Какую награду?

Да за спасение судна, вот какую!

И штурман услышал, что весной этого года в ледоход унесло всю речную казенную флотилию, зимовавшую в надежной протоке. Пароход «Красноярск» затонул сразу же, другие смяло в лепешку, а «Минусинск» оказался крепче других, и его вместе с баржой несло шестьсот верст. Однако и «Минусинск» пошел на дно под Сумароковой. Но до баржи, уносимой на верную гибель, сумароковские мужики добрались по льдинам, кто-то догадался отдать якорь. Баржу развернуло течением, и, целехонькая, она приткнулась к отмели.

Так вот, полагалась бы награда за спасение казенного добра, может, начальник похлопочет?

— А где затонул «Минусинск»? — спросил Мецайк.

— А вот там! — показали ему.

Неужели даже мачты не видно? Мужики удивились: да ведь тут такая глубина, что собор утопи, и то креста на колокольне не увидишь...

Чем дальше уходил «Омуль» на север, тем шире и грознее становилась река. Началось царство белых ночей. Зори не гасли ни на час. В ветер на неоглядных плесах поднималась волна и маленький «Омуль» бросало сильнее, нежели «Фоку» в море.

После того как суденышко пересекло полярный круг,

к реке подступила тундра. На берегах дымили костры кочевников, идущих к северу вслед за стадами оленей.

Исаченко ожидал «Омуля» в Енисейском заливе. Остаток лета вели съемку берегов, делали промеры. Штурман удивлялся: в низовьях реки были места, не положенные на карту. Вот вам и XX век!

Мецайк приехал в Сибирь на одно лето. Но ему предложили остаться на Енисее, с тем чтобы после двух-трех экспедиционных навигаций командировать за казенный счет в высшее мореходное училище.

Два года он уходил на «Омule» в низовья вслед за льдами. Исаченко занимался ихтиологией, Мецайк вместе с геодезистом экспедиции Солдатовым — съемкой берегов и промерами глубин в Енисейском заливе.

Штурман узнал реку настолько, что, когда ему предложили перейти с «Омуля» капитаном на большой пароход «Туруханск», он согласился без колебаний.

«Туруханск» по весне доставлял рыбаков в дельту и залив, а перед ледоставом собирал их по промыслам и, обгоняя зиму, увозил в Красноярск. Кроме «Туруханска» в залив ходил пароход «Лена». Помощником капитана на нем был тот самый Саша Сущихин, с которым Костя Мецайк играл когда-то на окованном железом мамином сундуке. Сущихин приехал на Енисей с Мурмана, получив письмо друга детства.

Однажды во время трехдневного шторма у селения Воронцовского понадобилось с отстаивающейся на якорях «Лены» съездить к берегу. Сущихин, смелый моряк, сам сел за руль шлюпки. Внезапно волна перевернула шлюпку и бросила на камни. Погибло девять человек. Веселого Сашу Сущихина, мурманского помора, похоронили на енисейском берегу...

Летом 1913 года Мецайк получил распоряжение — выйти на «Туруханске» в низовья реки с двумя груженными лесом баржами. Он должен был встретить там судно «Коррект», на котором к устью Енисея через полярные моря направлялся сам Фриттьоф Нансен. С Мецайком поехал норвежец Христиансен, представитель Сибирского акционерного общества пароходства, промышленности и торговли.

Мецайк привел караван к условленному месту встречи. «Корректа» еще не было. Стали ждать. Ночью заметили в небе три ракеты: не норвежцы ли? «Туруханск»

отправился в разведку. Так и есть, за островом — «Коррект».

Нансен, высокий, еще не утративший статность, во фланелевой рубашке, вышел на палубу встречать капитана. С ним были директор общества Лид и енисейский городской голова Востротин. Посмеиваясь, перекладывая во рту старую трубку, Нансен заговорил по-норвежски. Христиансен обратился к Мецайку:

— Господин Нансен приветствует вас. Господин Нансен говорит: куда мы залезли и как нам отсюда выбраться? Есть ли этот остров действительно Насоновский остров, обозначенный на карте, или это что-либо другое? Господин Нансен говорит, что капитан «Корректа», к сожалению, незнаком с рекой и совершенно запутался.

Мецайк ответил, что охотно выведет «Коррект» на фарватер. Тогда капитан сердито буркнул, что этого мало и что русская команда должна помочь перегрузить с барж на «Коррект» сибирский лес. Мецайк отказался: его ждут рыбаки на тонях, он не может задерживаться. Вмешался Востротин:

— У вас должны быть люди для грузовых работ, я буду жаловаться министру!

Нансен по-норвежски обратился к Христиансену. Мецайк, который, как и многие мурманские моряки, немного знал норвежский, понял: Нансен спрашивал, почему русский капитан отказывается им помочь?

Волнуясь, Мецайк попробовал объяснить, что около тысячи рыбаков ждут его судна, но сбился, путая норвежские и русские слова. Нансен поинтересовался, где сибирский капитан учил его родной язык. Он обрадовался, узнав, что Мецайк бывал в Вардё и Тронхейме. Потом сказал:

— Капитан прав. Его нельзя задерживать, он нужен рыбакам. Спросите у рыбака, что такое потерянный час путины.

Вскоре к «Корректу» подошел «Омуль». Мецайк догадывался, что теперь уже не он водит это суденышко: на «Омуде» Нансен должен был подняться вверх по Енисею до Красноярска.

Два года спустя в книге Нансена капитан прочел подробное описание встречи у Насоновского острова. Нансен заметил даже, что на баржах находился полицейский чин в паре с толстым жандармом, и высказал предполо-

жение, что эти господа следили за тем, как бы на «Корреkte» не сбежал в Европу кто-нибудь из политических ссыльных.

«Коррект» не был единственным иностранным гостем на великой сибирской реке. Однажды Мецайк увидел возле бухты Иннокентьевской трехмачтовое морское судно. «Нимрод», — прочитал он. Так ведь это же знаменитый корабль Шекльтона, на котором тот недавно совершил плавание в Антарктику, едва не достигнув Южного полюса!

Суда сблизились. На борт «Туруханска» пожаловал рослый англичанин в пальто с капюшоном в сопровождении толстяка в морской форме.

— Вебстер, — отрекомендовался он. — Майор резерва армии его величества короля Великобритании, негoциант и владелец чайных плантаций на Цейлоне. А это капитан Рисс.

Отставной майор подтвердил, что «Нимрод» — тот самый. Он купил корабль исследователя Антарктики, нагрузил его рисом, чаем со своих плантаций, а также старыми ружьями швейцарского производства, бусами, зеркальцами, погремушками и другими товарами для диких русских народов...

— Разве команда моего судна похожа на дикарей? — перебил Мецайк.

— О-о! Но мне говорили...

Мецайк осмотрел «Нимрод»: на корме — ванна, буфет. Расторопный бой подкатил бар на колесиках, налил в стаканы виски с содовой. Тут же стоял старый красный автомобиль.

— Подарок здешнему генерал-губернатору, — с гордостью пояснил Вебстер. — Надеюсь на беспoшлинную торговлю.

...Как и было обусловлено, капитана Мецайка командировали на казенный счет в высшее морское училище. Уезжая, он думал, что навсегда прощается с Енисеем.

Но вот училище окончено, в кармане диплом, в порту корабли, готовые к отходу в Лондон, Александрию, Марсель. Наконец-то можно снова в море!

Мецайк ходил в порт, вздыхал, сердился на себя. А в один прекрасный день... купил билет до Красноярска!

Дело нашлось сразу. Мы уже знаем, как весной 1915 года Никифор Бегичев снял больных моряков с зимовавших тогда во льдах «Таймыра» и «Вайгача». Однако ледовая обстановка оставалась тяжелой. Не было уверенности, что корабли сумеют освободиться летом того же года. Решили срочно соорудить радиостанцию на острове Диксон, создать там вспомогательные склады топлива и продовольствия.

После торжественного молебствия караван капитана Мецайка, нагруженный разборными домами, мукой, углем, покинул Красноярск.

Начальником экспедиции был Кушаков, бывший помощник и заместитель Седова в экспедиции к Северному полюсу.

* * *

Рассказы Константина Александровича Мецайка я подробно записывал, каждый раз чем-то дополняя их, трижды: во время Пясинского похода в 1936 году, вскоре после войны и, наконец, не так давно, во время нашей последней встречи. Сначала меня интересовала канва событий, картинки ушедшего сибирского быта, разные речные истории. В последнюю нашу встречу я расспрашивал преимущественно о людях, с которыми судьба в разное время сводила Константина Александровича.

Никифора Бегичева он помнил с 1900 года, когда «Заря» стояла в Александровске-на-Мурмане, готовясь к выходу на поиски «Земли Санникова». Позднее они встретились на Енисее. Бегичев не раз плавал на судах, которые водил Мецайк. Отдавая должное широте натуры и смелости Бегичева, Константин Александрович говорил:

— Знаете, было в нем все же немало показного. Мог и прихвастнуть, мог пыль в глаза пустить. Бывало, едет в Красноярск — занимает сразу две-три каюты: знай, мол, наших! Угощает всех желающих, соберет слушателей и начинает о своих приключениях... И все же при всех его недостатках это был самородок! В нем, понимаете, сила какая-то внутренняя чувствовалась... Помните рассуждения Нансена о Сибири, о том, что ей нужен свой Фенимор Купер? Так вот, один роман наш сибирский Купер вполне мог бы написать, имея прототипом Бегичева. От-

личная бы получилась вещь, тоже по-своему «Последний из могикан»...

Мы много говорили с Константином Александровичем о Нансене, о тех, с кем норвежец путешествовал по Енисею. Константин Александрович хорошо знал и Лида, и Востротина. О Лиде он отзывался коротко: «делец-пройдоха». У Востротина же, по его мнению, была черта, роднившая его с Бегичевым: оба «болели Севером».

— Да, конечно, Востротин был золотопромышленником, но знаете ли вы, что для свадебного путешествия он выбрал не Италию, не какой-нибудь там Лазурный берег, а Карское море? Мечта у него была: связать Енисей с Европой. Тут уж денег не жалел, шел на риск, пароходы строил. А читали вы его статью о рейсе на «Корректе»? Полюбопытствуйте, она того стоит. Напечатал раньше, чем у нас узнали о книге Нансена.

Я никогда прежде не слышал об этой статье. Статья была большая, написанная с полным знанием дела, содержала обзор морских плаваний к устью Енисея и была иллюстрирована фотографиями, значительной части которых нет в книге Нансена.

В пользу Востротина, по мнению Константина Александровича, свидетельствовало и то, что Востротин, не сочувствуя плану Седова, все же был одним из тех, кто помогал полярному исследователю.

О Седове Константин Александрович говорил весьма неохотно. Он считал, что тут у него «нет права на воспоминания». Ведь он знал и помнил не того Седова, который бредил полюсом. Седов остался в его памяти симпатичным гидрографом, знающим человеком, приятным собеседником, но и только. А вот «Фоку» Константин Александрович знал хорошо: ему приходилось самому составлять ремонтные ведомости, и он лучше многих других представлял, какое это было ветхое судно:

— Поверите ли, некоторые металлические штыри можно было из корпуса голыми руками выдергивать: так дерево сгнило...

И еще лучше, чем «Фоку», узнал Константин Александрович во время плавания в 1915 году на Диксон Павла Григорьевича Кушакова, числившегося помощником Седова.

Константин Александрович всегда удивлял меня редкой выдержкой. Я видел его на мостике в очень трудные

минуты Пясинского похода: спокоен, сосредоточен, ровный голос. Но о Кушакове он неизменно отзывался резко, с раздражением:

— Службист, ветеринаришко! И как его Седов сразу не раскусил, непостижимо!

Оказывается, всю дорогу от Красноярска до Диксона Кушаков в кают-компании поносил трагически погибшего полярника, обвиняя его во всех смертных грехах. Послушать Кушакова — и выходило, что только он, Кушаков, сумел поддерживать на судне порядок, что только его, Кушакова, исключительные твердость и распорядительность спасли от гибели «Фоку».

Известно, что участник экспедиции к полюсу художник Пинегин в своей книге «Георгий Седов» ярко обрисовал достаточно неприглядную личность Кушакова. Но книга Пинегина — художественное произведение, где автор был вправе заострять образы, привносить домыслы. Слушая Константина Александровича, я понимал плохо сдерживаемую ярость Пинегина. Константин Александрович вспомнил, кстати, что Кушаков говорил ему, будто собирается издать свои воспоминания.

— И ведь, наверное, тиснул где-нибудь! Я все собирался поискать по старым журналам, да руки не доходят. Займитесь-ка вы этим делом, было бы крайне любопытно прочесть.

Воспоминания Кушакова нашлись в дореволюционном журнале «Записки по гидрографии». Там же была воспроизведена и фотография — группа членов экспедиции. Сзади — матросы в меховой одежде, а в центре, оттеснив Седова, — сам Павел Григорьевич Кушаков, бывший ветеринар коннополицейской стражи, уволенный со службы за ложный донос и все же сумевший получить рекомендации для зачисления на «Фоку». Фотография должна была засвидетельствовать потомству, что Павел Григорьевич и есть в экспедиции самый главный: золотая цепь по кителю, молодецкие усы, гордо закинутая голова, взор, устремленный не ближе чем на полюс...

А вот извлечения из подлинного его дневника:

В Архангельске: «Я рвался поскорее ознакомиться с нашим «Св. Фокой»: ведь это не только первое судно полярного типа, какое, наконец, я увижу, но и корабль, на котором мне предстоит совершить далекий, долгий путь — к славе или гибели, один бог знает...»

И дальше: «Осмотрев судно, я выбрал для себя одну из свободных кают, приказал очистить ее, вымыть, запечатать и ключ передать мне».

Кушаков признается, что никогда прежде не бывал в море, при первой же качке в душу его заполз «холодный змей — страх» и он свалился в морской болезни.

Но буквально через несколько дней Кушаков уже выносит приговоры всем и вся, в первую очередь Седову. Дневник пестрит записями:

«Седов бегаёт, суетится»; «Седов горячился, ругался, но мы вскоре убедили его в том, что это классическое средство для снятия с мели в сущности мало пригодное»; «Седов... на все идет, очертя голову»; «Теперь все яснее и яснее вырисовывается грубая ошибка Седова...»; «Все время приходилось работать самому и за всем следить, так как Седову подчас одному было не справиться».

Кушаков чаще и чаще живописует себя то на капитанском мостике, то на носу судна; и даже на охоте белые медведи валяются преимущественно под его пулями. Он уже готовится в случае чего занять место Седова: «Мы сами основательно изучаем снасти и управление ими, чтобы в критическую минуту спасти судно и свое положение».

Полицейский ветеринар пытается наводить порядок среди моряков: «Мне стоило больших усилий не уговорами, а угрозами физического воздействия сдерживать команду...» В команде, по его мнению, «почти все мальчишки, сорванцы и разбойники, это та характеристика, которую дал бы каждый, кто проплавал бы с ними хоть одни сутки»; «Про матросов необходимо заметить, что это какая-то бродячая банда...»

Это самодовольное ничтожество считалось заместителем человека, дерзнувшего идти к полюсу!

Читая дневник Кушакова, я думал еще и о том, почему все это было напечатано в солидном журнале русских гидрографов. Неужели потому, что всю ответственность за печальный исход экспедиции было решено свалить на человека, который уже не мог ни бороться, ни возражать, ни защищать себя?

А бездарность, печатно обелив и восславив себя, вышла в люди. Ветеринар с нечистым прошлым прослыл крупным путешественником и знатоком Арктики. Пото-

му-то в 1915 году именно ему поручили руководство экспедицией и строительством радиостанции на Диксоне.

В 1936 году я еще видел на Диксоне старую «Историческую тетрадь отзывов и пожеланий». Ее открывала запись, сделанная в августе 1912 года командой парохода «Лена», отмечалось, что при осмотре острова никаких пакетов с документами полярных экспедиций обнаружить не удалось.

Потом шли росписи участников экспедиции на «Корректе», и на одной из первых страниц было крупно выведено:

«1915 г., 21 июля.

Основатель поселка, начальник экспедиции для оказания помощи Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана коллежский асессор П. Кушаков».

Через страницу я увидел:

«Начальник Гидрометеорологической радиостанции коллежский асессор П. Кушаков».

В тетради была и роспись Константина Александровича. Просто «К. Мецайк».

* * *

Экспедиция достигла Диксона на двенадцатый день плавания. В рекордно короткий срок караван Мецайка был у цели.

Льды теснились вокруг острова. Белые медведи были его единственными обитателями. В обледелой яме лежал уголь, заготовленный когда-то на случай возвращения «Зари».

Пока разгружали бревна для радиомачты и разборные дома, заготовленные заранее из лучшего леса, Мецайк внимательно осмотрел остров. У него теплилась надежда: вдруг обнаружатся следы без вести пропавшей «Св. Анны» или экспедиции Русанова на «Геркулесе»?

Но следов не было.

В августе, когда строительные работы еще продолжались, в море заметили «Эклипс». Мецайк повел «Туруханск» навстречу. На мостике стоял Отто Свердруп.

Бывший капитан «Фрама» не отличался разговорчивостью. Он молча обошел остров — должно быть, с той же целью, с какой несколько дней назад ходил по каменистой тундре Мецайк. Свердруп одобрил выбор места

для радиостанции. Впрочем, заметил он, едва ли будет нужда в радиосвязи с «Таймыром» и «Вайгачем»:

— Не сегодня-завтра льды выпустят их.

И верно, в конце августа оба корабля показались на рейде Диксона. В «Исторической тетради отзывов и пожеланий» появились записи флигель-адъютанта, капитана 2-го ранга Вилькицкого, доктора Старокадомского и других участников экспедиции, а также туруханского пристава, неизвестно зачем пожаловавшего на остров.

Были салюты и празднества по поводу благополучного избавления от ледового плена. Кушаков тотчас распорядился прекратить дальнейшие строительные работы и запаковать в ящики наиболее ценное оборудование радиостанции, только что наладившей прямую связь с Петроградом.

Но поселок на Диксоне не был заброшен. Академия наук взяла его на свое попечение, чтобы открыть первую на Северном морском пути метеорadiостанцию.

За участие в строительстве на Диксоне капитана Мецайка хотели представить к ордену Станислава. Но губернатор написал возражение: не благонадежен, замечен в симпатиях к политическим ссыльным.

Мецайк знал многих невольных обитателей берегов Енисея и помогал кое-кому из них. Знал он и то, что в команде «Туруханска» есть люди, которые на пристанях тайком передают ссыльным брошюры и письма. И эти люди догадывались, что капитан и видит, и не видит, как они встречаются с «преступниками».

Однажды на стоянке в селе Монастырском к Мецайку подошел невысокий человек с курчавыми черными волосами и, остро поглядывая сквозь стекла пенсне, протянул руку:

— Здравствуйте, господин капитан. Свердлов, Яков Михайлович. Слышал о вас много хорошего.

Говорил Свердлов весело, уверенно, будто хозяином тут был не полицейский пристав, а он, ссыльный большевик. Это было в 1916 году.

А в конце 1917 года Мецайк узнал из газет, что Яков Михайлович Свердлов избран Председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Еще год спустя капитан оказался в революционном Петрограде. Он приехал... за миллионом!

Именно такую сумму — миллион рублей, и ни копейки меньше! — наказали ему просить у Советской власти

водники национализированного пароходства. Деньги нужны были на ремонт судов и на починку разрушенной ледоходом пристани в Красноярске. В случае, если бывшее министерство путей сообщения денег не даст, Мецайк должен был рассказать о нуждах енисейцев первому Всероссийскому съезду работников водного транспорта, который как раз собирался в Петрограде. Ну, а если и там не выйдет — тогда к Свердлову, он знает, что такое пароходство на Енисее. Таков был наказ енисейцев своему делегату.

Капитан попал в неудачное время: правительственные учреждения переезжали в Москву. Вскоре охрана в новых советских учреждениях стала узнавать чудака из Сибири, разыскивавшего, кто бы дал ему миллион.

Потеряв безрезультатно несколько дней, Мецайк пошел в Смольный. Ему сказали, что нарком путей сообщения Марк Тимофеевич Елизаров еще не уехал в Москву.

И Мецайк получил резолюцию: «выдать».

Он вернулся домой на Енисей, а вскоре начались тревожные времена. Когда власть в Сибири захватил Колчак, капитан познакомился с тюремной камерой.

Продержали его недолго, был он к тому времени человеком на Енисее заметным и нужным. Колчак распорядился гидрографические работы не свертывать, и Мецайка определили в экспедицию для исследований Енисейского залива.

К нему пришел невысокий человек в потертом пальто, с нервным худым лицом и спросил, не может ли он устроиться гидрографом.

— А вы знакомы с подобной работой? — осведомился Мецайк.

— Я был штурманом на шхуне «Св. Анна» у лейтенанта Брусилова, — ответил тот.

— Так позвольте, уж не Альбанов ли вы?

— Я вижу, вам известна моя история...

Да какой же моряк не знал этой истории! «Св. Анна» лейтенанта Брусилова, как и «Геркулес» геолога Русанова, вышла в плавание летом особенно тяжелого в ледовом отношении 1912 года. После двух зимовок во льдах штурман Альбанов, не ладивший с Брусиловым, попросил разрешения покинуть «Св. Анну». Брусилов не возражал. С Альбановым пошли десять человек. Вынесли невероятно тяжелый путь двое — Альбанов и матрос Кон-

рад. Их подобрал на Земле Франца-Иосифа «Св. Фока», возвращавшийся после гибели Седова. Что случилось с Брусиловым и теми, кто не покинул корабль, едва ли станет известно когда-либо: «Св. Анна» бесследно исчезла во льдах.

Мецайк взял Альбанова помощником на пароход «Север». Бывший штурман «Св. Анны» знал Енисей и залил: он плавал здесь на пароходе «Обь» в 1905 и 1906 годах. И какое совпадение: как и Мецайк, Альбанов приехал на сибирскую реку с дипломом моряка! А после «Св. Анны»? После был ледорез «Канада». Потом вот снова потянуло на Енисей...

Мецайк присматривался к Альбанову: добродушный, покладистый, но с поразительно неустойчивым настроением. Никогда нельзя было сказать, что послужит причиной очередной вспышки: чье-либо неосторожное слово, даже взгляд приводили его в исступление.

Погиб Альбанов в 1919 году, возвращаясь из командировки в Омск. Говорили, что он умер от сыпного тифа. Но Мецайк слышал другое: поезд, в котором ехал Альбанов, был разметан во время взрыва колчаковского эшелона с боеприпасами на станции Ачинск.

В январе 1920 года красные конники освободили Красноярск; колчаковцы бежали, бросив обозы. В феврале Мецайка вызвали в Совет. Работник Совета сказал, что давно знает его: ведь это он, капитан, по ходатайству колонии ссыльных принял на работу в затон токарем бывшего члена Государственной думы большевика Григория Ивановича Петровского? Мецайк подтвердил и добавил, что Петровский — токарь просто замечательный, к нему со всего затона несли самую сложную работу.

Рассказывая мне об этом, Константин Александрович взял со стола изящно выточенное пресс-папье.

— Да вот, посмотрите сами. Его работа. Художник!

Пресс-папье Григорий Иванович выточил в подарок капитану после одного откровенного мужского разговора. Разговор, по словам Константина Александровича, был такой:

— Вы, пожалуйста, в затоне агитацию особенно не разводите. Там, знаете, разные люди... Будьте поаккуратнее.

— Знаю, знаю,— понимающе усмехнулся Петровский.— Спасибо за предупреждение. Буду агитировать в других местах...

В Совете, куда вызвали Мецайка, мандат на его имя был заготовлен заранее. Всем организациям предписывалось оказывать тов. Мецайку К. А. содействие в организации нормальной работы Еннаципара. Мудреное это слово расшифровывалось как Енисейское национализированное пароходство.

Вскоре капитан получил важное задание. Ему поручалась проводка каравана речных судов в низовье реки к Усть-Енисейскому порту. Там они должны были встретиться с морским отрядом Первой Карской экспедиции.

Этой экспедицией по существу началось освоение большевиками Северного морского пути как транспортной магистрали.

Изношенные, малопригодные для ледового плавания суда шли за ледоколами той дорогой, по которой семью годами раньше Нансен провел «Коррект». На некоторых пароходах не было электрического освещения и в каютах чадили лампы. Уголь для топок водолазы достали с судов, затопленных в годы войны.

И такие же развалины двигались по Оби и Енисею навстречу морской флотилии. Под командованием Мецайка были пароходы «Орел» и «Ангара», которые тянули на буксире пять барж с пенькой, коноплей, льном, конским волосом, пушниной для продажи за границу, а главное — с сибирским хлебом для голодающих.

Морской и речной отряды обменялись грузами в устьях рек. Значение этих операций в те трудные годы было огромным. За подготовкой задуманных уже гораздо шире карских операций 1921 года внимательно следил Ленин.

Чтобы доставлять все больше сибирских грузов для карских морских караванов, нужно было срочно пополнить флот Енисея. И Мецайк вспомнил, что он все-таки дипломированный морской штурман. Среди речных судов, стоявших на приколе в Архангельске, выбрал два парохода покрепче и погнал их морем «к себе» на Енисей.

А затем пришла очередь «диких рек».

Нижняя Тунгуска, приток Енисея, длиннее Днепра, Камы, Дона. Во всей Западной Европе только Дунай может соперничать длиной с двумя другими, более короткими енисейскими притоками — Ангарой и Подкаменной Тунгуской.

Но ошибается тот, кто подумает, что даже сегодня плавать по этим рекам легко. А в те годы обе Тунгуски,

неосвоенные, изобилующие порогами, водники называли не иначе как «дикими», «бешеными» реками.

Уже возле самого устья Нижней Тунгуски судно встречало печально знаменитую «корчагу». С глухим ворчанием крутилась тут гигантская воронка, засасывавшая большие рыбацкие лодки и потом выбрасывавшая щепки и трупы. А за «корчагой» бесчисленные шиверы, перека-ты, мели и, наконец, Большой порог, где вода мчится с неистовой скоростью мимо бурого каменного «сторожа», перекачивает волны через скользкую, словно отполиро-ванную, «плиту» и другие камни.

Вот этим-то «диким рекам» и отдал капитан годы жизни. Ходил на катерах, разведывал опасные места, об-ставлял вехами. Потом вел первый небольшой пароход. Затем брался провести через пороги караван с баржами. И реки переставали быть дикими.

Настал черед Пясины, пересекающей Таймыр восточ-нее Енисея. Из летописи было известно, что до ее устья три века назад доходил на парусном коче двинянин Кон-драшка Курочкин. В прошлом веке Миддендорф обследо-вал ее лишь возле истока. Мы помним: в первые годы Советской власти неутомимый Николай Николаевич Ур-ванцев спустился с Никифором Алексеевичем Бегичевым по Пясине на лодках. Но его экспедиция сделала лишь разведочные промеры постоянно меняющегося фарва-тера.

И вот о Пясине заговорили и в Сибири, и в Москве. На Таймыре возникла сложная транспортная проблема. Быстро решать ее можно было только с помощью безот-лагательного освоения Пясины.

В начале 30-х годов началась разработка открытых Урванцевым богатейших норильских полиметаллических руд. Всего сотня километров отделяла месторождение от Енисея. Но преодолеть сто километров в тундре труднее, чем тысячу в степи. Железной дороги от порта Дудинка к будущему Норильску еще не было. Чтобы проложить ее на вечной мерзлоте, требовалось время, и не малое. А пока что грузы тянули через тундру на нартах.

Налегке олени без труда преодолевают огромные про-странства. Но в битюги скороходы тундры не годятся. Не привычные к тяжелой работе, они гибли сотнями.

Тогда-то и решили организовать доставку грузов по рекам и морю. Сотня километров на прямую через тунд-

ру растягивалась в новом варианте на три с лишним тысячи километров обходного водного пути: Красноярск, вниз по Енисею до Диксона, через Карское море к устью Пясины, а оттуда вверх по Пясине к ее истоку, неподалеку от которого строился Норильск.

Именно на таком маршруте я и познакомился с капитаном Мецайком. Но это было уже в 1936 году. А тремя годами раньше в теоретически намеченной транспортной цепочке, протянутой через Таймыр, оставалось под большим вопросом ее последнее звено: Пяси́на. Никто не мог сказать, пройдут ли груженные пароходы там, где десяток лет назад Бегичев провел легкие лодки Урванцева.

Проще всего было бы предварительно разведать реку. Но на это ушла бы вся навигация, которая на реках Арктики длится всего месяц-полтора. Решили, что называется, вести разведку боем: сразу отправить на Пяси́ну груженный караван.

Этот караван и повел капитан Мецайк.

Речной пароход «Лесник» (я хорошо его знаю, он многим длиннее всем известного пригородного катера типа «Москвич») вышел в Карское море с двумя железными баржами. Выждав погоду и держась ближе к берегу, он благополучно проскользнул к устью Пясины.

Дальше начиналась неизвестность. У Мецайка была лишь маршрутная карта реки, набросанная Урванцевым. Пошли на ощупь. С катера, высланного вперед «Лесника», непрерывно делали промеры.

Медленно поднимались разведчики вверх по реке. Ни кустика, ни деревца — одна зеленовато-бурая тундра, то ровная, то всхолмленная. Стада диких оленей переплывали реку, и над водой колыхались рога. Линяющие гуси паслись на отмелях. Напуганные пароходом, они долго и тяжело бежали вдоль берега. Полярные лисицы — песцы, летом похожие на облезших остромордых собак, бесстрашно шныряли вокруг людей, высаживавшихся на берег для охоты.

Пяси́на оказалась рекой капризной и довольно мелководной. Возле того места, где ее пересекал старинный олений путь на Хатангу, «Лесник» простоял почти трое суток: не удавалось найти фарватер. А вода тем временем быстро пошла на убыль, ударил первый заморозок...

Когда «Лесник», разведав реку и освободившись от но-

рильских грузов, налегке спускался к морю, берега уже выбелил снег.

Судовой радист слышал тревожную переключку морских кораблей, торопившихся покинуть порт Диксона: прогноз сулил раннее наступление зимы.

Морозы захватили «Лесника» в устье Пясины. Молодой лед быстро смерзался на мелководном баре, затруднявшем выход в море. Ста двадцати восьми человекам грозила зимовка вдали от населенных пунктов.

Двое суток не уходил капитан с мостика, тщетно пытаясь пробиться. Потом распорядился радировать: «Всем, всем, всем! Затерты льдами в устье Пясины...»

Поздней ночью из Кремля позвонили в Наркомвод. Звонил Валериан Владимирович Куйбышев:

— Какие меры приняты для помощи вашей экспедиции на Таймыре?

В Наркомводе ответили: у них об экспедиции три дня нет никаких сведений. Оказывается, радиограмму приняла только одна радиостанция в Москве.

Рация на «Леснике» была неважной, радист не поймал ответа на призыв о помощи. Но глубокой ночью капитан заметил в море огни. То шел на помощь ледокольный пароход «Георгий Седов».

...Он прожил долгую и трудную жизнь, капитан-наставник Константин Александрович Мецайк, водивший караваны судов по «диким» рекам с тем же спокойным мужеством и бесстрашием, с какими путешественники вели экспедиционные караваны через песчаные моря пустынь.

Говорят, что если человек, умудренный опытом, сумеет передать его трем ученикам, то он уже не напрасно прожил жизнь. Ученики капитана Мецайка — все молодое поколение енисейцев.

Молодые капитаны и штурманы поднимаются на мостик с верным другом и знающим советчиком. Это — книга, в ней больше пятисот страниц, и в ней весь нижний плес великой реки, каждая мель, каждый слив течения, каждый подводный камень, каждый перекат, каждый береговой мыс.

На серой служебной обложке этой книги написано «Юция реки Енисей от Енисейска до Дудинки. Составил капитан-наставник К. А. Мецайк».



КРАСНАЯ ПЛАНЕТА

На исходе ночи над Землей пронеслось, оставляя зеленоватый след, неведомое небесное тело.

Астроном Оджилви, раньше других оказавшийся там, где это произошло, увидел, что в песок Хорзеллского луга врезалась не бесформенная глыба метеорита, а громадный обгорелый цилиндр, покрытый темным нагаром. Астроном вспомнил о странных вспышках раскаленных газов на Марсе, которые были незадолго до этого отмечены несколькими обсерваториями.

Вскоре на глазах у Оджилви и собравшихся зевак цилиндр стал медленно развинчиваться. В тот час, когда миллионы англичан читали в вечерних газетах сообщение о необычайном событии в Уокинге, крышка, отвинтившись, упала на песок и на край цилиндра выполз марсианин.

Что произошло потом, знает каждый читатель Герберта Уэллса.

Марсианин из «Борьбы миров» был, может быть, сотым или двухсотым существом с соседней планеты, которые время от времени попадают на нашу Землю с помощью фантазии романистов. Тот же корабль воображения давно уже служит для более или менее успешных полетов землян на Марс.

Последние десятилетия некоторые «слышали» таинственные радиосигналы с Марса; были попытки отождествить памятные события 1908 года в тунгусской тайге не с падением метеорита, а с катастрофой неведомого межпланетного корабля, скорее всего, марсианского; в циклопических сооружениях древности искали сходства с ракетодомами, а в некоторых странных рисунках давно исчезнувших народов видели изображения пришельцев с других планет, в доисторические времена посещавших Землю.

Все это было как бы выражением общественного предчувствия приближающихся времен реального рывка человека в космос, подготовленного мощным взлетом научной и технической мысли.

Когда мы говорим о путешествиях за пределами нашей планеты, то чаще всего представляем: сначала — Луна, потом — Марс. Непременно Марс. Таинственный Марс — планета загадок. Планета, которая особенно занимает умы потому, что в ней больше всего, в сравнении с другими планетами нашей солнечной системы, черт сходства с Землей.

Пусть Марс почти вдвое меньше Земли по диаметру, и его масса в несколько раз меньше земной. Марсианская орбита дальше от Солнца, нежели земная, и красная планета получает теперь в два с четвертью раза меньше солнечного света и тепла, чем Земля. Но разве около трех миллиардов лет назад Солнце не согревало Марс так же, как сегодня греет оно нашу планету?

На вращающемся вокруг своей оси Марсе, как и у нас, чередуются дни и ночи; марсианские сутки лишь на тридцать семь минут длиннее земных. Марсианский год почти вдвое продолжительнее нашего, но и там за весной приходит лето, его сменяет осень, потом наступает зима. У Марса есть атмосфера. И наконец, что особенно важно, на Марсе возможна жизнь, пусть не похожая на нашу, но все-таки жизнь, жизнь!

Мы скоро узнаем, какова она, каковы ее формы. Это произойдет раньше, чем окончится наше бурное столетие.

Среди нас живут еще ничем не знаменитые люди, которым суждено первыми увидеть в чужом небе мерцание далекой голубой Земли. Можно говорить «живут» вместо «вероятно, живут», как мы говорили всего десять лет назад, потому что проекты межпланетных кораблей перешли из альбомов иллюстраторов фантастических романов на чертежные доски конструкторских бюро. И когда Земля услышит радиосигналы с Марса о благополучной посадке первых своих посланцев, мир снова вспомнит тех, кто, порой заблуждаясь, оступаясь, упорно искал и прокладывал пути к познанию далекой планеты.

* * *

Гавриил Андрианович Тихов осторожно, стараясь не стукнуть, прикрыл дверь квартиры и пошел по длинному гулкому коридору в среднюю башню Пулковской обсерватории. Было тихо и прохладно. Деревья старинного парка шелестели за окнами.

В башне было темно. Некоторое время астроном давал полный отдых глазам и старался не думать ни о чем неприятном: волнение мешает наблюдать небо. Потом подошел к телескопу, навел его на Марс, устроился поудобнее и стал смотреть в большую трубу.

Он увидел то, что видел уже много ночей подряд: кружок планеты, названной именем римского бога войны за свой цвет пожаров и крови. Оранжево-красный диск едва заметно вздрагивал; часовой механизм плавно вел трубу телескопа следом за планетой.

Майское небо было чистым, воздух — прозрачным. Нечего и ждать лучшей ночи для продолжения опытов со светофильтрами. Эти цветные стекла, пропускающие одни лучи и поглощающие другие, до сих пор, право, еще недостаточно оценены в астрономии. Они помогают наблюдателю, резче, контрастнее выделяя все, что имеет различные оттенки, с трудом улавливаемые человеческим глазом.

Тихов вставил красный светофильтр.

Тотчас на кружке планеты отчетливо обозначились ее «материки». Они занимали приблизительно пять шестых поверхности Марса. Светофильтр подчеркнул, усилил

ржаво-красный цвет пустынь. Рядом с ними резко выделились темные пятна марсианских «морей».

Сегодня на соседней планете все спокойно. А несколько ночей назад часть материка помутнела, расплылась и легкая желтоватая вуаль поползла с нее на соседнее море: над марсианскими пустынями время от времени проносились свирепые пыльные бури.

Натренированный глаз астронома постепенно стал различать знаменитые марсианские каналы — темные линии, пересекающие почти всю планету. Вот в этой самой Пулковской обсерватории ему, тогда еще молодому астроному, во время сблизившего Марс и Землю «великого противостояния» 1909 года первому удалось многократно сфотографировать их сеть в телескоп через светофильтры. Каналы тянутся через материки к темным пятнам марсианских морей — Эритрейского, Киммерийского, Тирренского, моря Сирен, моря Времени...

Тихов заменил красный светофильтр зеленым.

Сколько перемен! Исчезло резкое различие между материками и морями. Диск планеты стал одинаково тускловатым. Зато как великолепно выделилась полярная шапка в южном марсианском полушарии!

Сколько лет известны астрономам эти шапки у полюсов Марса? Наверно, лет двести. И двести лет о них спорят. Это замерзшая углекислота, говорили одни. Нет, возражали им, шапки состоят из соли. Но, спрашивали третьи, почему же тогда ваши соляные шапки растут, расширяются марсианской зимой и сокращаются, почти исчезают марсианским летом? Вероятнее всего, это снег.

В том же счастливом 1909 году ему удалось опыты, показывающие, из чего именно могут состоять шапки Марса. Помог цвет.

Белые шапки, оказывается, имеют зеленоватый оттенок, и зеленый светофильтр подчеркнул это. Но ведь снег, обычный земной снег, не бывает зеленоватым. Зато лед... Да, именно лед и оледеневший снег при разглядывании и фотографировании через тот же зеленый светофильтр оказались удивительно похожими на вещество марсианских шапок.

Дав короткий отдых глазам, Тихов снова прильнул к телескопу. Сейчас, когда у берегов Балтики весна, в южном полушарии Марса середина лютой зимы. Там ледяная шапка расползлась далеко от полюса. В северном по-

лушарии, где теперь середина лета, от шапки, напротив, осталось лишь бледно-зеленое пятнышко с темными закраинами. Шапка, видимо, почти вся растаяла. Таяла она очень быстро: должно быть, слой ее льда очень тонок. А закраины — это, вероятно, потемневшая от влаги почва.

Синий светофильтр, которым Тихов сменил зеленый, размыл резкие очертания на поверхности планеты. Но зато возле кромки морей выступили узкие полосы, почти такие же светлые, как полярные шапки. Они двигались, меняли очертания. Облака? Легкие марсианские облака, пронсящие в разреженной атмосфере...

Остаток ночи астроном, по обыкновению, посвятил марсианским морям. Они занимали его больше всего. Да, науке ясно, что с настоящими морями они имеют мало общего. Это моря без воды. Или ее там очень мало: Марс вообще беден влагой.

Но если марсианские моря вовсе не моря, то что же они такое? Швед Аррениус говорит: глинистая жижа, вязкие болота, набухающие весной. Однако с морями красноватой планеты происходят весьма странные вещи. Разве глинистая жижа может менять цвет в зависимости от времен года? А моря Марса не только темнеют с наступлением весны и лета, но и приобретают голубовато-зеленоватый оттенок.

Зеленый цвет — цвет жизни. С Марса наши земные леса тоже казались бы пятнами, меняющими окраску, зеленеющими к лету...

Тихов взглянул на светящиеся часовые стрелки: пора уходить. Глаза утомлены, точность наблюдения снижается.

Астроном вышел в парк. Слышны далекие гудки. Это в Петрограде. Нет еще четырех часов, а уже совсем светло: начинаются белые ночи. Недурно бы теперь позавтракать. Хлеб он доел с вечера, но холодной пшенной каши как будто немного осталось. Говорят, скоро должны прибавить паек.

Астроном неторопливо побрел домой. Хорошо еще, что кончились бои. Сколько тревожных дней пережили обитатели Пулкова, когда на Петроград шел Юденич! Пришлось вывинчивать и прятать объективы телескопов. На главной башне до сих пор следы осколков: во дворе обсерватории стояли красные, противник бил по ним из пушек.

Да, трудные времена. И огороды астрономам пришлось сажать, и пешком ходить за хлебом по глубокому снегу в Петроград. Изголодались, обносились товарищи звездочеты. Но сделали-то за этот тревожный, трудный год, право, не меньше, чем за любой дореволюционный.

* * *

Прошло четверть века.

Член-корреспондент Академии наук СССР Гавриил Адрианович Тихов готовился к публичной лекции о Марсе.

Он жил теперь в городе Алма-Ате. Приехав в начале войны в Среднюю Азию, ученый полюбил ее небо и остался в Казахстане. Здесь не надо было охотиться за Марсом, вылавливать его сквозь «окна» в облаках и просветления в тумане, как это частенько приходилось делать в Пулковке: в ясном небе над Алма-Атой звезды светят ярко и щедро.

Итак, Тихов готовился к лекции. Теперь наука знала о Марсе гораздо больше, чем четверть века назад. В руках астрономов были уже многие тысячи снимков красноватой планеты. Правда, ее изображение на фотопластинке получалось не больше двух-трех миллиметров, и рассматривали его потом в микроскоп, но все же эти снимки помогли уточнить карту Марса.

В марсианской атмосфере были обнаружены следы паров воды, углекислый газ и, возможно, кислород, но лишь в тысячных долях того количества, которое содержится в земной атмосфере.

Марсу измерили температуру. Чувствительные термoelementы показали, что на его полярных шапках морозы достигают семидесяти — восьмидесяти градусов. Почти так же холодно зимой на большей части планеты. Зато в летний полдень лучи солнца, легко проходя через разреженную атмосферу, нагревают марсианские моря до 10, 15, 30 градусов тепла.

Наука лучше стала знать Марс. Но над многими его загадками еще предстояло думать и думать.

Тихов и другие астрономы не раз наблюдали удивительную картину шествия марсианской весны. Как только начинала таять полярная шапка, каналы вблизи нее, до той поры едва заметные, темнели, вырисовывались все отчетливее и отчетливее, как на фотографической

пластинке, опущенной в проявитель. Постепенно это потемнение захватывало половину полушария, распространяясь до экватора, а потом и за его линию.

Что же происходит весной на далекой планете? Уж не марсиане ли, неведомые нам разумные существа, построили гигантские каналы для орошения своих полей водой тающих полярных шапок?

Астронома Лоуэлла, утверждавшего, что дело обстоит именно так, прозвали даже «отцом марсиан». Однако сам «отец марсиан» не мог представить достаточных научных доказательств существования своих «детей».

Но каково бы ни было происхождение каналов, их потемнение, а также летнее потемнение морей являлись доказанным фактом, требующим объяснения.

И Тихов предложил объяснение: вдоль каналов и на морях летом появляется растительность. В самом деле, что может помешать ее развитию на Марсе? Холод? Но ведь в Верхоянске, на земном «полюсе холода», где растут не только мхи и травы, но даже леса, средняя годовая температура ниже, чем на некоторых марсианских морях.

Правда, у тех, кто не согласен с ним и утверждает, что на Марсе нет растительности, похожей на земную, имеются два весьма веских довода.

Для того чтобы наши растения могли жить, их зеленое вещество — хлорофилл — должно поглощать часть солнечных лучей. Но сколько ни изучали астрономы с помощью спектроскопа марсианские моря, никаких признаков так называемой главной полосы поглощения хлорофилла не нашли.

И второе «против». Земные растения рассеивают и отражают невидимые инфракрасные лучи. А моря Марса этим свойством не обладают.

Значит, утверждали противники Тихова, их зеленоватый или голубовато-лиловый цвет объясняется не растительностью, а какими-то другими причинами.

На лекции Тихов привел все «за» и «против» своей гипотезы. Потом ему задали много вопросов. И случилось так, что в одном из этих вопросов, заданном агрометеорологом Кутыревой, был скрыт ключ к решению загадки, которая занимала астронома больше четверти века.

А вопрос был такой:

— Гавриил Адрианович, ведь инфракрасные лучи не-

сут почти половину солнечного тепла. Зачем же марсианским растениям, живущим в холодном климате, рассеивать эти лучи, зря отдавать тепло, которое им так необходимо? Может быть, они в отличие от наших земных растений, наоборот, поглощают инфракрасные тепловые лучи, приспособляясь к суровому климату?

Просто удивительно, что эта интересная мысль раньше не пришла в голову астрономам!

Вернувшись после лекции домой, Тихов первым делом разыскал записки своего друга и ученика Евгения Леонидовича Кримова. Этот ученый, участник экспедиции за тунгусским метеоритом, несколько раз ездил с полевым спектрографом по стране и летал над ней на самолете, определяя отражательную способность земных растений в разных лучах спектра.

Результаты его наблюдений Тихов и стал просматривать теперь самым внимательным образом. Да, вот оно: северная ель, сберегая тепло, рассеивает втрое меньше инфракрасных лучей, чем цветущая береза. Растущий на вечной мерзлоте тундры можжевельник, говорили данные Кримова, поглощает тех же несущих тепло лучей втрое больше, чем овес, выращенный жарким летом в Подмосковье!

Но ведь если марсианские растения приспособляются к климату подобно земным, то тогда этим можно объяснить не только их «жадность» к теплу инфракрасных лучей, но и отсутствие у них полос поглощения хлорофилла. Почему бы не допустить, что им для жизни нужно поглощать значительную часть несущей тепло красной половины спектра солнечного света, а не узкие ее полосы, как земным?

Однако где и как проверить эти выводы? На Марсе? Нет, пока на Земле.

Обсерватория возле Алма-Аты снарядила несколько экспедиций. Сам Тихов надел походный рюкзак и отправился в предгорья Алатау. Часть его помощников уехала в сибирскую тундру, где температурные условия жизни растений приближаются к тем, какие должны быть на экваторе Марса.

Из Сибири пришло первое важное сообщение: блестящие листочки карликовой березы и другие растения тундры даже в теплом июле не дают полосы поглощения хлорофилла.

Как раз в это время сам Тихов установил, что спектр голубоватой канадской ели, растущей в окрестностях Алма-Аты, почти не отличается от спектра марсианских морей. Наконец, экспедиция, поднявшись на хребты повыше, нашла там немало наших земных растений самых что ни на есть марсианских оттенков — голубоватого, синевато-лилового, лиловато-фиолетового. И главной полосы поглощения хлорофилла у этих высокогорных растений либо вовсе не было, либо она была едва заметной.

Так оба «против» превратились в «за», подтверждающие, что на Марсе может быть растительность, даже несколько схожая с земной.

В эти дни открытий родились новые науки — астрономическая ботаника, астрономическая биология. В Алма-Ате под руководством Гавриила Адриановича Тихова было создано первое на Земле научное учреждение, изучающее земные растения для того, чтобы помочь раскрыть тайны соседней планеты.

* * *

То, что вы только что прочитали о жизни и трудах Гавриила Адриановича Тихова, было написано мной несколько лет назад. Но я не хочу изменять или дополнять текст. Он был просмотрен тогда по моей просьбе самим основателем астробиологии, который нашел, что о Марсе «написано с полным пониманием новейших исследований» — новейших для того времени. Бережно храню я его последнее письмо, полученное из Алма-Аты уже незадолго до смерти Гавриила Адриановича.

Мысли и открытия большого ученого стали достоянием мировой науки. Они были существенным вкладом в изучение проблемы, так давно и так живо волнующей людей, побудили к дальнейшим экспериментам, новым поискам. Они встретили также критику и серьезные возражения.

— Изменение цвета части поверхности Марса не обязательно связано с развитием растительности. Его можно объяснить марсианскими сезонными ветрами, сдувающими песок с плоскогорий и обнажающими более темные породы, а также влиянием солнечной радиации и перемен температуры на часть минералов, — возражают Тихову некоторые ученые.

— По новейшим исследованиям, марсианские моря имеют не голубоватые, а скорее красноватые оттенки,— замечают другие.

— Толщина слоя полярных шапок ничтожна, всего несколько миллиметров, и он не может служить источником орошения,— добавляют третьи.

— Объяснение противоестественного хода марсианской весны — от полюсов к экватору — можно искать в предположении, что вблизи полюсов находятся не поверхностные, а мощные подпочвенные льды,— считают четвертые.— Их растапливают неведомые нам установки, использующие тепло весеннего солнца. По скрытым трубопроводам гигантской оросительной системы вода распространяется затем к экватору, вызывая то развитие растительности, которое наблюдается с Земли.

Некоторые ученые упрекали Тихова и его последователей также в необоснованном геоморфизме, в том, что он исходит из утверждения о сходстве марсианской растительности с земной, живущей в крайних, наиболее суровых условиях.

Не вернее ли предположить, говорят эти ученые, что в ходе своей эволюции, протекавшей в иных условиях, чем те, которые существовали на Земле, марсианские организмы получили свои собственные важнейшие характеристики? Эти характеристики не подходят под разделы привычной земной классификации. Видный советский исследователь К. А. Любарский считает, например, что сравнительные отличительные особенности высших и низших форм марсианской растительности иные, чем на Земле, и что, строго говоря, к марсианским организмам мы не вправе применять земной термин «растительность».

Таковы главные направления критики гипотезы Тихова.

Но может, в свете новейших данных, скажем, спор о том, насколько марсианская растительность похожа на земную, вообще беспредметен? Ведь за последние годы наши представления о природе Марса и, следовательно, об условиях, способствующих или препятствующих развитию растительного мира, основательно изменились, и то, что недавно считалось вполне доказанным, вновь вызывает сомнения.

После того как американец Синтон с помощью мощнейшего телескопа нашел в спектре марсианских морей

полосы поглощения, свойственные органическим молекулам, казалось, что знак вопроса в конце фразы «Есть ли жизнь на Марсе?» зачеркнут окончательно.

Но некоторое время спустя появилось предположение, что обнаруженные Синтоном полосы не обязательно категорически свидетельствуют в пользу органической жизни. Их происхождение можно приписать и воде, обогащенной дейтерием.

Сторонники взгляда, что на Марсе существуют высоко развитые формы жизни, едва ли могли признать обнадеживающими результаты недавних исследований с помощью американского зонда «Маринер-4». Как писал Ричард Монтагю, к большому разочарованию ученых да и широкой публики, Марс оказался больше похожим на Луну, чем на Землю. На его поверхности было обнаружено множество кратеров, в чем некоторые увидели подтверждение взглядов американского астронома Мак-Лафлина, считающего, что марсианские моря покрыты пеплом вулканов. Однако ряд исследователей приписывает возникновение марсианских кратеров ударам метеоритов о поверхность планеты.

Фотографии, полученные «Маринером-4», по мнению некоторых исследователей, нанесли удар сторонникам так называемой техногенной гипотезы, допускающей искусственное происхождение марсианских каналов, а также их использование для орошения. Правда, зонд пролетел достаточно далеко от поверхности Марса, чтобы запечатлеть детали. Но полученные на снимках линии, примерно совпадающие с направлением каналов, скорее опровергали, чем подкрепляли мысль о том, что это технические сооружения. Более того, американские астрономы Саган и Поллак пришли к совершенно неожиданному выводу, в какой-то мере как будто подтвержденному и радиолокацией марсианской поверхности: моря и каналы — не низменности, а возвышенности, широкие плоскогорья и отдельные хребты!

Надо ли говорить, что если это действительно так, то предстоит пересмотр многих предположений, казавшихся вполне вероятными и достаточно обоснованными.

Итак, если попытаться обобщить основные результаты последних исследований, отбросив все достаточно сенсационное, но недостаточно обоснованное, то, по-видимому, следует прийти к выводу, что результаты съемок «Мари-

нера-4» не принесли доказательств отсутствия жизни на Марсе и, может быть, лишь поколебали предположения о существовании ее высокоразвитых форм.

Впрочем, и это не бесспорно. Ведь когда со спутников было сделано множество снимков нашей родной планеты, лишь на трех из них удалось найти некоторые зримые, внешне убедительные доказательства существования земной цивилизации. Это была одна из автострад, след выхлопных газов реактивного самолета и геометрический рисунок лесных вырубок...

Каждый день наука расширяет и уточняет наши знания о природе красной планеты. Возможно, сам основатель астробиологии внес бы сегодня в свою гипотезу существенные поправки и уточнения. Несомненно, однако, что именно Гавриил Адрианович Тихов открыл принципиально новый, плодотворный путь исследования, который заинтересовал ученых во многих странах мира. Стоит напомнить заявление А. Вильсона, директора обсерватории и консультанта правительства США по межпланетным полетам:

— Америка слишком поздно признала Циолковского. Мы исправляем эту ошибку тем, что теперь признали советских астробиологов.

О Марсе спорили, спорят и будут спорить. Полемика порой резка и ожесточенна если не по форме, то по существу. Как и прежде, нет недостатка в догадках и гипотезах.

Возможно, стоило бы ради занимательности искусственно сконструировать далее некую дискуссию, усадив ученых за круглый стол вымысла. Один, допустим, мог бы быть несдержанным в споре, как профессор Челленджер из «Затерянного мира» Конан Дойля, тогда как другой, «помедлив немного», произносил бы мягко и задумчиво: «Позвольте, уважаемый коллега, напомнить вам, что во время великого противостояния...»

Но я хочу предложить читателю нечто иное: простое сопоставление точек зрения специалистов, прямо или косвенно отвечающих на все тот же давний вопрос о существовании на Марсе жизни вообще и растительной жизни в частности. Пусть это будут по необходимости краткие и лишь по возможности близкие к оригиналу отрывки из печатных работ или устных высказываний наших и зарубежных ученых за последние несколько лет.

Вот мнение академика В. Г. Фесенкова:

— Мне думается, что на Марсе нет высокоорганизованной жизни. Там нет растительности и, конечно, нет животных. Обнаруженная на Марсе с помощью спектрального анализа органическая молекула дает основание предположить, что там происходит развитие какой-то органической материи. Иными словами, нельзя отрицать, что на Марсе существует какая-то органическая жизнь, но, разумеется, в простейшей форме.

У. Салливен, обобщая мнение ряда американских ученых по поводу результатов полета «Маринера-4», говорит:

— Разреженность атмосферы Марса означает, что поверхность планеты подвергается бомбардировке космическими частицами, а также жестокому ультрафиолетовому облучению Солнца. Среда планеты почти непригодна для жизни, существующей на Земле. Но возможность иных форм жизни на Марсе полностью не исключена.

В. Шаронов, астроном:

— Большинство исследователей, оценивающих условия природы Марса с точки зрения их пригодности для развития жизни, приходит к мысли, что там правдоподобно наличие только простейших форм организмов, таких, как бактерии, водоросли, лишайники.

В. Ладин, биофизик:

— Лишайники — лучший прототип возможных обитателей Марса? Но ведь они практически не меняют цвета в течение года, растут крайне медленно, весьма чувствительны к недостатку кислорода. Американский физиолог Солсбери считает, что для существования на Марсе наименьшим переделкам пришлось бы подвергнуть... высшие растения! Условия, существующие на Марсе и других планетах, частично имитировались на Земле. И что же? Семена риса, кукурузы, огурцов давали ростки в атмосфере чистого аргона. Семена ржи прорастали в экзотических атмосферах каких-то неведомых планет, содержащих сероуглерод, метан, угарный газ. Они давали ростки почти что в вакууме!

В. Фирсов, английский астроном:

— По-видимому, подтверждается, что климат Марса не сильно отличается от земного и в среднем лишь немного более суров. Ночи должны быть очень холодными, как в Тибете, где условия, вероятно, больше всего при-

ближаются к марсианским. Во всяком случае сомневаться в том, что на Марсе есть жизнь, мало оснований, и она представляется не такой уж «низкоразвитой».

В. Купревич, академик:

— Я разделяю гипотезу члена-корреспондента Академии наук СССР И. Шкловского об искусственном происхождении одного или обоих спутников Марса. Другими словами, допускаю существование разумных марсиан, обладающих весьма высокой культурой, допускаю существование созданной ими грандиозной ирригационной системы. Конечно, трудно поверить, чтобы столь высокая цивилизация не установила связи с Землей. Возникают подозрения, что искусственные спутники и глобальная оросительная система — следы давно минувших эпох. Но беру на себя смелость предположить, что и в наше время Марс населен живыми существами. Возможно, даже разумными. Об этом, в частности, свидетельствует внезапное появление на карте Марса Лаокоонова узла — темной области размером с Украину. Темные голубовато-синие или голубовато-серые пространства на поверхности Марса, видимо, представляют собой растительный покров. Вероятно, представители марсианской флоры аналогичны нашим высшим растениям. Скорее всего, это культуры, разводимые марсианами.

Итак, от осторожного признания возможности лишь простейших форм органической жизни на Марсе до смелого предположения о существовании разумных марсиан! Таков диапазон мнений, и с учетом широты этого диапазона, видимо, следует оценивать и значение работ основателя астробиологии.

* * *

Одна человеческая жизнь — и свидетелем, участником каких событий подчас становится тот, кто ее прожил!

Гавриил Адрианович Тихов родился в 1875 году.

На улицах городов тогда главенствовали экипажи, кареты и вагоны конки. Изобретатели возились с проектами паровых автомобилей. На ярмарках устраивались полеты воздушных шаров, и некоторые конструкторы видели в аппаратах легче воздуха наиболее вероятное средство покорения воздушного пространства. Только что вышли фантастические романы Жюль Верна: гигантская пушка послала снаряд с людьми на Луну. И тогда же

мир был поражен известием о том, что итальянский астроном Скиапарелли обнаружил на Марсе тонкие, правильные линии, образующие систему каналов.

Когда Тихов был шестилетним мальчиком, в каземат Петропавловской крепости бросили Николая Кибальчича. Его приговорили к повешению как участника убийства царя Александра II. За десять дней до казни Кибальчич передал своему адвокату составленный им проект реактивного летательного аппарата. В камере революционера родилась идея ракеты, идея звездолета.

В годы, когда Тихов носил студенческий темно-зеленый сюртук с голубым воротником, учитель физики и математики Константин Циолковский, переехав в Калугу, размышлял над использованием принципа реактивного движения для летательных целей. Знаменитый французский астроном Жюль Жансен, у которого начал работать Тихов, посылал его для наблюдений на вершину Монблана; а однажды — как раз на рубеже XX века — Тихов принимал участие в ночном полете на воздушном шаре. Шар, самый совершенный для своего времени летательный аппарат, поднялся выше облаков, и аэронавты смогли без помех видеть поток падающих звезд.

А каких-нибудь полтора десятка лет спустя мобилизованный в армию пулковский астроном Тихов стал летчиком-наблюдателем и занимался аэрофотосъемкой уже из кабины военных самолетов. Тем временем в работах калужского учителя уже была теоретически обоснована возможность межпланетных полетов с помощью ракеты.

В конце октября 1917 года вокруг Пулкова, где работал Тихов, шли жестокие бои. Снаряды пролетали над обсерваторией, пули барабанили по крышам. Революция отбивала натиск врагов.

Перелистывая старый комплект «Известий» за 1921 год, я среди сообщений о борьбе с неслыханным голодом в Поволжье, о воскресниках по восстановлению разрушенных заводов нашел статью, посвященную работам Пулковской обсерватории. В ней говорилось, что астрономы, несмотря на трудности, успешно продолжают исследования.

Я прочитал, что Г. А. Тихов «изучал поверхность Марса, зарисовал подробности, видимые на диске планеты, наблюдал эти подробности через различные светофильтры (особые цветные стекла) и получил много важ-

ных и новых результатов в этом вопросе». Сообщалось также, что ученый подготавливает материалы для составления новой карты Марса.

В те первые послереволюционные годы, когда Тихов наблюдал красную планету в телескоп Пулковской обсерватории, Алексей Толстой писал роман «Аэлита». Фантазия писателя отправила первых людей на Марс не из богатого Нью-Йорка, а из голодного, разоренного Петрограда, города революционной романтики и смелых человеческих дерзаний.

Герои «Аэлиты», инженер Лось и демобилизованный красноармеец Гусев, вернулись с красной планеты на родную Землю. Приближаясь к ней, они видели чудесную картину:

«Во тьме висел огромный водяной шар, залитый солнцем. Голубоватыми казались океаны, зеленоватыми — очертания островов, облачные поля застилали материк. Влажный шар медленно поворачивался. Слезы мешали глядеть. Душа, плача от любви, летела навстречу голубовато-влажному столбу света. Родина Человечества! Плоть жизни! Сердце мира! Шар Земли закрывал полнеба».

Гавриил Адрианович Тихов умер в начале 1960 года. Год спустя Юрий Гагарин, открыв эру звездоплавания, первым увидел то, что до той поры видели лишь герои фантастических романов, — шар нашей планеты с космических высот.

Неудержимо мчится время, отсчитывая дни и годы космической эры.

В чилийской пустыне Атакама, где несколько десятилетий не было дождя, «марсианская лаборатория» испытывает приборы, способные обнаружить микроорганизмы на других планетах и послать Земле радиосигналы с ответом на давний волнующий вопрос. Советские микробиологи создали уже уникальную установку, где представители земной жизни попадают в искусственно созданные марсианские условия.

Летят к Марсу и Венере посланные землянами автоматические разведчики.

Мягко опустилась в лунном Океане Бурь советская межпланетная станция. Многие тайны Венеры перестали быть тайнами после посадки на поверхности планеты нашей «Венеры-4».

Уверенно называют год полета первых людей на Луну.
А за Луной — Марс!

И я, человек уже не молодой, хочу верить, что доживу до того дня, когда среди диковинок Московского ботанического сада увижу под прозрачным колпаком в искусственно созданной атмосфере странное растение, доставленное звездолетами с окраин марсианского моря Сирен.

Оно, возможно, получит название, латинскими буквами отпечатанное на этикетке.

Но для меня это будет «трава Тихова»...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСЕ МЫ — ОТКРЫВАТЕЛИ...	5
СТРАНСТВОВАТЕЛЬ	7
ФРЕГАТ НЕ СПУСКАЕТ ПАРУСА	40
ХРОМОЙ ДЕРВИШ	70
НА ПОРОГЕ НОВОГО МИРА	94
ПРИЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОФЕССОРА БАВИЛОВА	133
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗЕМЛЕПРОХОДЦА	157
ФЛАГИ НАД ОСТРОВОМ	181
ПОДНЯЛСЯ ПЕРВЫМ	214
МОРЯК РЕЧНОГО ПЛАВАНИЯ	231
КРАСНАЯ ПЛАНЕТА	254

К 88

Кублицкий Г. И.

Все мы — открыватели... М., «Мысль», 1968.
271 с. с илл. (Путешествия. Приключения. Фантастика)

Десять документальных рассказов повествуют об открывателях неведомого. Среди них и знаменитые путешественники, и люди, чьи имена не попали и, видимо, не попадут в летописи открытий. Автор, известный писатель-путешественник, сравнивая прошлое и настоящее, побывал по следам своих героев во многих странах.

2-8-1
189-68

91 (09)

Кублицкий, Георгий Иванович
ВСЕ МЫ — ОТКРЫВАТЕЛИ...

Редактор С. И. Капелуш
Оформление художника С. А. Бочарова
Художественный редактор А. Г. Шикин
Технический редактор О. А. Барабанова
Корректоры В. М. Антонова, Л. Ф. Селютина

Сдано в набор 6 октября 1967 г. Подписано в печать 10 января 1968 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂, № 2. Усл. печатных листов 14,28. Учетно-издательских листов 14,06. Тираж 65 000 экз. А 01003.
Заказ № 2061. Цена 44 коп

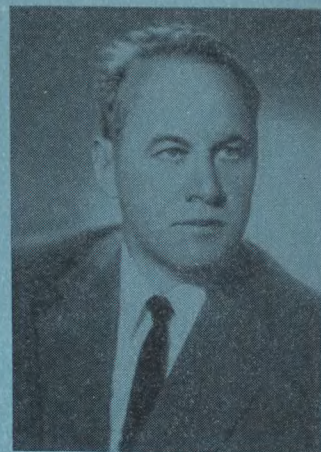
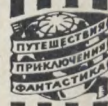
Издательство «Мысль». Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР. Москва, Ж-54, Валовая, 28

44 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»



Писатель Георгий Кублицкий много путешествовал по родной стране и за рубежом, в частности не раз бывал в США, в Африке, на Среднем Востоке, в Скандинавии.

Им написано около двух десятков книг, в том числе «Большая Волга», «Открыватели Антарктиды», «По материкам и океанам», «В Югославии», «Енисей, река сибирская», «По следам Нильса Хольгерсона», «Мечи и колос», «Три нью-йоркских осени», «Фритьоф Нансен», «Восьмое чудо света», «Иностранец в Нью-Йорке».



Издательство «Мысль»

«Все мы — открыватели...» — книга документальных рассказов, повествующих об открывателях неведомого, людях талантливых, волевых в поиске.

Своеобразен жанр книги. Здесь находки в архивах, встречи с героями, беседы с очевидцами, живые впечатления автора о сегодняшнем дне тех стран, где далекое и недавнее прошлое воскрешает романтику подвигов исследователей.

Читатель не только найдет в книге кое-что новое о путешествиях, ставших классическими, но и узнает имена людей, не отмеченных летописью открытий, однако внесших свою долю в познание окружающего нас мира.